

ISSN 0132-0637

1998

Октябрь

Октябрь

1 1998



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1998

ЯНВАРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,  
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-  
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-  
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,  
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Григорий КАНОВИЧ. Продавец снов. Повесть .....	3
Анатолий НАЙМАН. В сумеречной аллее играют лисы. Стихи .....	36
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Приключения уюга и сапога. Сказочная повесть ..	42
Алексей КУБРИК. Туман по имени зренья... Стихи .....	56
Игорь ВОЛГИН. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года .....	59
Лариса ВАНЕЕВА. Два рассказа .....	116

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. Ф. ЛОСЕВ. Мне было 19 лет... Рассказ. Вступление Елены Тахо- Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи .....	125
--	-----

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Юрий БУРТИН.

**Россия и конвергенция.** Идеи А. Д. Сахарова вчера, сегодня, завтра ..... **145**

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Олег ПАВЛОВ.

**Метафизика русской прозы** ..... **167**

### *Записки литературного человека*

Вячеслав КУРИЦЫН.

**Опавшие листья** ..... **184**

### *Мелочи жизни*

Павел БАСИНСКИЙ.

**Прощание с Зоилом** ..... **187**

### *В несколько строк*

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ ..... **190**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

---

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

**И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

**И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

**А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ** (зав. отделом критики),

**И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

---

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

---

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

---

Сдано в набор 27.11.97. Подписано к печати 22.12.97. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9115 экз. Заказ № 2781. Цена 16 руб.

---

*Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.*

---

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.u

---

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

# Продавец снов

ПОВЕСТЬ

## I

Я учился с ним в одном классе, даже сидел за одной партой у окна, за которым своими шершавыми, загадочными листьями шелестел старый каштан, высаженный первым директором Виленской мужской гимназии ясновельможным паном Войцехом Пионтковским в память о павших героях польского восстания 1831 года. Вельможным был и сам каштан, не похожий на другие, шумевшие по соседству деревья, чахнувшие от старости и городской пыли, устало и усердно оседавшей на ветках. Под его взъерошенной кроной, как под сводом костела, с утра до вечера творили свои незатейливые молитвы полуголодные послевоенные птицы, привлекавшие внимание учеников больше, чем сухие и каверзные уравнения на доске или рассказы о достолавных подвигах Александра Невского, наголову разбившего врагов на Чудском озере.

Иногда, особенно по весне, на подоконник боязливо садились отливающие глазурью грачи и молодые белобокие сороки, выпорхнувшие, словно крестовые дамы, из какой-нибудь карточной колоды, а в распахнутое окно самонадеянно залетали бездумные люмпены-воробьи, которые, шныряя под партами, выискивали оброненные на пол хлебные крошки и, долбя непривередливыми клювиками нечаянное подавание, в радостном, почти самозабвенном испуге принимались за ниспосланный Богом завтрак. Самые отчаянные из них затягивали, бывало, нищенскую трапезу дольше, чем полагалось, и, на свою беду, оказывались в огромной клетке, оглушаемой дикарскими криками, топотом ног и треском парт.

Не знаю почему, но охота за обезумевшими от страха и безысходности птахами превращалась в негаданный и греховный праздник, отличный от чинного, аляповатого Первомая и царственно-холодного Великого Октября. Каждый из нас, даже тот, кто слыл тихоней или примерным пятерочником, считал для себя чуть ли не за честь принять посильное участие в этой горячившей кровь погоне, в этой захватывающей, головокружительной ловле, которая умеряла каждодневную скуку, навеваемую однообразными уроками, и как-то скрашивала привычные будни, лишенные страсти и неминуемого юношеского безумства.

Казалось, в этом молодецком гиканье, в этом охотничьем улюлюканье не было ничего, кроме стесняющего грудь запретного желания выплеснуть свою тоску по жизни, которая не подлежит оценке по пятибалльной системе и не подчиняется учительской указке, по какому-то смутному, вряд ли до конца осознанному бунту против наскучившей школярской действительности, тусклой и неизобретательной, как общешкольная стенгазета с вытатуированными на самом верху серпом и молотом.

В классе из-за пернатых, залетевших в поисках корма, не очень-то волновались: как бы долго птицы ни бились о побеленные к началу учебного года стены, без всякой фантазии украшенные одними и теми же казенными портретами бессмертного Ленина и его не менее бессмертного соратника — товарища Сталина, все равно вот-вот откроется дверь и в класс, как в святилище, войдет наш классный руководитель — учитель математики Вульф Абелевич Абрамский, поправит на горбатом носу старомодное, эсеровское пенсне и тихим голо-

сом, каким, наверное, говорили в древности обожаемые им Пифагор и Евклид, скажет:

— Сейчас же прекратить безобразие! Только человеческой мысли не возбраняется летать повсюду. Для нее и узилище — небеса. Но не для птицы! — И, переведя взгляд на нашу парту, обратится к своему любимцу Натану Идельсону, моему однокашнику и соседу, смиренно сидевшему у самого окна: — Идельсон!... Выпустите, пожалуйста, пленницу на волю! Кто лишает свободы других, тот сам когда-нибудь будет наказан кандалами...

Натан — лучший математик в классе, гений, как его называл Вульф Абелевич, никогда не смел послушаться своего учителя и заступника. Он открывал окно, птицы стойкой выпархивали из класса, скрывались в ветвях каштана, и вскоре до нашего слуха доносился их счастливый и беззаботный щебет. В классе наступала тишина, какая бывала только на уроках Абрамского, строгость которого была равновелика его пронзительному, как солнечный луч, уму, — в Древней Греции он был бы не наставником двадцати двух увальней и башибузуков, а вторым Пифагором или Евклидом. В Древней Греции он бы не дрейфил перед нашим директором Михаилом Алексеевичем Антоненковым, который если и мог чем-то похвастать, так это не тихим умом, а орденами и медалями на широкой груди, сверкавшими, как елочная гирлянда. Да и как было бедняге Абрамскому не дрейфить, как не бояться, если историк Михаил Алексеевич, знавший все, шла ли речь о том, что происходило в Российской империи в прошлом — о сражении на Чудском озере, о тайных сговорах в барских опочивальнях, или о том, что произойдет на Руси в обозримые двадцать — тридцать лет, не раз на педсовете не то шутя, не то на полном серьезе поддевал Абрамского:

— Да вы, Вульф Абелевич, в этом своем пенсне, ну, прямо-таки вылитый Лев Давидович Троцкий... Не родственники ли вы часом?..

— Нет, — с достоинством отвечал Абрамский. — Еврей, позвольте вам, многоуважаемый Михаил Алексеевич, заметить, как правило, всегда похож не на того, на кого надо.

С тех пор к Вульфу Абелевичу и прилепилось небезопасное прозвище — Троцкий. Тайком его так называли даже коллеги.

Как и Идельсон, Вульф Абелевич родился в Вильнюсе. Не успев эвакуироваться, он попал на два года в гетто, где на Мясницкой улице учительствовал в подпольной школе — преподавал ту же, с таким трудом дававшуюся мне математику. Он и там, невзирая ни на какие передряги, отличался той же дотошностью и педантичностью, был таким же брюзгой — вечно на кого-то ворчал, никому не ставил отметки выше четверки, безжалостно карал за шпаргалки, выгонял за любую подсказку из класса. Вульф Абелевич ревностно оберегал свой холостяцкий статус, был закоренелым вегетарианцем — даже за колючей проволокой он не изменял своим привычкам: с женщинами не водился, хотя добрыхоты и пытались многожды найти ему подходящую невесту, ел, как ребенок, только кашицы и овощи. Абрамский был невероятно худ, но худоба придавала ему какую-то свежесть и молоджавость. Зимой сорок третьего года школу в гетто закрыли, кого-то из учителей увезли навеки в Понары, а кого-то отправили в Майданек и Дахау. Вульф Абелевич и в Майданеке каким-то образом ухитрился набрать небольшую группу подростков, оставшихся в этом аду в живых, и при свете лампочки-доходяги истово, с мстительным наслаждением принялся обучать их математическим премудростям. Все учебники долговязый Абрамский знал назубок, легко сыпал примерами, чертил угольком на задней стенке шкафа, принесенного в барак со свалки, замысловатые уравнения, формулы, дроби, недаром же он, сын мебельного фабриканта, окончил с отличием в начале тридцатых годов университет не то в Базеле, не то в Сорбонне. Там, в Майданеке, он и познакомился с сиротой Натаном Идельсоном, которому, как и его измученным голодом и болезнями сверстникам, прикидывавшимся взрослыми, чтобы выжить, поначалу не было никакого дела ни до Пифагора, ни до Евклида, ни до Лобачевского.

— У нас не было ни бумаги, ни карандашей. Но ему они и не нужны были. Он прекрасно обходился без них и того же требовал от нас. Сперва мы складывали и делили свои лагерные номера на руке, потом по частям возводили их в

квадрат и в куб. Вульф Абелевич, бывало, поднесет к каждому малахольный фитилек, агонизировавший под треснутым колпачком лампочки, вперит взгляд в номер, зашевелит губами и ждет ответа. Временами казалось, что он ненормальный... шарлатан какой-то... что придумал эту дурацкую игру только ради того, чтобы не думать о смерти, не отчаиваться, чтобы, как он говорил, не оставить пустыми свои улы — наши стриженные, запаршивевшие головы, ибо, когда умирает мысль, нет никакого смысла жить, даже если жизнь еще длится и длится. До сих пор помню его усмешку. «Умножение шестизначных чисел помогает выводить вшей и избавляется от парши! Умножайте, умножайте!» — передразнивая Абрамского через сорок лет в маленьком кафе над Сеной, неспешно рассказывал мне о тех лагерных уроках мой однокашник Натан Идельсон, профессор прославленной Сорбонны.

Он глотнул из бокала искрившееся в вечерних сумерках шампанское, откинулся на спинку плетеного стула и, близоруко щурясь, с какой-то щемящей тоской, не вязавшейся с веселым гомоном завсегдатаев в миниатюрном, почти семейном кафе, продолжал:

— Оттуда... из Майданека и мой французский... Вульф Абелевич на нем говорил как истый парижанин. Два часа в день мы занимались математикой и один час — французским. Вокруг неубранные трупы, голод, болезни, смерть, а он как будто ничего не замечает — печется о нашем произношении, о прононсе, заставляет галантно раскланиваться друг с другом и говорить о красоте, любви, об устрицах, кроватках, шампиньонах, винах... И не смей перечить. Мозг должен-де работать с полной нагрузкой назло всему... Это-де единственное, что мы можем противопоставить насилию, единственное, что сами в этих условиях в состоянии защитить и чем в конечном итоге можем спасти себя от позора и гибели. Четверо не выдержали — сбежали... Трое умерли от истощения. И трое, в том числе и я, выжили... Выжили благодаря его урокам... То было учительство не на грани смерти, а за гранью. Если бы не он, я, наверно, никогда бы не стал тем, кем стал. Никогда... И во Францию не поехал бы... Я бы никуда не поехал... Торчал бы где-нибудь, прости за откровенность, в Литве, как ты... лебезил бы перед каждым городовым и урядником...

Как и подобает гостю с другой, давным-давно забытой Идельсоном планеты, я слушал его не перебивая, внимательно, может, даже подобострастно; я не спрашивал его, что же вынудило их после войны вернуться в «урядницкую Литву», знал, что и этому рассказу придет черед; Идельсон же подолгу молчал, поглаживая рукой с выжженным номером, легко различимым в щедром неоновом свете, заливавшем все кафе, свою благородную, отороченную седоватым мехом лысину, и отрешенно, как будто никого рядом с ним не было, смотрел в окно, за которым на пропахшем шампанским и речной прохладой ветру шелестел своими загадочными листьями старый каштан с темной взъерошенной кроной, точно такой же, как в сорок восьмом в разоренном Вильнюсе, только без суматошливой птичьей возни и щебета.

— Каштан,— сказал Идельсон, как учитель ботаники, который впервые привел своих учеников в ботанический сад.

— Да,— промолвил я.

Мне не хотелось мешать ему своей болтовней, я понимал, что сейчас не я, а он должен выговориться — господин профессор предупредил же меня незадолго до того, как мы отправились в кафе, что сегодня не жди спуска, сегодня мы будем вдвоем сидеть до утра, а потом до заката, а потом снова до утра, пить шампанское, есть всякие французские яства, смотреть на звезды и вспоминать, вспоминать, вспоминать...

— Жаль только одного... Очень жаль,— продолжал Идельсон.

Я не сразу смекнул, чего именно ему жалко — то ли своей промчавшейся в послевоенной Литве юности, бедной и неудобной; то ли нашего учителя Вульфа Абелевича, гроб которого в весеннюю литовскую землю опустили другие; а не он, Натан, его любимец и последняя надежда; то ли меня, приехавшего по его милостивому приглашению в несравненный, легендарный Париж, безвестного провинциального сочинителя, застрявшего навеки на другой, вымокшей в крови планете.

Натан снова погладил свою лысину — на сей раз тем же жестом, каким

когда-то зачесывал наверх густую черную чуприну, вызывавшую зависть у всех его однокашников, с которыми он когда-то охотно и без риска заключал пари на то, что бесследно спрячет в волосах десять авторучек производства фабрики имени Сакко и Ванцетти.

— Жаль, окно, смотри, открыто настезь, но наши птицы в него уже никогда не залетят. Никогда.

Меня приятно удивило, что Идельсон еще бойко, без всякой запинки говорит по-русски, хотя в его речи нет-нет да проскальзывал уральский говорок, приобретенный в Челябинском политехническом институте, где по окончании Виленской мужской гимназии Натан учился на факультете прикладной математики. Хотя Вульф Абелевич и подготовил его к поступлению в Московский университет и уверял, что Идельсон на вступительных экзаменах получит по всем предметам пятерки, Натана туда не приняли. Добрейший Абрамский, который жил среди формул, лишенных каких-либо общественных преимуществ, и уравнений, годных, как ему казалось, на все времена, упустил из виду главный и самый трудный экзамен — национальность. Его-то Идельсон и не сдал.

В вечернем мареве от искрившегося, как шампанское, воздуха отслаивались все новые подробности о прошлой жизни, и она, эта далекая от парижских набережных и звезд жизнь, дробилась, делилась на отдельные, не связанные между собой отрезки, петляла застигнутым гончими зверьком во все стороны, заметала следы.

Идельсон по-мальчишески упивался свободой, заказывал одно блюдо за другим и все время — ни дать ни взять русский купчина — терзал меня вопросом:

— Почему ты так мало ешь? Не стесняйся! Заказывай, что хочешь! В Литве таких кушаний днем с огнем не найти.

По правде говоря, никаких особых деликатесов я и не жаждал, гурманом никогда не был, пить остерегался (мало не умел, а много, да еще за границей, побаивался); мне вполне хватало соседства Натана; этого удивительного парижского неба в звездах, как в орденах; этого незлобивого шума в кафе и громкого смеха незнакомой женщины с кроной мятежных каштановых — надо же! — волос.

Загляделся на нее и задумчивый Идельсон.

— Господи, какое наслаждение, когда с тобой рядом смеющаяся женщина, пусть и чужая! — выдохнул он. — А ты уже, небось, напрочь о таких вещах забыл?..

— О каких вещах?

— Забыл, как смеется любовь...

Меня выручил официант, который бесшумно, на цыпочках подошел к нашему столику и по-французски что-то шепнул Натану на ухо.

— Извини, пожалуйста. Мне кто-то звонит.

Идельсон встал и, дружески помахивая рукой посетителям, юркнул в служебную дверь.

Я остался один, коря себя за то, что ни разу за весь день не спросил его о семье, о жене и детях и, может, внуках. Странно было, что и он о них ни словом не обмолвился — отвез меня на своем кремового цвета «Пежо» прямо из аэропорта Орли в Латинский квартал, на Рю Декарт, устроил в гостиницу, скорее напоминавшую католический монастырь, чем постоялый двор, заставил взять двести франков на мелкие, как он объявил, расходы и, шлепнув по щеке, укатил то ли в свою Сорбонну, то ли еще куда.

Время шло, Идельсон к столику не возвращался, и я начал уже беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Было в моем беспокойстве и что-то неприличное: а вдруг Натан не придет и мне, безъязыкому, безденежному, придется рассчитываться за все это роскошество — за это шампанское, за эти устрицы, за этот сногшибательный сыр — камамбер (тут двумя сотенными не обойдешься).

К счастью, непристойная моя растерянность длилась недолго; снова громко и заразительно за соседним столиком засмеялась француженка; снова заколыхалась, задымилась, как пряная сигарета, ее каштановая корона, и в этом колыпании, в этом дыму было что-то умиротворяющее, обнадеживающее, и я



вдруг по-дурацки улыбнулся не то ей, не то своему страху, а тут пришел и сам Идельсон, сияющий лысиной, излучающий уверенность.

— Дела, заботы,— пропел он.— Я ведь не только профессор Сорбонны... И осекся.

Это полупризнание меня смутило, но я счел за благо ни о чем не допытываться. Если Натан захочет — сам расскажет, нечего лезть с расспросами.

Он сел, придвинул к себе бокал, взялся двумя пальцами за тонкий стеклянный стебелек, покрутил в руке, потом пригубил и сказал:

— Пора, пожалуй, съездить в Вильнюс... Раньше... до Горбачева я не решался... кагэбе-шмагэбе... А сейчас, пожалуй, пора... В сентябре в Стокгольме конгресс. Оттуда до Вильнюса рукой подать... Грешно не воспользоваться случаем...

— Приезжай... Обязательно... Рады будем... Тоже закатим пир горой.

— Разве, кроме тебя, там кто-нибудь еще из наших однокашников остался?

— Коля...

— Коля Мукомолов?

— Да... Долгое время был народным судьей.

— Ишь ты — народным? Он что, народ судил?

— Лучших представителей,— пошутил я.

— Что ж, давай выпьем за Колю...

Он снова пригубил бокал, вынул из кармана шелковый платочек, вытер губы.

— Первым делом, когда приеду, отправимся с тобой в школу... Сядем за парту, откроем окно, навернем бутербродики с сыром «Шатас»...

— «Шетос»,— поправил я его.

— Ах, да, «Шетос»... оброним на пол хлебные крошки... дождемся, когда затрещит звонок на перемену, выбежим, лысые старички, развалины с учеными степенями, процветающие доходяги, во двор... А когда вернемся, будем сломать голову гоняться за бедными воробышками...

Он замолк, прислушался, как будто тщился различить в гомоне кафе чирканье, хлопанье крылышек, но чем больше прислушивался, тем задумчивей становилось его продолговатое лицо с глубокими складками у губ и ножевými отметинами времени — морщинами на высоком смуглом лбу.

Тихо звучала гитара; маленькая певица, похожая на непревзойденную Эдит Пиаф, в длинном, почти монашеском платье, как воробыным крылышком, хлопала своим прокуренным, берущим за душу сопрано.

Идельсон, видно, ждал, что я на это скажу, но я долго не решался заговорить. Приедет — сам все увидит. Не стоит его разочаровывать. Пусть себе до прилета в Вильнюс думает, что все там осталось, как прежде. Пусть тешит себя тем, что окно в шестой класс после его эмиграции почти тридцать лет не закрывали, что своими загадочными листьями как ни в чем не бывало шелестит каштан, что полуголодные птахи (птицы никогда сытыми не бывают, ибо парение абсолютно противопоказано сытости) залетают в класс...

— Первым делом, Натан, ты, наверно, поедешь к Вульффу Абелевичу...

— Он когда умер?

— В восемьдесят седьмом...

— Да будет благословенна его память... Я писал ему, посылал с оказией лекарства, но он мне ни разу не ответил. Боялся, наверно... Все вы там до одиного были запеленуты в страх... И сейчас — при Горбачеве — вы еще из этих железных пеленок не выросли... А окно в класс, как я понял из твоего молчания, наверно, замуровали навеки... И каштан срубили... И ни одного воробышка вокруг... Так или не так?

— Так... На месте нашей гимназии — здание ЦК... Дом высшей власти,— на всякий случай объяснил я ему...— А наш каштан...— И тут я запнулся.

— Говори, говори, раз начал,— невесело подбодрил он меня.

— Нет больше нашего каштана. Спилили и пустили на растопку. И воробьев там в помине нет...

— Не кормит их партия? — Идельсон пытался улыбнуться, но лицо его исказила горькая клоунская гримаса.

— У нее и без них уйма нахлебников.

Я пытался свернуть разговор и перейти к чему-то другому; некстати похвалил певицу, терзавшую своим меланхолическим пением наши сердца, но он и ухом не повел, сидел, вперившись в звезды, и о чем-то печально, почти мучительно размышлял. Впечатление было такое, будто ему сообщили не о срубленном каштане, высаженном ясновельможным паном Войцехом Пионтковским, а о разорении единственной, связывающей с родиной ниши, куда он, столько в жизни повидавший, преуспевший на чужбине, нет-нет да мысленно залетал, чтобы почистить свои перышки, вольно и бездумно пощebetать, высидеть, как птенчика, свою искалеченную, но прекрасную юность.

— Ты всегда всем правду-матку, как говорят русские, в глаза режешь? — Я замылся.— Всем? — упорно домогался ответа Идельсон.

— Стараюсь по мере возможностей не лгать... Чего-чего, а лжи, как ты знаешь, мы налопались досыта.

— А я, представь себе, и тут частенько привирал... особенно в первые годы моей учебы в Сорбонне... Это давало небольшой, но ощутимый доход. Честно признаться, я, бедный эмигрант, человек без всяких связей, никаким заработком не гнушался — развозил на мотоцикле пиццу, сторожил склад с рулонами туалетной бумаги, пока один наш земляк меня не выручил — предложил мне то, что сейчас я предлагаю тебе: ходить по домам и рассказывать богатым старикам-литвакам за определенную мзду о покинутой ими Литве. И я согласился. Мне за вечер платили сто... сто пятьдесят франков... в зависимости от того, к кому попадешь... Один старикашка, помню, так растрогался, что выписал чек на целую тысячу...

— Ничего себе работа...

— А что? Языком молоть... оздоровительные коктейли из слов готовить. Ты с этим справишься лучше меня. Потом еще какую-нибудь книжку напишешь. Клиентов хоть отбавляй. Я буду, так сказать, твоим импресарио. Ладно?

— Я подумаю,— уклончиво промолвил я, заинтригованный его предложением.

— Уверяю тебя: искусное вранье, смесь правды с вымыслом, небылицы, сны порой ценятся дороже, чем лекарство,— продолжал он.— Ну, чего ты, например, добился тем, что не задумываясь бухнул: каштан срубили... окно замуровали навеки?... А мог ведь ради всех святых соврать: наш каштан, Идельсон, слава Богу, цветет, зажигает каждый год свои свечи; окно расширено, и воробьи, как и прежде, устраивают под партами драки... Мне, милый, уже за шестьдесят... Не помчусь же я в Вильнюс проверять, правду ты сказал или надул меня... А ты — «здание ЦК»... «пустили на растопку». Ностальгия, брат, совсем неплохой товар. Вот почему перед тем, как ты приехал в Париж, я тут, уж прости, без твоего ведома кое-что придумал. Работа, как видишь, не пыльная, но доходная. А главное, гуманная... Понимаешь, гуманная. Люди устали от правды. Правды сейчас столько же, сколько дерьма. А ведь, согласись, она унижает, ломает человека, приносит ему только страдания. Нет ничего на свете более разочаровывающего, чем правда. Короче говоря, я поделился с тобой своей идеей... Когда-то я опробовал ее на себе. Если не будешь артачиться, то вернешься в Литву не только с новыми сюжетами, но и с полным кошельком... Ты слушай, слушай и на рожон не лезь!.. Как учили нас в Союзе, любая работа почетна.

— И все-таки что же, если не секрет, я должен буду делать? — спросил я почти раздраженно.

— Отвечать на вопросы, вовремя и кстати кивать головой, кое-что по ходу дела присочинять...

Я не мог взять в толк, с кем он без моего ведома договорился, но, верный своему правилу не перебивать, внимал ему с напускной покорностью, мужественно борясь с шебуршавшей в душе обидой. Но почему он все время обрывает разговор на самом интересном месте?

— И с каким мастодонтом ты уже договорился?

— Терпение, мой друг, терпение. Ничего от тебя не скрою... Как математик, я всегда стремлюсь не к максимально скорым ответам, а к максимальной пользе.

Между тем начался разъезд посетителей — замолкла гитара, певица, путаясь в своем длинном платье, как рыба в сетях, жеманно склонилась в прощальном поклоне, подавальщицы с редкой элегантностью прятали в карман чаевые и уносили на подносах обедаки.

— Поехали,— сказал Идельсон и по-юношески вскочил с плетеного стула.— Не забудь свой плащ, Франсуа! — крикнул он гардеробщику.— Плащ господину... — Он назвал мою фамилию.

Я накинул на плечи свою давнюю заграничную — гэдээровскую — покупку, кивком поблагодарил седовласого, похожего на маршала Фоша гардеробщика и забрался в «Пежо».

— Запомни этот адрес... Ты можешь приходить сюда и без меня, когда только пожелаешь... Все предупреждены и за все заплачено на неделю вперед... Выбирай в меню все, что твоей душе угодно... Во что ткнешь пальцем, то тебе и принесут на блюдечке с золотой каемочкой. В случае чего позови Франсуа. Он сын русского дворянина, переведет. Спокойной ночи!

## II

Спокойной ночь не была. Не потому, что в гостиницах без снотворного я вообще не засыпал, а потому, что нечаянная после долгой разлуки встреча с Идельсоном, его предложение пристроить меня к какому-то делу, требующему, как и писательство, вымысла, спасительной, с отрывками правды, лжи, сбили меня с толку. Я не гадал и не чаял, что не пройдет и дня, как все мои привычные представления о Натане как о человеке не от мира сего, чуть ли не подвижнике, всецело погруженном в свою науку и с каким-то жертвенным упорством и стойкостью избегающем всяких житейских удовольствий и искушений, вдруг скукожатся, почти рухнут. С самого начала, когда его лысина сверкнула за стеклянными дверями аэропорта Орли, что-то в нем меня насторожило, но я не придавал этому никакого значения, шутка ли — с той поры, как мы последний раз с ним виделись, прошла целая вечность. Насторожила меня не его изменившаяся внешность, хотя и она ошеломила меня, ибо никак не вязалась с давно и прочно созданным мной образом. Идельсон производил впечатление не рыцаря науки, корпящего над разгадкой каких-то сложных и запутанных тайн Вселенной, а вполне заурядного делового господина, скорее коммивояжера или страхового агента, чем солидного ученого. Поражала и его одежда — на нем были короткая, плотно облегающая талию джинсовая куртка и такие же брюки; он носил большие солнцезащитные очки, какими обычно пользуются гонщики и альпинисты (как позже выяснилось, Натан на самом деле любил совершать лыжные восхождения в горы). Над головой у него покачивался бумажный плакатик, на котором каллиграфическим почерком, крупными буквами, как на надгробии, была выведена его фамилия — Идельсон, видно, Натан не доверял ни своей, ни моей памяти. Да это было и неудивительно. После стольких лет немудрено и не узнать друг друга.

Ворочаясь с боку на бок в постели в дешевой монастырской гостинице, где, кроме кафельного туалета в старческих венозных синяках и капризного душа, из которого хлестала либо горячая, либо холодная вода, никаких других удобств не было, я до боли в зрачках глядел на потолок и рисовал взглядом того, прежнего Идельсона.

По старинному, облупившемуся потолку, как по коммунальной кухне на проспекте Сталина в Вильнюсе, расхаживала моя мама, боготворившая Идельсона (ну, как же: если бы не он, то мыкаться бы ее сыночку в одном классе по два года) и всегда приглашавшая сироту на субботний обед.

Вот и сейчас я увидел, как она на потолке накрывает белой праздничной скатертью стол, как ставит дымящийся чугунок с нашим любимым блюдом — флойменцимесом — тушеной морковкой с черносливом, и услышал, как без всякого стеснения принимается пилить меня за мою неважнецкую успеваемость и губительную для еврейского народа леность.

— Скажи, Натанчик, почему мой шлимазл у тебя списывает задачки, а не ты у него? Почему ваш премудрый Вульф вызывает в школу и устраивает

взбучку мне или Шлейме, а не твоей тете Брайне?.. У него что — не такая голова, как у тебя? Он что, тупица?

— Голова такая же, Евгения Семеновна,— поддев вилкой сливу, выдавливает застенчивый Идельсон.— Может, у него даже лучше моей. Какие он стихи пишет!..

— Стихи, стихи,— передразнивает его моя мама на потолке.— Зачем еврейю стихи? Ты можешь мне, сердце мое, сказать: зачем евреям стихи? Что, без них на свете прожить нельзя? Я же вон прожила, родители мои прожили... дед и баба тоже... Мы ни одного стиха сроду не знали. И что, умерли? Пусть их русские пишут. Им все можно.

— Ну, как же...— робко возражает Идельсон.

— Евреям, Натанчик, только две вещи нужны: здоровье и деньги. Правильно я говорю?

— Правильно,— кивает Идельсон. Когда тебя ждут еще три блюда: куриная шейка, суп с галками из мацы и тейглекс — медовые пряники — на закуску,— спорить с хозяйкой накладно: недодаст или недолет.

— А у моего Пушкина-Шмушкина, если дело так пойдет и дальше, ни здоровья, ни денег не будет.

Рисунки на потолке сменялись со скоростью мысли, сливаясь, накладываясь друг на друга. Они то вспыхивали, как на экране, то тускнели, неуловимо смешивались с тем, что было в келье рядом с ними, но что не трогало мою душу, не имело для меня ровным счетом никакого значения,— с маленьким, как ящик, поставленный на попу, письменным столом, с настольной лампой под абажуром, смахивавшей на нахохленного попугая, с морским побережьем в застекленной рамке на стене.

Я торопил утро, хотя и не представлял себе, чем завтра займусь, куда пойду, с кем встречусь, но утро словно глумилось над моей торопливостью, оттягивая свой приход и обрекая меня на еще более томительное ожидание.

Иногда я закрывал глаза и, чтобы приманить сон, принимался считать: один, два, три... сорок... семьдесят пять... сто двенадцать...— но сбивался со счета и снова вперял взгляд то в приморский пейзаж на стене, то в потолок, творивший химеры и кишевший полузабытыми образами.

Чаще других там возникали мама, Вульф Абелевич Абрамский, однокашники на школьных танцульках и, как ни странно, похороны. Впрочем, в возникновении похорон ничего странного не было. В ту пору, когда с каштана, высаженного ясновельможным паном Пионтковским, в шестой класс гимназии залетали доверчивые птицы, я еще понятия не имел, что есть такой возраст — умиральный и что он когда-нибудь наступит. Возраст, когда хоронишь своих близких и когда твои друзья хоронят тебя.

До утра было по-прежнему далеко.

Потолок в монастырской гостинице на тихой Рю Декарт творил чудеса: плодил евреев.

Натан Идельсон стоит в сторонке от гроба, установленного в нашей квартире на проспекте Сталина, и нервно жует свои толстые губы. На его чуприне красуется ермолка. Я впервые вижу его в таком головном уборе. Он издали смотрит на стол, где недвижно лежит моя мама, и, наверно, вспоминает ее флойменцимесы, рубленую печенку, куриные шейки, ее тейглекс, имбирь, ее ворчливую, кошерную доброту.

— Радуйся,— говорит он на обратном пути.

Я вздрагиваю. Какая уж тут радость?

— Радуйся! — повторяет он.— Я, например, не знаю, где лежит моя мама... И никогда уже этого не узнаю... и ее могиле никогда не поклонюсь... А ты знаешь...— Натан замолкает и через мгновение произносит: — Мы к ней вместе будем приходить. Ладно?

— Ладно.

— Ты как к своей, и я как к своей...

В глазах рябило от темноты, от безуспешных попыток хотя бы на час-другой забыться коротким заячьим сном, чтобы назавтра не зевать на миру, не валиться с ног при людях. Но, видно, нет на свете будильника безжалостней, чем мысль.

Отчаявшись одолеть бессонницу, я зажег свет и принялся ходить взад-вперед от дверей до забранного в решетку оконца. Мои шаги оживили тишину, от вспыхнувшего огня ночника вдруг встрепенулся и прилепившийся к стеклу Бог — как попавший сюда мотылек, в келье стало одним живым существом, не нарисованным воображением, больше. Мотылек заметался между прутьями решетки, пытаясь вырваться прочь. Наблюдая за его бессмысленным, обреченным полетом, я открыл форточку в надежде на то, что он вылетит из кельи, но он продолжал метаться, и в его метании было что-то такое, что роднило нас в этом прекрасном чужом городе.

Когда ходьба наскучила, я сел за стол, на котором чернел проспект отеля с кратким описанием его славной истории, восходившей чуть ли не ко временам Людовиков, и уставился на пустое морское побережье в стеклянной рамке.

Насладившись морским воздухом и ночным шумом волн, я выдвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда ютящееся во многих гостиницах мира Священное писание на французском и английском языках и принялся листать приложенные к нему карты древнего Израиля с Иерусалимом и Хевроном, Вифлеемом и Назаретом. Не прошло и четверти часа, как их сменил Вильнюс, а праведников и апостолов — Вульф Абелевич Абрамский и тот же Натан Идельсон, приславший через моего приятеля, знаменитого литовского певца, гастролировавшего во Франции, нашему учителю три пакетика с дорогими и редкими лекарствами.

— Это вам, Вульф Абелевич, от Натана, — говорю я, входя в палату и протягивая посылочку. — Покажите их своему доктору.

Абрамский приподнимает голову с подушки, подтягивает под белую простыню ноги, глядит на меня из-под пенсне, с которым ни на минуту не расстаётся, и тихо произносит:

— Спасибо... Значит, он получил мое письмо... Но я у него ничего не просил... только написал, что и как... Боюсь, что его лекарства уже не помогут.

— Вы поправитесь, — неуверенно возражаю я. — И, Бог даст, еще встретитесь с Идельсоном. Сейчас перестройка... Открываются ворота...

— Перестройка, ворота... — хмыкает он. — Разве можно латать то, что надо выбросить на свалку? — Вульф Абелевич вдыхает впалой грудью теплый палатный воздух и продолжает: — Жаль, конечно, что Идельсона не будет рядом, когда... — Он обрывает фразу, как провод. — Но я сам виноват. — Абрамский снова делает долгую и томительную паузу. — За день до того, как пришли русские и освободили нас из лагеря, он уговаривал, просто умолял меня податься на Запад... Но я, идиот, наотрез отказался... Меня тянуло обратно... на родину... в Литву... Будь, дружок, добр — открой форточку! Что-то очень душно...

Я открываю форточку; в палату струится вечерняя прохлада.

— И что меня, спрашивается, тянуло? Родственники? Я нашел только братские могилы. Старые мои ученики? Их почти всех до единого извели... Грифельная доска, у которой я простоял до войны двадцать лет? С нее все стерли: язык, числа, имена. Так что же? Что? Ты писатель, тебе-то положено знать, что...

— А вы... Разве вы не знаете?

— Не знаю. С недавних пор я стал сомневаться, есть ли вообще правильные ответы, кроме одного-единственного: жизнь равняется смерти...

Вульф Абелевич замолкает, протирает простыней пенсне, водружает его на переносицу и смотрит на меня так, как если бы я не у больничной койки сидел, а, растерянный от своего беспробудного невежества, торчал у классной доски, переминаясь с ноги на ногу.

— Да ладно, не будем... — Он сгребает с тумбочки пакетик с лекарством, вслух прочитывает на французском языке название. — Видно, большие деньги выложил...

— Главное, чтоб помогло.

— Спасибо... — Абрамский супит брови. — А я, честно говоря, думал, из вас никакого толка не будет... Помните, как вы орал: «Атас, Троцкий идет!» Не вы ли с Файном на меня карикатуры малевали? Вместо головы десятикратно увеличенное пенсне, длинное, худощавое туловище и надпись: «Вульф вышел

из пункта «А» в пункт «Б», но завтра, к нашему сожалению, вернется...» Тогда это было ужасно смешно, поверьте, я сам хохотал над этим, а теперь... Теперь уж действительно я скоро покину пункт «А», но из пункта «Б» уже не вернусь. Третий как-никак инфаркт.

— Ну, что вы! — пытаюсь я утешить его.

— Есть одно уравнение, которое каждый решает самостоятельно и решения ни у кого не списывает. Как там у вашего собрата по перу: «Каждый умирает в одиночку». — Он садится, подбирает под себя ноги по-турецки, взбивает подушку и кладет ее на колени. — Если вы когда-нибудь встретитесь с Идельсоном, скажите ему, что было время — уже после нашего возвращения из лагеря, — когда я хотел его усыновить. Но убоился: а вдруг поднимет на смех? Как вы думаете: ему бы разрешили приехать на похороны, будь он моим приемным сыном?..

Я по-дурацки киваю головой.

— Это, конечно, глупо, но мне очень хотелось бы, чтобы он шел за моим гробом, хотя я не хотел бы, чтобы он увидел меня мертвым... Я и живой не красавец...

Ночь, подхлестываемая моей бессонницей, шла на убыль — темно-синее сукно небосвода медленно и неохотно выцветало, в коридоре гостиницы на Рю Декарт звякнуло ведро — видно, проснулась уборщица-арабка, но прибавление света снаружи не увеличивало его внутри — меня по-прежнему угнетала моя раздвоенность, я, как тот мотылек, метался между стенами, между городами и странами; в крохотный номер гостиницы из вечного пункта «Б» возвращался Вульф Абелевич Абрамский, как будто не было похорон, тяжелого дубового гроба, за которым шли все оставшиеся в Вильнюсе отличники и двоечники, которых он учил и которые еще не успели эмигрировать в благословенную Америку, проценную Германию или уехать на историческую родину в Израиль; напротив постели выросла тенистый каштан, и, дожидаясь утра и защищаясь от соблазнов, которыми кишел Париж, от незаслуженной доброты своего однокашника Натана Идельсона и от собственной неприкаянности, я терпеливо собирал каштаны и вылуцивал из их скорлупы спелые воспоминания. В моей голове смешивалось все: от послевоенных дармовых пончиков, которые гимназисты получали на завтрак, до устриц и креветок в кафе на набережной Сены; от зычного голоса нашего гимназического маршала Михаила Алексеевича Антоненкова до разжалованного Октябрьской революцией в гардеробщики потомственного дворянина месье Франсуа; от моей мамы, пекущей на Рош Хашана на коммунальной кухне пирог с божественной корицей, до уборщицы-арабки с мусорным ведром в руке и с наемной улыбкой на лице.

Я и сам не заметил, как перед самым рассветом уснул, сидя за столом. Мне снился Вильнюс, сорок восьмой год, первая мужская гимназия, наш класс, выходящий окнами в облюбованный птицами и пьяницами сквер; в классе только двое: моя мама и вместо строгого Вульфа Абелевича сошедший с портрета генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин в парадном мундире и фуражке с позолоченным ободком. Мама держит на коленях большую эмалированную миску с маковыми пирожками, испеченными к празднику Пурим, и с обожанием смотрит на вождя и учителя. Сняв с миски чистое льняное полотенце, она протягивает свои дары державному грузину:

— Угощайтесь, дорогой Иосиф Виссарионович. Исконное еврейское кушанье — гоменташа. Или уши Амана, который, как и немцы, хотел извести наш народ. Сама пекла. Угощайтесь!

Генералиссимус погружает свою величественную руку в миску, выуживает оттуда пирожок с маком, обнюхивает его, как усатый кот, и подносит к губам.

— Вкусно! — хвалит он маму, вгрызаясь в печиво.

Но ей такой похвалы мало, ей нужна другая. Не о ее удивительном умении печь, а о сыне — начинающем русском стихотворце.

— Кушайте на здоровье! — тараторит она. — Я вам еще испеку... А стихи вы любите?

— Люблю, — отвечает владыка. — Кто же их не любит?

— Сын мой пишет стихи. Вы случайно в газете не читали?

— Нет. — На многомудром челе Сталина залегает глубокая хмурая складка. — А в какой, уважаемая, газете? Обо мне тысячи стихов сложено...

— В «Пионерской правде». На первой странице, где соединяются пролетарии всех стран... Называется «Домик в Гори». Про вас... про вашу родину — Грузию... Очень хорошие стихи... Будет время, прочтите!

— Обязательно прочту. — Сталин снова запускает руку в миску, достает еще один пирожок, надкусывает пожелтевшими от курева зубами; мама, застыв, смотрит ему в рот — она верит (кому верить, если не ему?), что он и впрямь прочтет, что с трибуны Мавзолея объявит на всю страну, на весь мир, какой у нее сын, не тупица и не ленивец, а известный писатель, и тогда не страшно будет умереть, тогда даже глиняный холмик на кладбище покажется маковым пирожком.

— Мама! — стыдясь ее беспардонной просьбы, ее унижения, ее любви, закричал я, и собственный крик разбудил меня, как залиvistое кукареканье петуха; я открыл глаза, отряхнул с себя, словно брошенный в студеную воду щенок, липкие клочья нелепого сна, ведь я о Сталине и о своем стихотворении вроде бы и помнить-то не помнил.

Утро. Слава Богу, утро.

Скорей под душ! Я втиснулся в безбожно тесную, как газовая камера, душевую, встал под жестяной, как бы изъеденный червями, груздь, и из каждого его отверстия на меня вдруг низверглась холодная, освежающая благодать. Струи хлестали в лицо, и я постанывал от удовольствия.

Но благодать, видно, на то и благодать, что нисходит редко, а уходит быстро.

Так случилось и со мной. Я снова — уже при дневном свете — почувствовал что-то похожее на тревогу, и снова сомнения, которые одолевали ночью и которые вместе с усталостью, казалось бы, смыла колющаяся огородной крапивой ледяная парижская вода, закрались в мою душу. Надо ли было по первому зову, да еще на деньги Натана, сюда приезжать? Стоит ли томиться от ожидания и неведения, зависеть от изменчивого настроения и сумасбродных замыслов своего друга?

Расставаясь вчера в шумном вестибюле гостиницы, Идельсон, то ли по свойственной ему рассеянности, то ли по другой причине, забыл условиться со мной о новой встрече. Я, конечно, был ему благодарен за то, что он мелочной опекой или, что еще хуже, недоверием не стесняет мою хрупкую свободу, но она и без того до крайности была ограничена незнанием языка, города, нравов.

Как же я был посрамлен за свои сомнения, когда раздался стук в дверь — телефона в номере не было — и на пороге засверкала знакомая, с седыми завитками на затылке лысина, а за спиной Идельсона, как декоративное растение, выросла молодая женщина в легком демисезонном пальто и в берете a la Greta Garbo.

Пропустив свою спутницу вперед, рослый Натан нагнул голову, вошел в номер, взглядом комиссара полиции нравов окинул мою монашескую келью и сказал:

— Пять минут на сборы.

— Прошу прощения, — смутился я. — У меня постель еще не застелена.

Спутница Идельсона понимающе улыбнулась.

— Собирайся побыстрее! Грешно тратить время впустую. Ну, как спалось? Какие сны снились?

— Сталин снился, — невесело произнес я.

— Сталин... А я-то думал — обольстительная монахиня... Пришла и, вместо того чтобы обратить заблудшего еврея в христианство, стала учиться у него тонкостям и прелестям любви. Ты же не по алгебре, а по этой части, кажется, был в краю отцов не из последних молодцов...

Натан был в хорошем настроении, он просто излучал доброжелательность и терпение. Женщина смотрела на него с насмешливым обожанием.

— Знакомься: Николь. Мой друг.

— Очень приятно, — пробурчал я, приведя наконец постель в образцовый казарменный порядок.

— Николь немного говорит по-русски... Она со-ве-то-лог... — последнее

слово Идельсон произнес по складам.— Восхищается Горби и вашим Ландсбергисом.

— Нейтан, как всегда, преувеличивает,— засмеялась Николь.

— Ты готов? — осведомился мой однокашник.

— Да.

— Николь будет с тобой неотлучно до самого вечера,— объявил Идельсон.— Я не могу: у меня две лекции... И доктор... Приходится и к докторам ходить... Встретимся после семи... Там же... на набережной. А пока — augevoir и приятного времяпрепровождения. Только смотри не вздумай умыкнуть мою добычу в Литву. Чтоб вернул ее в целостности и сохранности. Понял? Она влюбчива, как мартовская кошка...

— Верну... Можешь не беспокоиться.

— А если я захочу...— оскалила свои голливудские зубы Николь.

— Чего захочешь?

— Не вернуться. Ты, Нейтан, старый и лысый, а твой друг... как это по-русски называется...

— Молодой? — поощрил ее игривость Идельсон.

— Нет... Но очень и очень charming...

— Милый,— без большого восторга перевел Идельсон, хотя тут-то перевод и не был нужен.— Итак, ровно в семь...

Мы скромно позавтракали в бистро у овощного рынка и отправились бродить по Латинскому кварталу, по его замысловатым улицам, то вонзающимся, как рапира, в небо, то камнепадом низвергающимся в невидимую пропасть; ноги у меня гудели, но Николь не унималась, подхлестывала меня молча, плутовским взглядом; упивалась своей неутомимостью и услужливостью. Иногда мы присаживались на скамейку и подолгу наблюдали за стайками тучных, не утруждавших себя полетом голубей, которых подкармливали чинные сердобольные старушки в буклях и импозантные старцы в широких боевитых беретах времен французского Сопротивления. Порой Николь прерывала свое молчание, вызванное трудностями с русским языком, и задавала неожиданные вопросы, не имевшие никакого касательства к советологии или к моему другу Идельсону.

— Вам нравятся француженки?

— Да,— ответил я, не желая слыть ханжой.

Николь была намного моложе Натана — лет эдак на двадцать, не меньше, но их связь, как мне показалось, была давней и скорее интимной, чем дружеской.

— В Париже даже статуи не имеют равнодушие к женщинам,— произнесла Николь коряво и симпатично.— Это правда,— продолжила она без всякой связи с предыдущим,— что вы с Нейтаном учились в Вильнюсе в одной школе?

— Правда.

— И я с ним училась в одной.

Я недоверчиво глянул на нее.

— Правда, правда. Разве Париж не школа любви?

— Не знаю...

— Нейтан — хороший ученик! — выпалила она и громко рассмеялась.—

Он учился на одни пятерки... А вы, месье, я слышала, иногда списывали у него. Да? Списывали?

— Был такой грех...— признался я.

— В школе любви это невозможно...— И снова засмеялась.

Засмеялся и я. Ее искренность была заразительна, и я отвечал своему гиду тем же.

Николь взяла меня под руку и, не переставая смеяться, повела к знаменитому Белому костелу, пасхальным пряником маячившему на пригорке.

— Нейтан хочет, чтобы мы когда-нибудь тут... как это называется по-русски?

— Обвенчались,— подсказал я.

— Обветшались? — переспросила она.

— Об-вен-ча-лись.

— Ух,— вздохнула Николь и изобраила жестом фату.— Да?

— Да.



Ну и что, что она на двадцать лет моложе? Пусть только Натан-Нейтан будет жив-здоров. Пусть Господь Бог вознаградит его за все страдания, за сиротство, за бездомность, за мужество начать все сначала...

— Месье Идельсон уже ждет вас,— вежливо предупредил утративший в огне революции свои поместья, но не дворянское достоинство и воспитанность седовласый Франсуа.

— Нейтан, мы голодны как черти! Да?

— Да,— сказал я.

— Много кушать вредно, Николь...— пошутил тот и обратился ко мне: — А для тебя у меня новость... Завтра вечером ты приступаешь к работе. И никаких возражений!..

### III

Идельсон уверенно, по-хозяйски вел по ночному Парижу машину, положив на руль длинные, поросшие рыжеватой растительностью руки; за окнами юркого «Пежо» мелькали, как допотопные чудища, памятники и арки, фасады домов добротной кладки, проносились одинокие фигуры прохожих — то заглянувших в каком-нибудь укромном подвальчике клошаров, то вольных, с изломанной, зазывной походкой девиц, еще не утративших недорогостоящую, но ускользающую с приближением безгрешного утра надежду заарканить взлывавшего платной нежностью и любви партнера...

Я молча сидел рядом с помолодевшим от езды и выпивки Натаном и не мог нарадоваться его сноровке. Быстроногий кремовый жук перелетал с одной улицы на другую, со старинной площади на новую — с цветными клумбами и задиристыми фонтанчиками, из одного парижского округа в другой. Казалось, Идельсон управлял не машиной, а самим Парижем, затихавшим от дневных трудов и борений, от торговой суеты и спешки.

На заднем сиденье дремала разморенная бургундским Николь. Она сладко, почти по-детски посапывала, и это посапывание доставляло Идельсону нескрываемое удовольствие; он то и дело оборачивался, чтобы убедиться в безмятежности и защищенности ее сна, словно кто-то посторонний мог его нарушить. Я прислушивался к ее негромкому дыханию; вопросы, изрядно прибавившиеся у меня за день, смиренно глохли от присутствия спящей женщины, и я чувствовал себя так, как если бы очутился в чужой спальне и стал соглядатаем того, что третьему видеть не положено.

Через четверть часа «Пежо» по моим прикидкам должен был въехать в Латинский квартал.

Идельсон принялся что-то тихо насвистывать — кажется, «Осенние листья» Леграна,— притормозил, в очередной раз обернулся на спящую Николь и спросил:

— Как она тебе?

— Ты еще спрашиваешь?

Мой ответ пришелся, видно, ему по нраву.

— А разница тебя не смущает?

— Если тебя не смущает, то почему же она должна смущать меня? Любви все возрасты покорны.

— Пушкин?

— Да...— С минуту я выждал и ринулся в атаку: — Натан! Хватит играть в прятки. Кто этот твой клиент и что я конкретно должен буду делать?

— Тише — Николь разбудишь. Ты мне скажи: Литву хорошо знаешь?

— Неплохо... Без малого одиннадцать лет на киностудии отработал. Во время съемок успел исколесить всю республику вдоль и поперек. Побывал почти во всех городах и местечках.

— В Тельшяй бывал?

— Конечно.

— Месье Майзельс, твой первый клиент, как раз оттуда. Из Телж, как он говорит. Уехал шестнадцатилетним юношей. Скоро старику стукнет девяносто... Из них в Литве не был семьдесят четыре... Извини, кажется, впереди бензоколонка... Надо бы подзаправиться.

Идельсон осторожно вырулил на площадку, где не было ни души. Пока он искал заправщика, я пытался обдумать, как же мне все-таки поступить. Проще всего было бы отказаться от предложения Натана, сослаться на нездоровье, усталость, стеснительность, неумение говорить правду или врать по заказу, с бухты-барухты вторгаться в чужую жизнь, но для Идельсона, увы, не все, что звучало просто, было убедительно. С другой стороны, в его предложении было что-то заманчивое, притягательное, и искус состоял не в оплате, а совершенно в ином вознаграждении — в предоставившейся возможности помочь кому-то, прикоснуться к чему-то новому, дотоле не изведенному.

Я мысленно пытался войти в положение тех, кто шестьдесят или семьдесят лет был оторван от своих — как их ни называй — истоков, пенатов, начал; тех, для кого название какого-нибудь затерявшегося в Жемайтии или Дзукии городка по сей день звучало незамолкшей музыкой детства. Месье Майзельсу или какой-нибудь мадам Финкельштейн, вероятно, страсть как хотелось еще раз — может, последний — заглянуть за ширму времени: побывать в тех городках и местечках, куда им, старикам, уже не попасть. Не попасть не потому, что они не в силах наскрести на билет, а потому, что не в состоянии подняться по трапу «Боинга» или «Каравеллы» и спуститься на ту землю, где они появились на свет. Поэтому-то они были готовы щедро отблагодарить залетного гостя только за кратковременную, как вспышка магния, иллюзию, за легкое прикосновение к тому, что хоть и будоражило память, но давно лишилось цвета и звука, объема и запаха.

Все вдруг прояснилось; Господь Бог смилостивился надо мной и просветил мой изнуренный догадками разум, и от Натана уже не требовалось никаких разъяснений. Если я не зартачусь, не буду ломать из себя девственника — бесребренника и моралиста и соглашусь, то завтра же вечером стану на неделю продавцом снов и начну торговать ими оптом и в розницу: кормить своих клиентов смесью актерства и сочинительства, что-то изображать, рассказывать — словом, во всю мощь своих легких дуть на кучу пепла в надежде на то, что из нее снова воспламенится костер, когда-то ярко горевший, но безнадежно потухший.

Заправщик наполнил бак, Натан расплатился, сел за руль, привычно обернулся назад, глянул на Николь и самому себе скомандовал:

— Поехали, Идельсон!

«Пежо» выкатил на дорогу и, обгоняя другие машины, полетел вперед.

— О чем, дружок, думал? — бодро спросил Натан, и в его бодрости не было ни деланности, ни натужности. Казалось, на запруженной светом бензоколонке в него самого влили какое-то горючее, которое весело и непринужденно растекалось по жилам и ускоряло течение крови.

— О разном.

— Бреши, бреши. Оставшись наедине с хорошенькой женщиной, спящей за спиной, настоящий мужчина о разном не думает...

— Значит, я не настоящий мужчина.

— Ну, ну!.. А я — грешник... Был женат дважды... Но больше ни-ни... А ты?..

— Я только раз. И тоже ни-ни...

До этого Натан избегал разговоров о своей семье; не спрашивал и о моей. Его нисколько не интересовало, кто моя жена, сколько у меня детей, жив ли мой отец, сшивший Идельсону в подарок выходной костюм из йоркширской шерсти, в котором Натан транзитом и отправился через Польшу из майской ливневой Литвы во Францию.

— Нейтан,— послышалось сзади. Николь продрала залепленные клейким сном глаза, оглянулась и капризно о чем-то спросила Идельсона по-французски.

Он что-то на том же французском с загадочной, чувственной улыбкой ответил; я, невежда, естественно, ни бельмеса не понял, кроме вычитанного то ли у Мопассана, то ли у Флобера расхожего обращения «моя любовь».

До самой гостиницы они продолжали ворковать, как будто, кроме них, в машине никого не было. У гостиницы машина скрипнула тормозами; Натан, почувствовав неловкость, толкнул меня локтем в плечо и, перейдя на русский, с подчеркнuto грубоватым дружелюбием сказал:

— Вытряхивайся!.. Завтра Николь сходит с тобой в Собор Парижской Богоматери и в Лувр... А то ты уже тут третьи сутки, но, в сущности, ни хрена еще не видел... А об остальном мы вроде бы договорились. К Майзельсу я тебя сам отведу...

Николь высунула из окна свою каштановую голову и помахала мне ручкой. Она долго шевелила в переливчатом свете уличных фонарей своими тонкими пальчиками с накрашенными ногтями, словно молясь, перебирала янтарные четки.

Лифт не работал. Я не спеша поднялся на крутой четвертый этаж, вошел в свою келью и, не зажигая света, разделся и завалился спать.

Мне снился тот самый, высаженный ясновельможным паном Войцехом Пионтковским каштан. Как будто усыпан он не спелыми плодами, готовыми вот-вот освободиться из своего зеленого узилища, а моими однокашниками. На нижних ветках, болтая ногами, обутыми в ботинки фабрики «Скороход», сидят: Лука Георгиев — сын православного протоиерея Виленского Свято-Духова монастыря; Сема Зарецкий по прозвищу Тощий Сплетник с незаслуженным и Бог весть где добытым значком «Ворошиловский стрелок» на груди; Илька Богуславский — верзила и задира, тайком потягивающий вонючую папиросу «Арома»; Слава Тихончик в вязаном свитере и лыжной шапочке; повыше, там, где ветви густо переплетались друг с другом, качаются, как на качелях, Натик Идельсон, смачно уминающий бутерброд с сыром «Шетос» и листающий той рукой, на которой выжжен лагерный номер, новехонький учебник алгебры; Витька Тягунов — капитан юношеской сборной Литвы с победным волейбольным мячом под мышкой и я сам, громоподобным голосом читающий Арику Берлину, первому тенору школьной самодеятельности, юному философу, автору трактата о париях и плебях в Древней Индии, стихи собственного разлива, пусть и корявые, но очень нравящиеся в соседней женской гимназии.

— А ну-ка, слэзьте! — кричит директор гимназии, историк Михаил Алексеевич Антоненков.— Где это слыхано, чтобы ученики на деревьях торчали?

Кричит и звонит в колокольчик. Но класс не слушается. На дереве лучше, чем за партами.

В ветвах озорует ветер. Только раздвинь их рукой, и откроется безбрежный простор с молочными облаками, со шпильями костелов, островерхими крышами, кирпичные клавиши которых — если только прислушаться — исторгают дивные полузабытые звуки.

Шум, гам, ор.

— За самовольный уход с урока всем ставлю двойки,— говорит Вульф Абелевич не столько классу, повисшему на ветках, сколько директору Михаилу Алексеевичу, желая проявить перед ним свой несгибаемый характер.— Немедленно ступайте в класс!

Но никто из его подопечных и не думает ему подчиниться.

— Слезьте! — надувая щеки, требует орденосный Антоненков и, убедившись в тщете увещаний, поворачивается к открытому окну директорского кабинета и с какой-то злобной торжественностью восклицает: — Николай Николаич! Пилу! Принесите пилу!

Вместе с военруком, одноруким Эн Эном, как его называли гимназисты, во двор высыпают все учителя. Подходят к каштану, задирают головы, укоризненно разглядывают бунтовщиков.

Эн Эн из серого здания гимназии одиноко и гордо выносит, как поверженное фашистское знамя на Красной площади на Параде Победы, пылившуюся в подсобке довоенную пилу.

Михаил Алексеевич берется за один ее конец, военрук — за другой, и начинается нудная и кропотливая пилка. Жжик-жжик, жжик-жжик!

Ствол у каштана толстый, пила ржавая, скрипучая, у неутомимых вдохновенных пильщиков только три руки (Вульф Абелевич в пильщики не годится — глядишь, не то перепилит). Михаил Алексеевич и Эн Эн пилят и пилят, а каштану хоть бы хны — ни зазубрины, ни отметины.

Пилят и пилят.

Вытирают пот и снова пилят.

Весь класс сидит на невредимом, как бы заклётом дереве, кора которого

словно отлита на танковом заводе, болтает ногами, надрывает животики; и сквозь зеленые расщелины в густой кроне с неба струится голубая благодать, не сравнимая ни с геометрией, ни с историей Великой, Малой и Белой Руси, ни с устройством советской винтовки образца такого-то и такого-то года...

Когда я проснулся, скрип пилы умолк не сразу — по привитому сызмальства обыкновению бедняги-дровосеки все еще пытались перепилить то, чего сами никогда не высаживали.

Я побрился, влез в легкие чесучовые брюки, надел новую рубашку с накладными карманами и легионерскими погонами, причесался перед осколком крохотного зеркала, побрызгал волосы цветочным одеколоном, ужаснувшись его резко провинциальному запаху, спустился в вестибюль, где толпилась стайка индусов с белыми тюрбанами на голове, напоминавшими взбитые сливки, отдал портье ключ и вышел на улицу.

Боязливо приюхиваясь к себе, я стал прохаживаться по оживленной улице и ждать Николь, с которой договорился встретиться в девять. Но та опаздывала, и мне ничего не оставалось, как коротать время с моим будущим клиентом меся Майзельсом.

Разглядывая толпу, я пробовал из ее гущи выхватить лицо какого-нибудь старика, похожего на Майзельса, хотя я того никогда и в глаза не видел. Как назло, среди прохожих чаще всего попадались либо люди среднего возраста, либо молодые.

Двойника Майзельса мне так и не удалось вычислить — кто-то сзади игриво постучал в мою спину, как в приоткрытую дверь, я обернулся и увидел перед собой Николь.

— Ужасное... как это называется по-русски... давление,— пропела она.

— Пробки?

— Наверно... Простите...

Она была в тонкой спортивной куртке и кроссовках «Адидас», как будто направлялась не в Собор Парижской Богоматери, не в Лувр, а на стадион, где должна была принять участие в каких-то важных забегах. Неожиданная одежда Николь не портила и не умаляла ее женственности, а только оттеняла и подчеркивала ее. В своей чесучовой рубашке с галстуком, со своими по-жениховски прилизанными волосами, пахнувшими еще не выветрившимся отечественным одеколоном, со всем своим опереточным лоском я, по-видимому, по сравнению с ней казался записным пошляком.

Когда Николь одолевала усталость, она останавливала такси, и мы мчались на нем, петляя по Парижу, от одной достопримечательности к другой. Их великолепие и красоты застило что-то такое, чему я — как ни старался — не находил названия. Не то жалость к ней, не то предосудительная зависть к удачливому Идельсону, вечно занятому, передававшему меня своей подружке, как посылку, которую надо доставить по затерявшемуся адресу.

— Сама тут не была миллион лет,— призналась Николь, когда наш дневной налет на бессмертные острова Парижа закончился и наступил вечер.— Нейтан ждет нас на бульваре Бомарше. Вы не утомились?

— Нет.

Она явно была чем-то опечалена, но я сделал вид, будто этого не заметил.

— Если не возражаете, пройдемся пешком. Я истратила все деньги.

Мы двинулись пешком. Впереди, опираясь на палку с толстым набалдашником, шел Майзельс; я не сводил глаз с его сутулой старческой спины, с его седых косм и прислушивался к стуку палки о тротуар, как к биению своего сердца.

— Нейтан вам что-нибудь рассказывал? — неожиданно заговорила Николь.

— О чем?

— О себе... О своей болезни... Он очень и очень болен...

Я покачал головой. Мне почему-то вдруг захотелось, чтобы она замолчала, и Николь словно уловила мое желание, осеклась, и до бульвара Бомарше мы дошли молча, повязанные одной большой печалью.

Идельсон нас уже ждал. Он обнял Николь, обменялся с ней несколькими словами по-французски, которые еще больше опечалили ее, по-мальчишески

подтолкнул меня обеими руками в спину и быстро направился к подъезду. Отыскав в списке жильцов фамилию «Майзельс», Натан позвонил в домофон; сверху, как жухлый лист, упало подозрительное старушечье: «Кто там?» Идельсон что-то ответил, и дверь распахнулась.

— Если повезет,— сказал он, разглядывая свою лысину в зеркале лифта,— мы с тобой, дружок, учредим всемирную фирму с филиалами во всех крупных городах, где проживают евреи, и наладим обслуживание на дому живой и полноценной информацией всех стариков литваков, лишенных возможности передвигаться и перманентно возвращающихся в мыслях в свое прошлое.— Он засмеялся, но смех его был каким-то натуловым и невеселым.

— Что сказал доктор? — успел я спросить, пока лифт не остановился.

— Я еще не был у него,— замылся он.

Квартира месье Жака Майзельса, оказавшегося совершенно непохожим на того, кого рисовало мое воображение, занимала два этажа. Сухонькая старушка, видно, его дочь, встретила нас и провела на верхний этаж, где на высоком стуле из мореного дуба с мягкой кожаной спинкой сидел хозяин — сам Жак Майзельс, хмурый, неприветливый мужчина с лицом, изъеденным оспой, в теплой рубашке с открытым воротом, в вельветовых брюках и летних сандалиях. Издали казалось, что он спит. Может, Майзельс и в самом деле спал, но, заслышав шаги, встрепенулся и помахал со своего трона Идельсону рукой.

Натан, представив меня, бросил: «Я позвоню и заеду», — извинился перед хозяевами и удалился.

Месье Жак, из широко растопыренных ушей которого косточками перезревшей маслины торчали кругляши слухового аппарата, с любопытством рассматривал меня, как картину художника-абстракциониста, прицениваясь и прикидывая в уме, стоит ее приобрести или нет.

Его сандалии все время шуршали по необозримому персидскому ковру, и в этом назойливом и размеренном шуршании было что-то завораживающее и угрожающее одновременно.

Узнав, что я свободно говорю на мамэ-лошн — на идише, месье Жак оживился, одобрительно покачал головой, на которой, несмотря на патриарший возраст Майзельса, сохранились все волосы, и пожаловался на то, что с тех пор, как вернулся из Штутгота, где не только узники, но и некоторые немцы — лагерные чины говорили по-еврейски, он почти ни с кем не общался на языке матери. Только на франсе, только на франсе. Элиза, дочь, и та была идиш.

Похвала улучшила мое настроение. Я ждал, когда он меня спросит о главном,— не для того же он пригласил меня, чтобы на идише лясы точить!

— Скажите, молодой человек, вы давно бывали на Телжском кладбище? — не обманул мои ожидания месье Жак.

Я смешался.

В Тельшый я, конечно, не раз бывал, но на кладбище?.. Что мне было делать на чужом кладбище? Не мог же я ему сказать, что и на свой-то пустырь езжу редко. Как сказать, что и в Телже, и в моем местечке, и в других местах от еврейских кладбищ остались только груды камней.

Не этого Майзельс ждал от меня.

Не этого ждал от меня мой старый друг Натан Идельсон.

Глядя на сморщенное, почти безжизненное лицо месье Жака, усеянное, как болотной клюквой, багряными оспинками, ловя его взыскующий утешительного ответа взгляд, я, памятуя о наставлениях Натана, великодушно обронил:

— Да, да...

— Там, сразу за воротами... если пойти налево... лежат мои родители Шейна и Юдл Майзельс... Два маленьких надгробия в виде Моисеевых скрижалей. Может, проходя, заметили?

У меня сжалось сердце. Сейчас оно, как мне казалось, напоминало раскрытую скрижаль.

— Как же, как же... очень красивый памятник,— дрогнувшим голосом промолвил я.

— А напротив могила Рабби Кремера, святого человека...— прохрипел Майзельс и от Рабби Кремера плавно перешел к ешиве: — А что с ешивой?

— Слава Богу, стоит... Только никто в ней сейчас не учится,— сказал я, решив разбавить небылицу перчащей правдой.

— Рабби Кремер готовил меня к бармицве. Помню, как я читал в битком набитой синагоге молитву... в белом талесе до пят... с молитвенником в золотом переплете в руках... Господи, когда это было!

Месье Жак вздохнул.

Вздохнул и я.

— Память у меня хорошая... Не то что у нынешних евреев, которые из-за франка готовы все забыть... Врачи хвалят мою память...

Он отдышался и позвал Элизу.

— Уи,— сказала она по-французски и исчезла.

— Весь Телж покупал у Юдла Майзельса, моего отца, светлый ему рай, мясо. Такого мяса ни в одной лавке не было... Кошерное, свежее, прямо со скотобойни...

Элиза принесла фрукты.

— Ешьте, ешьте...— подстегнул он меня.— Улица Вишневая, десять... Мясная Юдла Майзельса...

— Возле костела,— содрогаясь от собственной выдумки, ввернул я.

— Точно... Вишневая!

Я был потрясен совпадением, неожиданно придавшим достоверность моим случайным словам. Чувство стыда и жалости стеснило грудь, я протянул руку к хрустальной вазе с гроздьями винограда, краснощежими яблоками, золотистыми абрикосами и, не сообразуясь с правилами хорошего тона, схватил ранет и принялся уплетать его, чтобы только рта не раскрывать.

Час пролетел незаметно.

Любознательный месье Майзельс обращался ко мне все реже и реже; воспоминания о Телже, взбудившие его поначалу, к концу, видно, утомили его и стали, как морфий, усыплять не утративший за долгие годы ни пытливости, ни бдительности изнуренный мозг. Глаза его сузились; он все чаще откидывал свою львиную голову на дубовую спинку стула; внимание его вдруг рассеялось, расплылось; Элиза не спускала с него глаз — отложив вязанье, поглядывала на него из-под очков, как строго сестра милосердия на тяжелобольного.

Я пялился на нее и утешал себя тем, что и мной двигали не корысть, не любопытство праздного писаки, а что-то похожее именно на это милосердие. Пусть отдаленно, но похожее.

Идельсон, видно, не торопился со звонком.

— Когда летите обратно? — как сквозь сон осведомился месье Жак.

— В воскресенье.

— Так скоро,— сказал Майзельс, и в голосе заплескалось сожаление.— Зачем вам спешить?.. Если вам нужны деньги, то я охотно...

— Нет, нет.

— Месье Идельсон вам, наверно, говорил о международной сети моих магазинов... Я продаю не мясо, как мой отец, а меха. Соболиные, каракулевые, норковые... «Майзельс и Шапиро»... Наверно, слышали? Не стану скрывать — я богатый человек... И очень бедный... Ведь нет беднее человека, который не может прийти на родные могилы...

— Папа! — воскликнула Элиза с ударением на последнем слог, подавая отцу какой-то предупредительный знак.

— Если будете еще в Телже... Вы же там все равно будете?..

— Буду.

— Сходите на кладбище и за меня прочтите кадиш... Вы умеете говорить кадиш?

— Да,— сказал я и весь зарделся.— Обязательно! Обязательно!

— Я заплачу...

— Папа! — сверкнула спицами, как боевым мечом, заботливая дочь.

На столике из слоновьей кости зазвонил телефон.

Я стал прощаться.

«Кадиш, кадиш, кадиш», — покусывая губы и глядя на себя, невежду, до

сих пор так и не удосужившегося выучить ни одной молитвы, повторял я в пустом лифте, и эхо моего запоздалого раскаяния, казалось, вырывалось из шахты и отдавалось над могилами в далекой Литве.

## IV

Натан, видно, искал пяточок, где он смог бы припарковаться.

— В Париже легче купить машину, чем ее поставить, — сказал он еще в то утро, когда встречал меня с плакатиком в аэропорту Орли.

Я ждал его у дома месье Майзельса и, глядя на огромное скопище застрявших в вечерней пробке жуков и жучков, возвращался мыслями к старику, прикованному к своему дубовому стулу, к уюту двухэтажной квартиры, обставленной антикварной мебелью и устланной дорогими коврами, к бесценным картинам Шагала и Сутина, приобретенным еще при жизни художников за баснословные деньги, к зеркалам в позолоченных рамах, в которых он все реже и реже отражался, и пытался понять его щемящее, бесплодное стремление хотя бы на время перенестись в прошлое — от своего рутинного, привычного, как чистка зубов, богатства к счастливой и задорной бедности в далеком, захолустном литовском городке.

Извлекая из памяти подробности нашего короткого с ним разговора, я не раз ловил себя на том, что в роли удачливого продавца снов выступал вовсе не я, как было задумано Идельсоном, а он, престарелый месье Жак Майзельс; на мою же долю выпало другое — как можно аккуратней и бережней снимать их с прогнувшихся, заплесневелых полок, стирать накопившуюся за долгие десятилетия пыль и, надрав их до блеска, стопками укладывать перед ним на прилавок.

Чем больше я размышлял о первой встрече, тем четче сознавал печальную выгоду Натановой затеи. Меня вдруг осенило, что продажа снов — не ремесло, а образ жизни, свойственный каждому, что и я, и меховщик месье Майзельс, и скрывающий от меня свою болезнь Идельсон, и Николь, и даже Вульф Абелевич Абрамский — все мы продавцы снов, что, сами того не ощущая и не понимая, ежедневно и неустанно занимаемся одним и тем же — продаем друг другу по дешевке или втридорога сны, которые тщетно соперничают с явью.

— Ну, как прошел дебют? — вывел меня из оцепенения голос Натана.

— Сносно.

— Сколько, дружок, получил? — спросил он таким тоном, как будто речь шла не о гонораре, а об отметке на экзамене по любимой им алгебре.

— Нисколько.

— Это еще что? — возмутился Идельсон. — Ты отказался? Или месье Жак не предложил тебе?

— Чтобы отказаться, надо сперва согласиться...

— Я так этого не оставляю! — возмутился Идельсон. — Да он тебе и ворсинки с шубы задарма не отдаст.

В его решимости восстановить справедливость не было никакого наигрыша и нажима, но она казалась мне не столь важной и отвлекала от чего-то более существенного. Ведь прошла чуть ли не половина срока моего пребывания в Париже, а я о самом Натане так ничего и не узнал, кроме того, что он был дважды женат, что чем-то болен и что у него есть молоденькая подружка.

— Не беспокойся! Завтра же все улажу. Месье Жак сказал мне, что желает встретиться с тобой не один раз, а несколько... Между прочим, заказы сыплются, как из рога изобилия... Впору на бульварах контору открывать. Месье Заблудовский из Каунаса, Шрайман из Жагаре, — Натан стал загибать пальцы, — мать моего семейного врача Клод Бронфман-Дюбуа...

Он с воодушевлением перечислял фамилии, давал каждому клиенту какую-нибудь короткую и лестную характеристику, называл их примерный год рождения, место проживания до первой и второй мировой войны в Литве, род их занятий; я слушал и диву давался, откуда эта напускная беспечность, этот коммивояжерский пыл?

— Мать моего эскулапа просит, чтобы ты пришел к ней завтра утром. Для нее это лучшее время. По утрам мадам Клод прогуливает своего любимчика Шарля... ангорского кота, который у нее на положении мужа... А по вечерам

смотрит по телевизору любовные сериалы и ходит к соседкам в карты играть. Дама, скажу тебе, интересная во всех отношениях.

— У тебя со здоровьем что-то серьезное? — перебил я его. В самом деле: не к мадам же Клод Бронфман-Дюбуа, прогуливающей по утрам своего Шарля, я в гости приехал.

— Уммм... — промычал Идельсон, не подтвердив и не опровергнув моего предположения. — В прошлом году лишний комочек вырезали... Сейчас на Земле нет человека, у которого бы чего-нибудь да не вырезали.

— Надеюсь, не злокачественное?

— Давай, брат, о чем-нибудь другом... — буркнул Натан и добавил: — От всех этих разговоров о здоровье просто тошнит. Лучше о женщинах... о гимназии... Мы живы до тех пор, пока вспоминаем... Вспоминаем — следовательно, существуем... Ты не поверишь, но я уже давно, ох, как давно не торгую воспоминаниями, я теперь их сам покупаю. Заламывай цену — все куплю, дурные ли, хорошие ли, все... ты уже столько их мне даром продал... и каштан... и Вульфа Абелевича... Кстати, памятник вы ему поставили?

— Поставили. Вскладчину. Сложился и поставили.

Идельсон вытаращил на меня печальные, с поволокой глаза; его лохматые брови с изморозью седины сошлись на переносице.

Я не спрашивал Натана, куда едем, мне было все равно, да и его это, видно, не заботило. Лишь бы ехать, лишь бы быть вместе, лишь бы снова пристегнуться невидимым ремнем, пусть и ненадолго, к тому, что было сорок лет тому назад.

— До этого долго на могиле Вульфа никакого знака не было. Даже дощечка с его фамилией куда-то запропастилась. Голый холмик, опавшая хвоя, и все. • Я и в профком ходил, и к Михаилу Алексеевичу, требовал, доказывал, совестил. В ответ слышал бодро: «Будет сделано в будущем бюджетном году!» И тут у нашего ушлого юриста Коли Мукомолова мысль, как зуб, прорезалась: «Да пропади он пропадом вместе со своим бюджетным годом! Устроим складчину!» И пошло — поехало... Илька Богуславский из Израиля доллары прислал, Арик Берлин, сделавший хороший бизнес в Америке на компьютерных системах, черный гранит на Украине купил и оплатил все расходы на его доставку в Вильнюс. Ядерщик Семен Зарецкий — из атомного центра в Дубне — деньги на благоустройство пожертвовал...

— Только я, выходит, от взноса уклонился... — нахмурился Идельсон. — Правда, ничего не зная о смерти Абрамского, сына в его честь Вульфом нарека.

— Вульф живет с тобой?

Натан помрачнел. Таким я его еще не видел.

— У тебя, дружок, талант не писателя, а следователя.

— Не насилую. Хочешь отвечать — отвечай, не хочешь — Бог тебе судья.

— Вульф погиб, — понизил он голос, как бы боясь, что сын услышит. — Поехал добровольцем и погиб... в ливанской кампании... под Сайдой... На горе Герцля в Иерусалиме лежит... Я каждый год туда езжу. Качаюсь над могилой, как дерево на ветру, и думаю, когда же меня срубят. — Натан сглотнул катыш боли и продолжил: — Дочь от первой жены... гречанки... в Салониках православных внуков-гречат нянчит... Никоса и Аристидиса... Мог ли я когда-то в Майданеке подумать, что мои внуки будут греками? Что судьба забросит меня в Париж? Что я на старости останусь таким же сиротой, каким был там, в лагере, среди вшей и волкодавов? — Он все это выпалил на одном дыхании как стихотворение, раздробленные строфы которого наконец-то сочленились и лесенкой подступили к горлу. — А у тебя кто?

— Два сына. Старший в Канаде... Младший в Израиле...

— Так ты у нас мужской закройщик, как и твой отец, — горько усмехнулся он. — Не поверишь, у меня до сих пор сшитый им костюм дома висит... Рад бы показать, но...

— Что — «но»?

— Дом у меня вроде бы есть и вроде бы нет его... Так случилось, что придется его на две половинки перепиливать. Та, где костюм, достанется мне. Та, где его нет, — Рашели Идельсон... Врагу не пожелаю разводиться с еврей-



кой...— Натан открыл окно, и вечер выдал, как из тюбика с кремом, освежающую прохладу.— Ты, наверно, не поверишь, но я, как и ты, сейчас живу в гостинице, только на другом конце города.

— А Николь?

— Не слишком ли много тебе хочется знать, Мегрэ? — пристыдил он меня за бестактность.— Куда поедем — ко мне в кафе или за город?

— О! Что я слышу? У тебя есть свое кафе? Профессор Сорбонны и владелец кафе? Здорово!

— А ты, пережиток социализма, не зубоскаль, не иронизируй. Ты что, считаешь — профессор и богадельня звучит лучше? Какой прок в ленивых деньгах? Деньги должны работать... Как сказал один остряк, счастье, конечно, не в деньгах, но в этом приятно убедиться... Так куда?

— Поедем за город.

— За город так за город. Отвезу тебя в такую пригородную рощу... Пейзаж, как в Литве... Пустынно и тихо...

То, однако, была не роща, а длинная липовая аллея, освещенная редкими фонарями, как театральными софитами. Мы молча бродили по ней — два призрака, две бесплотные тени, тишина и неверное освещение облекали нас в странное, неземное одеяние; липы шумели едва слышно, на землю, кружась в воздухе, падал их невесомый, словно рукотворный цвет, придавая всему вокруг еще большую призрачность и условность.

Я чувствовал, что Идельсон что-то недоговаривает, но слова, которыми он мог мне что-то объяснить и которые мы из сочувствия могли сказать друг другу, были суше и холодней, чем эта липовая роща, полная первородного таинства. Она вся была и сострадание, и объяснение, и напутствие, как никогда, сближала нас теплой и безмолвной жалостью. Казалось, останься в ней, и все как рукой снимет: и болезни, и утраты, и разочарования. Может, поэтому ни я, ни Натан не спешили из нее выбраться. Куда спешить? К кому?

К Вульффу на горе Герцль?

К православным внукам в Салониках?

К Николь?

В Канаду?

В родную неродную Литву?

Где наш дом?

Только построишь его — и оглянуться не успеешь, как пыльщики и дрово-секи тут как тут.

Жжжик, жжжик!..

Молчанием была выслана и дорога из липовой аллеи назад, к нашим временным приютам, и ни мне, ни Идельсону не хотелось портить его ни правдой, ни ложью. Мое любопытство дошло до какого-то предела, за который я не отваживался переступить. За этим пределом маячили новые открытия и потрясения — химиотерапия, долгая — если не вечная — разлука, срубленные вместе с православными и еврейскими птенцами гнезда. Не от этого ли сознания мое желание помочь Натану, выполнять его прихоти, не перечить, не досаждать вопросами только крепко? Спрашивай, не спрашивай, откровенного ответа не дождешься. Тем паче что ясность множила не надежду, а тревогу.

Я теперь уже не сомневался, что никакие лекции мой однокашник не читает, в Сорбонну давно уже не ходит (что за лекции в каникулярное время?!), что ни на какой конгресс в Стокгольм он уже не поедет и в желанный Вильнюс никогда не попадет,— Идельсон просто продавал самому себе сны. Николь — сон, я — сон... и послал он мне вызов не для того, чтобы его будить.

Не для того.

Он загнал своего «Пежо», как пулю в ствол винтовки, в узкий раструб улицы Декарта.

— Не забудь. Завтра, в десять ноль-ноль... Пляс де Пантеон, дом восемь.

Когда он укатил, я зашел в соседний ресторанчик, забрался в угол и, заказав на ломаном английском аперитив, принялся под звуки неживой, записанной на пленку музыки смачно потягивать его.

В ресторанном полумраке думалось легко и незлобиво. Откуда-то накаты-

вала безудержная доброта, и все, что происходило, окутывала какая-то пред-  
 расветная, но предвещающая ничего дурного дымка.

— Натан,— говорит моя мама,— я сделала специально к твоему отъезду  
 рыбу-фиш... Пальчики оближешь! Приходи в субботу!

— В субботу у меня, Евгения Семеновна, самолет.

— Приходи в пятницу.— Мама присаживается к столу, впиается взглядом  
 в бокал.— Кто тебе там, в Париже, будет готовить рыбу-фиш? Ты об этом  
 хоть подумал?

— Подумал.

— Если бы ты, Натан, подумал, то никогда бы от нас не уехал.

— А я не от вас уезжаю... А от этой жизни.

— От нас, от нас. От жизни, сердце мое, еврей, не приведи Господь, может  
 только уехать сам знаешь куда...— Мама придвигается ближе к Натану.— А  
 мой шлимазл пристрастился в рюмку заглядывать... будущее свое на дне видит,  
 что ли? Все, говорит, знаменитые русские поэты водку пили. Или на этих са-  
 мых... на дуэлях... дрались... Господи, прости и помилуй, если бы кто-то мне в  
 еврейской больнице сказал, что мой красавец, мое солнышко будет пить, я бы  
 его на свет не родила. Еврей-пьяница — такая же редкость, как еврей-свинопас.  
 Так как, Натанчик, придешь в субботу... на прощальный обед?

— Приду,— успокаивает ее Идельсон.

Мы сидим втроем, и вместе с нами рыба-фиш — большой литовский карп  
 со слепыми гомеровскими глазами.

— Скажи мне, Натан, сердце мое, почему евреи никогда не могут усидеть  
 на одном месте?.. Почему они все время куда-то должны ехать, мчаться,  
 бежать?.. Матери рожают в Литве, а вдовы, не про тебя да будет сказано,  
 хоронят во Франции, или в Америке, или еще где-нибудь...

Официант подошел, спросил: «Месье еще чего-нибудь желает?», я  
 расплатился, кивком поблагодарил его, метнул затуманенный взгляд на пустой  
 бокал, на тщательно обглоданную искусником Идельсоном рыблю голову, на  
 кучку костей на подносе и направился в гостиницу.

Почему рожают в Литве, а хоронят во Франции, спрашивал я себя,  
 засыпая. Почему?

Утром за мной вместо Идельсона заехала Николь.

— Нейтан сегодня очень и очень занят,— сообщила она, стараясь  
 сохранить спокойствие.— Он попросил выручить его...

Ее слишком подчеркнутое спокойствие и деловитость внушали  
 подозрение.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Нет, нет! — Голос у нее затрепетал, как взвившаяся в воздух бабочка.—  
 Проверка... Нейтан возле клиники Ротшильда и передал мне руль... Садитесь!..  
 Мадам Клод не любит, когда опаздывают... Особенно если ждет мужчину...

— Вы с ней знакомы?

— О, да! Садитесь, пожалуйста... и молитесь...

— За Нейтана?

— За Нейтана тоже...

— А за кого еще?

— За меня,— улыбнулась она.— Чтобы все закончилось без полиции.

— А при чем тут полиция? Разве «Пежо» краденый?

— О, нет... Я краденая... У машины... другая фамилия! Я — Николь  
 Кутурье, а она — Идельсон.

— Ааа!

— Если полиция ничего не увидит, мы приедем к мадам Дюбуа без  
 опозданий.

Из ее объяснений я уразумел только то, что права у нее в полном порядке —  
 она водитель со стажем, за рулем четвертый год, как только познакомилась с  
 Идельсоном, так сразу и научилась водить, но машина — не ее собственность,  
 записана на имя Натана. Поди потом докажи полиции, кем она ему приходится  
 и что это не угон.

— Ведь я, сами понимаете, не жена... — просто сказала Николь.

— А венчание в Белом костеле?

— Думаю, никакого ветшанья не будет...

— Из-за болезни Натана?

— О, нет... Я не согласна...

— Но почему? — вырвалось у меня.

Она задумалась, откинула рукой в мою сторону прядь волос, от которых пахло соблазнами и духами.

— Я люблю Нейтана, — с тем же простодушием промолвила она. — Но не хочу, чтобы он... после того как... — Николь поперхнулась. — Ну, чтобы он расплачивался со мной тем, что останется после дележа — правильно я сказала? — с Рашелью. Половиной дома... кафе... этим «Пежо»...

Николь замолкла. Я понимал, чего стоила ей эта исповедь, да еще перед чужим человеком, но, может, именно благодаря тому, что я был гостем, временщиком, который через три дня канет в неизвестность, она и решилась на такое признание.

Всю остальную дорогу до пляс де Пантеон Николь искала опасливым взглядом слывающих своей неподкупностью парижских полицейских, но те словно в воду канули, и она, заклиная мучившую ее тревогу, принялась без передышки рассказывать: про мадам Клод Бронфман-Дюбуа; про то, как та в войну пряталась в кармелитском монастыре под Парижем, куда ее помог устроить деверь — аббат Пьер Дюбуа; как носила монашеское платье и клобук; про то, как после смерти Жерара Дюбуа, умершего через пять лет после войны, хотела покончить самоубийством, и покончила бы, наверно, но, как говаривала сама мадам Клод, ее удержали малолетний сын и девочки-близнецы Иветт и Мэри, которых она в ту пору, незадолго до кончины Пьера, носила под сердцем и гласу которых вяла в последний момент.

Николь высадила меня на пляс де Пантеон, я быстро нашел нужный дом, поднялся на второй этаж и, едва раскрыв дверь, буквально попал в объятия хозяйки.

— Барух хаба! — восторженно приветствовала меня мадам Клод на языке наших далеких предков — царей и скотоводов древней Иудеи. — Минуточку, минуточку, — перешла она на идиш, — сейчас мы все — вы, Шарль и я — спустимся в палисадник и там в беседке поговорим... Господи, как я рада, как я рада... — Она засемила к дивану; Шарль бросился к ней, повис на старческой груди, но тут же снова был усажен на вышитую подушку; мадам Бронфман-Дюбуа схватила поводок, накинула коту на шею, где красовался алюминиевый жетон с высеченной надписью «Шарль Дюбуа, 1984, пляс де Пантеон, десять, телефон 44757322», и не то мне, не то себе, не то своему ангорскому обольстителю скомандовала:

— На прогулку!

Мы спустились в палисадник. Впереди, сияя родовой шерстью и вращая большими меланхолическими глазами, бежал Шарль, за ним гордо следовала одетая в цветастое платье мадам Клод, а замыкал шествие я.

— Если бы не Шарль, — грустно сказала хозяйка, — я бы тут от скуки умерла. Не с кем словом перемолвиться. Дочери целый день пропадают и к тому же на идише не понимают ни слова...

— А он... он понимает? — осторожно вставил я.

— Неизмеримо больше, чем они... — с достоинством ответила мадам. — Иветт и Мэри знают только одну фразу: «Зай гезунт, мамэ» — «Будь здорова, мама».

— Это немало, — пробормотал я.

— Азох ун вей, — пожаловалась старуха. — А вы... вы настоящий литвак?.. Или самозванец?..

— Настоящий.

— Простите мне мое любопытство, — продолжала она. — Приводили тут ко мне одного господина... Выдавал себя за литвака... А оказалось, что он из Ченстохова, из Польши... Вместо «поним» говорил «пуним», вместо «штуб» — «штиб», вместо «цорес» — «цурес». А вы настоящий, не фальшивый?

— Самый что ни на есть настоящий...

— Как я рада, как я рада! — пропела она и повернула маленькую седую голову к коту, что-то вынюхивавшему в траве своим неизбалованным

уличными запахами носом.— Слышишь, Шарль, какой у него идиш? Это, моя прелесть, не синтетика, это настоящий продукт.

Кот понятливо мяукнул.

— Боже мой, какое наслаждение! Спасибо нашему другу — профессору Идельсону, — как заведенная, восторгалась она.— Где вы родились?

— В Вилкомире.

— Ах, в Вилкомире. Там жил мой дядя... Хаим Юнгер... Может, слышали?

— Как же, как же,— машинально ответил я, вспомнив поучения Идельсона, и, рискуя провалиться, добавил: — Лесоторговец...

— Чем он только не торговал! Сырыми кожами, молодыми бычками и, может, лесом... Память, как буханка хлеба: чем больше отрезаешь, тем меньше остается на столе.

— Это вы замечательно сказали... Я обязательно запишу ваше выражение в блокнот и увезу в Литву...

— Ради Бога, буду только польщена... Господи, господи, как он вкусно, Шарль, говорит на мамэ-лошн!.. Он говорит так, как мой дед Шмуэль, как моя бабушка Енте... Как мои сестры Шейндл и Двойре...— Она натянула поводок, приблизила к себе кота, погладила его по шерстке.— Вы и сейчас там живете?..

— Нет, я живу в Вильнюсе.

— В Вильне,— не позволила она облитовить название города.

— Да. В Вильне.

В отличие от чопорного, чванливого Майзельса было в ней что-то простодушное и неотразимо притягательное — ее местечковая восторженность, далекая от всяких корыстных расчетов любознательность, поистине монашеская скромность и чистота.

Малюсенькая, с всклокоченными, как у домашней птицы, волосами, в недорогом, в кои веки купленном на Рош Хашана или Симхат Тора платье, она была похожа на старух моего детства. Иногда в ней — и это явилось для меня неожиданной, ниспосланной свыше радостью — проглядывали черты моей мамы.

— А я в Вильне родилась... На Мясницкой. Вы бываете на Мясницкой? — Мадам Клод Бронфман-Дюбуа глянула на меня из-под седых бровей.

— Бываю... Очень часто бываю.

— А на Рудницкой?

— И на Рудницкой.

— Иветт и Мэри смеются надо мной, когда я говорю, что вывеска над пекарней Довида Йоселевича, напротив родительского дома, мне до сих пор ближе и дороже, чем Триумфальная арка или Елисейские поля... Они не верят... считают меня, наверно, вздорной старухой... Разве у вздорной старухи не может быть чего-то дорогого... не похожего ни на что?.. И незаменимого...— сказала она и резко дернула поводок.— Шарль, ну что тебе нейдет, что ты сегодня мучаешь меня, веди себя прилично, а то я еще подумаю, что ты ревнуешь... Слушай, слушай и учись! Такого идиша ты, может, уже никогда не услышишь. Никогда.

Но ревнивый ангорский кот предпочитал, видно, учебе на свежем воздухе отдых на диване.

— В шестнадцать лет я ушла из дому и уехала в Варшаву... поступила в театр «Централ»... хотела стать еврейской актрисой. Но потом появился донжуан Жерар, и я стала мадам Дюбуа... Вы, месье, меня слушаете или вам, как Шарлю, мой поводок уже тоже шею натирает?..

— Что вы, что вы...— быстро возразил я.— Мне очень интересно.

Мне действительно было интересно. Я смотрел на нее и пытался выстроить в одну цепочку Мясницкую улицу, варшавский театр «Централ», донжуана Жерара Дюбуа, монастырь кармелитов где-то под Парижем, но, как я ее ни выстраивал, она распадалась на разрозненные звенья.

— Я всегда оставалась еврейкой...— призналась она.— Мать-игуменья однажды услышала, как я пою после утреннего богослужения в своей келье, открыла дверь и сурово спросила: «Что это за песня?» Хорошо еще, я не растерялась и выпалила: «Немецкая!» «Чтоб я от тебя этих бошских песен не слышала!» Но это была не бошская песня... Шарль, ну иди, мой бедненький, ко

мне на колени! — сжалилась она и, когда кот взобрался на привычное местечко, тихо и хрипловато запела: — Ойфн припечек брент а файерл... («В печке маленькой огонек горит»). — И через миг не то попросила, не то потребовала: — Подпевайте!

Я стал подпевать.

Из палисадника на пляс де Пантеон лилась песня о рабби, который в незапамятные времена, во времена Мясницкой и Рудницкой улиц, дешевых булочек Довида Йоселевича, во времена вонючих сырмятных кож учил где-нибудь в хедере малышей еврейской азбуке.

Кот тарасился на поющую хозяйку, на меня и жалобно мяукал.

Крупные, как буквы из первого букваря мадам Клод Бронфман-Дюбуа, слезы медленно текли по ее увядшему, но просветленному лицу, а я покусывал немеющие губы.

— Вы никуда не торопитесь? — спросила она меня.

— Нет.

— Чудно! — воскликнула она, не вытирая слез.

Я и сам не узнавал себя: из невольного пленника, которого привели в чужой стан на аркане, натирающем не шею, а душу, я вдруг превратился в добровольца, избравшего этот плен как желанную и недолговременную свободу, эту душу возвышающую.

— Я приготовлю еврейский обед... флойменцимес, суп с креплекс — фрикадельками, рубленую селедку, телятину... Как получится, так получится. Ведь я столько лет не готовила эти блюда... Иветт и Мэри — христианки... У них другое меню... У них все другое...

Она опустила на землю прикорнувшего кота, встала со скамейки и направилась к дому.

— Пока я буду готовить, мы посидим на кухне и еще поговорим. Евреям нечего друг другу сказать нового, но у них всегда есть о чем вспомнить...

Я сидел на кухне, стены которой были выложены кафельными плитками, и следил за приготовлениями хозяйки, а она, в белом фартуке, что-то нарезала, молола, подсыпала, неумело рубила, зачерпывала ложкой и, обжигаясь, пробовала.

— Уезжаете скоро? — приподнимая крышку кастрюли с булькающим варевом, промолвила мадам Клод Бронфман-Дюбуа.

— Через три дня.

— Скоро... Очень скоро... А может, еще останетесь?

— Семья ждет и дела...

— Дела, дела, — пригорюнилась она. — У всех дела... Иветт и Мэри ни о чем другом и слышать не хотят. Им надоело прошлое... — Мадам задумалась и тихо сказала: — А мне надоело их настоящее.

Обед затянулся до вечера.

Заметив мое нетерпение, хозяйка поспешила успокоить меня:

— У нас с вами еще полчаса... За вами приедут без четверти восемь... Скажите, сколько я вам должна? Месье Идельсон ничего не говорил... Не стесняйтесь... Мы люди не бедные... даже богатые... Но то, что мне нужно, ни в одной лавке не купишь. Сколько?

— Это я ваш должник...

— Вы?!

— За песню, которую вы пели в монастыре... и которую пела моя мама... А у мамы денег не берут.

— Еще как берут, — воспротивилась мадам Клод Бронфман-Дюбуа. — Попробуйте сказать это моим дочерям. Они вас поднимут на смех...

— Может, вы и правы, может, и берут. Но только не за то, чего нельзя купить в лавке...

— Гот зол айх хитн... Да хранит вас Господь.

Она подошла и поцеловала меня.

Шарль смотрел на нее с печальным удивлением, и у него не то завистливо, не то благодарно слезились глаза.

## V

Мне оставалось пробыть в Париже неполных три дня, и пора было подводить предварительные итоги, скорее неутешительные, чем отрадные.

Меня огорчало не столько то, что я не привезу жене какую-нибудь безделушку на память о Париже, сколько то, что мне так и не удалось вволю пообщаться с Идельсоном. Если мы и встречались с ним, то только накоротке, если о чем-то говорили, то только на ходу, по дороге из аэропорта или к месье Майзельсу, или в пригородную липовую рощу. А ведь Натан обещал, что мы будем сидеть с вечера до утра, от зари до заката, а потом снова до утра и снова до заката. Но выполнял свое обещание урывками, наскоками. Все выдавалось отмеренными, как в аптеке, дозами. Для обиды вроде бы никакого серьезного основания у меня не было — он и приглашение прислал, и все расходы по моему содержанию на себя взял, и поил, и кормил, и с интересными людьми свел, и о заработке моем позаботился, и ангела-хранителя с обворожительной челкой и иссиня-голубыми, как горное озеро, глазами приставил — чего еще хотеть? Кроме того — не это ли главное? — ради моего спокойствия виду не подал, что тяжело болен. И все же меня не оставляло ощущение, что между нами что-то преждевременно и обидно оборвалось, осталось невысказанным. А ведь меня так и подмывало сказать ему какие-то единственные, сокровенные слова.

Я и сам не мог взять в толк, что это за слова и существуют ли они вообще в природе. Наверно, существуют. Недаром же люди находят их в своей душе в те минуты, когда нужно как-то припорошить душистой корицей надежды свое отчаяние, когда можно сойти с ума от одиночества и пустить себе пулю в лоб. Мне казалось, что сокровенным уже было наше молчание в липовой аллее, не переводимое на доступный будничному слуху язык. Может, Идельсон нуждался — а так, наверно, на самом деле и было — вовсе не в сокровенности, а в обыкновенных, обнадеживающих результатах анализов его крови и мочи?

Я корил себя за то, что смалодушничал, без всякого сопротивления пошел на поводу у Натана, когда согласился, как скоморох, ходить по домам вместо того, чтобы все время быть рядом с ним, стоять в больничном коридоре и молить Господа. Но он вряд ли бы разрешил мне быть рядом и ждать, вряд ли бы обрадовался, скажи кто-нибудь ему, что я, неверующий, молю за него, неверующего, Господа Бога. Мужчина, мол, не ходатай, не богомол, а добытчик, он должен не вымалывать, а работать, не торчать в больничных коридорах, а пить вино, любить женщин и до смертного часа ждать не результатов анализов, а любви, как верующий ждет Мессию...

— Ты не боишься уезжать?

Мы оба стоим на заснеженном, в жирных пятнах мазута, пустом перроне в Вильнюсе и кутаемся в воротники пальто от шмыгающего повсюду безбилетного ветра.

— После Майданека мне уже и в аду не страшно,— говорит Натан и оглядывается.

Неподалеку маневрирует озябший паровоз, греющий себя задорными частушечными гудками.

— Холодно,— жалуясь я.— Может, зайдём в зал, клюкнем по сто боевых и по кружке пива?..

— А что? Идея совсем неплохая,— неожиданно соглашается Идельсон — неисправимый трезвенник.

У облезлой стойки бара толпятся заспанные пьяницы.

Дым, икота, мат.

Сквозь шум доносится голос диктора. Не скрывая своей пугливой радости, он торжественно, абзац за абзацем, читает по-литовски рассекреченный доклад Хрущева на двадцатом съезде.

— А мы, олухи, подумать только, по усатому плакали, когда его в Москве хоронили. Стояли на Кафедральной площади... у подножия горы Гедиминаса и ревели.

— Я не стоял и не ревел... В те дни меня вообще не было в Вильнюсе,—

обрывает меня Идельсон.— Я не плакал даже тогда, когда мама в гетто от голода умерла... А уж для них, псов поганых, у меня ни одной слезы нет...

— Но они же нас спасли... Что бы с нами было?

Натан хмурится, смотрит на меня, на пьянчуг, которых, судя по всему, куда больше интересует похмелье, чем проклятый культ личности.

— А ты, брат, не о том думай, что бы с нами было, а о том, что с нами, спасенными, будет, если мы тут застрянем...

— Большинство же, Натан, сидит на месте... Ты всегда был первым... И в классе, и...

— Первый никогда не остается последним. Твое здоровье! — перебивает меня Натан и чокается.— По закону равновесия у меня все будет хорошо.— Идельсон оборачивается, смотрит через окно бара на заснеженный перрон.— Плохо мне уже было... И слишком долго...— Он выпивает, крикает.— Пока, кроме тебя, никто из ребят на вокзал не пришел. Да-а-а, не в Сочи еду и не в Эссенуки...

— Витька Тягунов, тот точно не придет. У него папаша в эмгэбе служит... Зарецкий тоже вряд ли появится, мачеха — парторгесса на «Красной звезде»... У Арика Берлина — аппендицит.

«Граждане пассажиры! Скорый поезд «Москва — Варшава» прибывает на третью платформу третьего пути...»

Скрип тормозов, лязг буферов, топот.

— Что-то, наверно, с ним случилось, что-то случилось,— безостановочно повторяла Николь.

И я очнулся: поезд «Москва — Варшава» отошел от перрона, диктор дочитал доклад, в зале ожидания, усеянном окурками и заплыванном семечками, тихо и застенчиво зазвучал вальс из «Лебединого озера», только крупные хлопья снега кружили в памяти и студили виски. Мы сидели с Николь в холле четырехзвездочной гостиницы «Париж энд Лондон», где Идельсон снимал одиночный номер, притихшие и подавленные, и с нетерпением ждали пропавшего Натана.

Приближалась полночь, но его все не было.

Николь то и дело вскакивала с места, бросалась к автомату, звонила в больницу Ротшильда, в полицию, лихорадочно листала телефонную книгу, в которой значились сотни Дюбуа и десятки Майзелсов, возвращалась в холл, плюхалась в кресло, но через минуту снова вспархивала, как вспугнутая ночная птица, и снова терзала диск.

— Может, его в больницу положили?

— Нет, нет,— встряхивала она челкой, не спуская глаз с входной двери, каждый скрип которой дарил ей надежду, а потом приводил в отчаяние.

Волнение Николь передалось и мне.

Мне до боли захотелось остановить время и вернуть Натана назад, туда, откуда он так рвался уехать, под сень вельможного каштана, под строгую отеческую длань Вульфа Абелевича, под теплое субботнее крыло моей мамы. Кто знает, может, там он был бы совершенно здоров, жил бы, обласканный своими кошерными внуками, был бы классным руководителем в какой-нибудь школе или даже профессором в университете. Ведь Вильнюс пусть и не Париж, но и не концлагерь. Если бы я мог, я остановил бы время, и все вернулось бы на круги своя — и ветер, и птицы, и учителя, и каштан за окном.

Я и мысли не допускал, что с ним что-то случилось, хотя кто может поручиться за человека, которому заранее известен не подлежащий обжалованию приговор.

— Господи, Господи,— причитала Николь.— С ним никогда такого не бывало.

— Все будет хорошо, все будет хорошо,— уговаривал я ее и себя.

— Да, да,— бессознательно, как в бреду, шептала она.— Нейтан однажды... когда у него обнаружили опухоль... сказал мне: «Завидую тем, кто умер... Они уже свое дело сделали, а нам еще предстоит...» Может, и Нейтан уже сделал?

— Глупости,— сказал я неуверенно. Бывает же такое: приглашает человек друга, тот садится в самолет, летит за тридевять земель и попадает на его поминки.

— Нейтан! — закричала вдруг Николь. — Нейтан!

Она кинулась к нему сломя голову, повисла на шее и принялась сучить ногами, как будто танцевала в воздухе. Я заворожено смотрел на этот ее безумный, ненасытный танец, и сердце у меня сжималось от жалости.

Николь отчитывала его по-французски, осыпая упреками и поцелуями.

— Нехороший, нехороший,— перевел я с ее накрашенных губ, как с подстрочника.— Где ты был?..

— А я вас искал,— опустил ее на пол, объяснил Натан.— Правда, мадам Дюбуа меня немножко задержала. Ты становишься суперстар — старуха от тебя в восторге,— обратился он ко мне.— Предлагает контракт на месяц с трехразовым питанием и премиальными... а в будущем вообще вытащить тебя из Литвы сюда, к нам... Встретился я и с месье Жаком — тоже премного доволен... хотел бы с тобой провести еще несколько путешествий в прошлое...— Идельсон сунул руку в задний карман и возвестил: — Твой гонорар... Купишь жене подарок... У того же Майзельса... Только, ради Бога, не строй из себя верного ленинца... Какого она у тебя роста?

— Как Николь.

— Мой совет — шуба... От «Майзельса и Шапиро». Месье Жак с удовольствием сделает скидку.

— Ты лучше расскажи, что в больнице...

Хитрость моя не удалась.

— Ни в какой больнице я, брат, не был... По-твоему, у меня, кроме больницы, нет других дел? Развод, аспиранты, кафе... Возьми денежки. Ты их честно заработал.

— Натан,— простонал я.

— Брось свои засранные советские привычки,— выругался он.— Дают — бери, бьют — беги.

Я понял: мне не отвертеться.

— Николь поможет выбрать... Тебе повезло — она когда-то мечтала стать манекенщицей и даже счастья на этом поприще пыталась.

Идельсон пребывал в прекрасном расположении духа, но его бодрость не столько радовала, сколько будила смутную тревогу.

— Следующий твой клиент — месье Морис Заблудовский...— Он подмигнул Николь: — Между прочим, когда-то меня к его младшей дочери Жоржете сватали... Я в молодости подавал большие сексуальные надежды...— Он захохотал.— А сейчас, господа, в «Мулен Руж»! Развлекаться, развлекаться и еще раз развлекаться!

— Нейтан,— воспротивилась Николь.

— Не лучше ли тебе отдохнуть? — вставил я.

Но наш бунт был подавлен без промедления и пощады.

Ссориться с Натаном, портить ему настроение, доказывать свое нежелание развлекаться или развлекать рассказами стариков, при всем моем сочувствии к ним, пытающимся чуть ли не на инвалидных колясках угнаться за утраченным временем, не имело смысла.

— Покажем, Николь, ему, ханже и святоше, на что способны парижанки и парижане!

Меня поражало и восхищало умение Идельсона не падать духом, подтрунивать над собой и другими, переплавлять все в радость, скрывать то, что другому не под силу утаить.

Он взял нас, как первоклашек, за руки и повел к выходу...

— Морис Заблудовский,— представился мне полный, еще крепкий пожилой мужчина в тяжелых роговых очках, с крашеными волосами и дорогим перстнем с сапфиром на руке. Перстень был так хорош и лучист, что я невольно загляделся, забыв поздороваться.

— Морис Заблудовский,— повторил он с нажимом.

— Очень приятно, очень приятно,— затараторил я.



Из головы у меня еще не выветрился блестящий, непревзойденный «Мулен Руж», перед глазами еще мелькали маленькие и легкие, как стрекозы, танцовщицы, по всему телу разливалась неодолимая, но блаженная усталость.

— Бывший ювелир... Ныне эмерит...

— Да,— сказала я, пытаюсь вспомнить, что значит это слово.

— Пенсионер...— помог он мне и добавил: — Попрошу вас, молодой человек, сесть поближе... Вот сюда...

Я опустил в большое плюшевое кресло, в котором неотвратимо клонило ко сну, и приготовился к тем же самым, не отличавшимся новизной, затертым вопросам, словно размноженным под копирку и розданным всем литвакам Франции.

— Вам удобно? — осведомился месье Морис.

— Прекрасно, прекрасно,— удвоил я свое удовлетворение.

— Сейчас я вас хорошо вижу...

Месье Заблудовский, испытывая мое терпение, вдруг пустился в пространные рассуждения о том, как важно для ювелира обладать безупречным зрением. Он об этом говорил так, словно я пришел к нему наниматься в ученики.

— Было время, я любой камешек оценивал с первого взгляда... без всякой лупы. Гляну, и все мне ясно.

— Годы,— философски заметил я, ерзая в кресле и борясь с предательским сном.

Господи, только бы не уснуть. Я не боялся опозориться сам, но если опозорю Идельсона?.. Господи, не дай мне смежить веки, вставь в мои зрачки иголки, чтобы кололи до тех пор, пока я отсюда не уйду.

— Вы еще, дорогой, молоды и не знаете, что такое годы. Годы — это львы... голодные львы, а человек — их самая лакомая добыча... Набрасываются и в один присест все до последней жилки пожирают... Посмотрите на мои волосы!..

Ну и сосватал меня Натан!

— Вполне нормальные волосы... густые... русые...

— Русые,— усмехнулся месье Заблудовский.— Я их уже двадцать пять лет крашу...

— А выглядят как натуральные,— бойко ввернул я, надеясь, что с львами и волосами будет покончено.

— Их, молодой человек, можно перекрасить... А годы никакая краска не берет. Никакая,— вздохнул он, и его вздох, как я и надеялся, стал предвестием того, ради чего он, собственно, меня и просил прийти.

— Я из Ковно... «Мендлелис Заблудовскис». Не слышали?

Я не слышал, но и тут, как в случае с меховщиком Майзельсом, решил сыграть ва-банк. Провал меня не пугал. Послезавтра я все равно тью-тью — и поминай, как звали.

— Обручальные кольца, золотые цепочки, серебряные ожерелья, бриллианты...— нагнул я.

— Бриллианты мой отец не держал,— сказал месье Морис и поправил очки, чтобы лучше разглядеть меня.— В тогдашнем Ковно они не шли — не было на них покупателей... Литовцы только-только свою независимость провозгласили... А евреи больше любили свои деньги в чулок класть, чем в виде бриллиантов на руках носить...

Я чувствовал себя победителем на белом коне, въезжающим через Триумфальную арку в столицу Франции (месье Морис как раз поблизости и проживал). Дар ясновидения, который я по-шарлатански вдруг открыл в себе, сразу избавил меня от сонливости. Я подтянулся, приободрился.

Как ни странно, приободрился и месье Заблудовский.

— Может, чаю? — спросил он.

Нет, нет, никакого чаю! Чай уведет нас от Ковно Бог весть куда. Потом целый час возвращайся обратно.

— Спасибо.

— Я поставлю,— пробормотал месье Морис.— А то еще подумаете, что я негостеприимный хозяин...

— Что вы, что вы,— заклинал я его.— Вы замечательный хозяин. Замечательный...

— Вам какой — «Липтон» или «Высоцки»?

— «Высоцки»,— признал я свое поражение.

К моему удивлению, Морис Заблудовский справился быстро.

Мы пили чай с лимоном и какими-то шоколадными конфетами, копошившимися в разукрашенной коробке, как улитки.

— К сожалению, мне сладкого нельзя,— прихлебывая чай из тонкого стакана с серебряным подстаканником, сообщил мне Морис.— Врачи запретили... Диабет... Сладкий период в моей жизни кончился.

Я уже досадовал на то, что из списка моих клиентов Идельсон выбрал именно его, этого зануду, а не другого литвака, и впервые усомнился в том, что их такая уж уйма, как говорил Натан.

От чая, от всей почти музейной обстановки, от роговых очков мне Мориса, как и от его гостеприимства, веяло состоятельной, ювелирно ограненной скукой, от которой снова стали слипаться глаза.

— Полвека тому мой отец... Мендель Заблудовский... перед самой Катастрофой выправил японскую визу, и мы через Токио попали в Париж...— как бы угадав мою досаду, наконец приступил к делу мне Морис.— Вы меня слушаете?

— С огромным вниманием,— искренне произнес я.

— Никто из нас, Заблудовских, слава Богу, не пострадал... Все спаслись... Все, кроме жильцов нашего дома.

Я воспрянул духом, отодвинул стакан с недопитым чаем и уставился на взволнованного мне Мориса.

— Дому визу не выправишь.— Заблудовский выловил из стакана лимонный ломтик, разгрыз его вставными зубами, поморщился и продолжал: — Он стоял напротив сквера Военного музея... Представляете примерно где?..

— Конечно... Я частенько езжу в Каунас. В сквере устраиваются литературные вечера...

Литературные вечера мне Мориса не интересовали.

— Я хотел у вас спросить, как он выглядит?

— Музей?

— Дом...

— Стоит, как стоял.

— Дом, молодой человек, не птица. Дом не может улететь... Хотите, я вам долью горяченького?

— Мерси...

— Я бы, наверно, его не узнал. Дом без хозяина погибает... Вы не помните, флигель — там жила моя няня — не снесли?

— Нет, не снесли.

— А медные ручки на парадных дверях?

— Никуда не делись... Потускнели только...

— Все тускнеют. И все тускнеет. Даже золото...— Голос у мне Мориса сел, и он несколько раз откашлялся, чтобы закончить предложение.— А чугунная ограда?

— Что — ограда?

— Ограды небось уже нет?

Для большей правдивости я решил пожертвовать оградой и ответил на его вопрос утвердительно.

— Ну да,— прошамкал мне Заблудовский,— у вас там только тюрьмы огорожены...— Он помолчал и вдруг выдохнул: — Я уже, видно, не доживу до того дня, когда мне его вернут... Ведь, кроме меня, никаких прямых наследников нет... Если бы вернули, я бы снова его огородил и ручки бы заменил, и фасад, как свои волосы, покрасил бы... Не суждено, однако...

— Все еще может быть,— сказал я, убежденный не в том, что ему вернут отцовскую собственность, а в том, что легче умирать с надеждой, чем с озлоблением.

— Я понимаю. Лучше было бы, если бы вернули живыми жильцов... всех, кто был убит и расстрелян... я бы все простил и больше ни у кого ничего бы не требовал. Но их не вернешь...— прохрипел он и вдруг спохватился: — Мне Идельсон, дай Бог ему здоровья, договорился со мной, что вы пробудете у ме-

ня только час...— Месье Морис глянул на свои часы с золотым браслетом.— А прошло уже целых полтора... Но я в долгу не останусь... Я всегда возвращаю то, что другим принадлежит. Всегда.

— Да вы, месье Заблудовский, не волнуйтесь...— сказал я, почти раскаиваясь за свое предубеждение против него, против его барской медлительности, против его лучезарного сапфира на властной руке.

— Если у вас есть еще минуточка, я вам что-то покажу.

— Я никуда не спешу...— заверил я его.

— Тот, кто в Париже не спешит, тот ничего в нем не добьется...— возразил месье Морис и удалился.

Он долго не возвращался, и сколько я ни гадал, зачем он ушел, ничего путевого на ум не приходило. Я мысленно сравнивал месье Заблудовского с моими предыдущими собеседниками и все больше укреплялся во мнении, как опрометчивы и несправедливы заведомые оценки. Что мы знаем друг о друге, что мы знаем, повторял я про себя. Какова мера нашей общей печали? Почему только она, эта печаль, эти утраты роднят нас всех, а скоротечная радость разъединяет? Кто и когда нам вернет дом — не тот, что стоит в Каунасе, напротив Военного музея, и не тот, что расколот междоусобными распрями, как у Натана с Рашелью, а тот, что заповедал Господь Бог,— дом, в котором обитала наша душа и который мы с таким ожесточенным и самоистребительным рвением ради корысти разрушили и опустошили?

Месье Морис появился не один, а вместе со стройной женщиной в накидке и едва различимым ребенком в детской коляске.

— Гляньте! Это я.— Старик ткнул пальцем в коляску на фотографии.— А это мама, светлый ей рай... По ночам, когда не сплю, я слышу, как рессоры скрипят, как она меня баюкает... А это наш дом...

Он проводил меня донизу, протянул на прощание руку и тихо сказал:

— Если Бог даст и вы еще приедете в Париж, привезите мне из Ковно хоть кирпичик от стены... на могилу...

Не было для меня занятия более хлопотного, чем поиски подарков для жены. Зная о моих мучениях, она перед каждой моей поездкой предупреждала: «Не ищи, не трать зря времени и денег, все равно ничего стоящего не привезешь. — И насмешливо добавляла: — Ты сам хороший подарочек!»

Как я ни уговаривал Идельсона, что сам что-нибудь выберу, что одежду нельзя покупать на глазок, тот не сдавался: только шубу! Тем более что расстроганный Майзельс согласился скостить цену более чем наполовину.

— А если не подойдет?

— Не подойдет — продашь,— не растерялся Натан.

— Ты, я вижу, собираешься из меня заправского торговца сделать — то снами, то шубами...

— Пока Николь не раздумала, отправляйтесь за обновкой.

Все дальнейшие препирательства были бесполезны, ибо тут наши взгляды на жизнь, мягко говоря, рознились. А о том, что жена, узнав, на какие деньги куплен подарок, шубы никогда не наденет, я и заикнуться не мог.

Я шагал за Николь в магазин великодушного меховщика Жака Майзельса и злился на себя, что в который раз уступил Натану, позволил ему навязать свои условия, вместо того чтобы проявить характер и сказать решительное: нет! С одной стороны, меня обуревало желание угодить другу, сделать приятное жене; с другой — мне хотелось, по хлесткому и образному выражению Идельсона, остаться верным ленинцем.

До магазина было квартала два, и, пока мы шли, я думал и о другом подарке — нашему учителю Вульффу Абелевичу Абрамскому, которому и я, и Натан очень задолжали. Приду, думал я, на кладбище, склоню голову над могилой, а Троицкий своим скрипучим, вечно простуженным голосом ехидно спросит:

— Ну, как там в Париже поживает мой любимчик Натан Идельсон?

И я ему, мертвому, что-нибудь сокру.

Ведь правда не только живым, но и мертвым ни к чему. Мертвые тоже нуждаются в небылицах. Кроме вечного сна, им еще нужны добрые, воскреша-

ющие их из небытия сны. Разве скажешь Вульффу Абрамовичу, что Натан, любимый ученик и великая надежда, смертельно болен, что дни его, может, сочтены? Разве скажешь ему, что сын Натана Вульф Идельсон погиб в ливанской кампании? Разве скажешь, что внуки Никос и Аристидис стали христианами и отrekliсь от него?

Какой же теплый, как шуба от «Майзельса и Шапиро», сон привезти Вульффу Абелевичу?

По парижскому тротуару цокала туфельками длинноногая Николь. Я смотрел на ее строптивые волосы, которые ерошил ветер, и вдруг — взбредет же такое еврею ясным летним днем в голову — в пронизанном солнцем воздухе выудил ответ: я привезу ему сон о никем не решенном доселе в мире уравнении.

— Вульф Абелевич, Натан нашел решение... Нет, нет, это не то решение, которое гласит, что «жизнь равняется смерти», а то, над которым вы после уроков, вечерами, вместе бились в красном уголке. Ученые назвали это открытие в его и вашу честь «Уравнением Идельсона и Абрамского». Оно уже вошло во все учебники математики... Теперь вы бессмертны, Вульф Абелевич! Бессмертны...

— Вы что-то мне сказали? — внезапно обернулась Николь.

— Нет, нет.

Оклик Николь вернул меня к действительности.

В витрине магазина, распахнув полы шубы и соблазнительно обнажив пластиковое колено, красовалась дама с неживой безотказной улыбкой.

Юркий господин, которого заранее уведомили о нашем приходе, провел нас в зеркальный, увешанный шубами отсек. Николь не без удовольствия примерялась их примерять.

— Не слишком длинная?

Вопросы сыпались на меня один за другим.

— Ваша жена какой цвет любит?

— Коричневый, бежевый...

— Сейчас примерим. Пожалуйста, месье, бежевый!..

Я вернулся в гостиницу с огромным целлофановым мешком и стал ломать голову, что с ним делать.

Когда я уже совсем было отчаялся, Бог смилостивился надо мной и подсказал выход.

Я вытащил из целлофана шубу, сунул в карман остаток своего заработка, затем достал свой блокнот, вырвал чистый лист и старательно, как школьник, высывающий от рвения кончик языка, вывел: «Собираемся уехать к младшему, а в Израиле и без шубы жарко. Обнимаю. Твой верный ленинец».

И сунул записку туда же — в карман.

Внизу я поймал свободное такси и до гостиницы «Париж энд Лондон» добрался без приключений.

Я подошел к лоценому, сияющему, как и скользкий, надраенный пол, администратору и тоном поднаторевшего в обманах шулера на убогом английском произнес:

— Для месье Идельсона. Просьба вручить пакет завтра... пополудни...

Тот взял мешок с фирменным знаком «Майзельс и Шапиро» и буркнул:

— Йес, сэр.

Я улетал на рассвете.

— Ты ничего в номере не забыл? Все сложил? — спросил у меня Идельсон.

— Все.

— Есть еще возможность проверить. — Натан открыл багажник.

— Все, — подтвердил я.

— А шуба где?

— В чемодане. Едва уместилась, — не дрогнув, соврал я Натану, который все время уверял меня, что вранье полезнее правды.

Николь, как и неделю назад, дремала на заднем сиденье.

За окнами «Пежо» стелился утренний туман. Видимость была скверная. Идельсон нервничал, и я старался не отвлекать его внимание разговорами.

— Будьте оба счастливы...— сказал я, как только отметил билет и сдал багаж.

— И ты будь счастлив... Только не обессудь: я не хотел бы затягивать прощание... Один и тот же сон смотреть вредно — можно и не проснуться. Поклонись от меня Вульффу... твоей маме... воробьям...

Он обнял меня и прижался щекой к моей щеке.

Страхнула дремоту и Николь.

— До свидания,— пропела она и почти обреченно прошептала: — Я буду молиться, чтобы вы... Натан и вы... и еще долго-долго сидели за одной партой, чтобы Бог вас не разлучил...— И заплакала.

Она, видно, знала о больном больше, чем я, и больше, чем сам Натан.

Самолет набрал высоту.

Я сидел у иллюминатора и смотрел на проплывающие облака. Вдруг из них, как из суглинков Литвы, вырос высаженный ясновельможным паном Войцехом Пионтковским старый каштан. Он распускал над облаками свою густую, непроницаемую крону; на его зеленых, гнущихся на ветру ветках сидели взъерошенные люмпены-воробьи, отливающие глазурью грачи и белобокие сороки; из голубой, необозримой сини слетались мои учителя и однокашники, мои мама и отец; слетались на неуловимый, как сон, парящий над облаками каштан, который — сколько его ни руби, сколько ни пили — никогда не срубить и не спилить, ибо то, что всходит из любви и произрастает без печали, ни топору, ни пиле неподвластно.



# В сумеречной аллее играют лисы

\* \* \*

Траченная молью полунеба карта,  
черно-золотого полотно штандарта —  
то, что вносишь ночью в тесноту передней,—  
осеняют землю почестью последней.

Плоти отслужившей, почве и планете  
уплывать снарядом гроба на лафете,  
прибылью вселенной больше, чем уроном,  
ибо всякий живший — воин и астроном.

Ад, не дуй в свирели, смерть, не бей в литавры,  
ночь, зажги шутихи, запали петарды,  
ибо сын вселенной, хоть и сбился с курса  
и попал на землю, но домой вернулся.

## *На смерть\*\*\**

Автомобиль останавливается у сада,  
по сигналу из дома распахиваются ворота,  
вспугнутая лиса через каменную ограду  
прыгает. Это и есть Европа.

Круг тем за чаем привычный, привычно узкий:  
во-первых, бездарный Париж; во-вторых и в-третьих,  
Тель-Авив и Нью-Йорк, дикарство. И так как русский  
присутствует, речь заходит о гиперборейцах.

Де, медведеподобны. А что творится  
на север и юг от экватора! Скоро все потемнеем.  
А это правда, что в Петербурге была царица,  
называвшая одного европейца Энеем?

И тут все вспоминают, зачем собрались:  
что человека, чей череп и ребра подобны Риму.  
а сердце с каждым рассветом глотает радость  
великой жизни, выбросило на берег Леты, как рыбу.

Разговор продолжается, но спазмом на спазме,  
как будто действие перебирается за кулисы.  
Тело героя лежит на постели в готической спальне.  
В сумеречной аллее играют лисы.

*Бабочка на перегоне*  
*Абрамцево — Хотьково*

Бора беззубые челюсти шамкнут —  
и разнесло нас, мы нервны и жалки;  
волен простор, лишь если замкнут  
желобом ветра, сценой лужайки.

Бабочка, главочка байки вагонной!  
Как я с тобой в эпилепсии трясса,  
помнишь? и воздух взбивал заоконной,  
свесясь с плацкарты энного класса.

Шлейфы танцорок, монашенок, узниц  
вьются вдоль поезда, как параллели  
пестрых крапивниц, белых капустниц,  
чьи траектории суть мои цели.

Взгляд щекочи лишь, а хоть и не радуй.  
Если не дух ты, то пух — я не мистик.  
Ты ли паяц мой; пульс ли мой — раб твой?  
Кто из нас тягой всосанный листик?

\* \* \*

*As I wandered the forest.*  
*Blake*

Я прошел через парк,  
там кривлялась кора,  
и кренилась листва,  
как пустая изба.

Купы после бритья  
и с начесом парик —  
всё не я. А что я,  
тебе думать, старик.

Мне нашептывал парк:  
«Хоть и солнечный крап,  
хоть и ветренный плеск —  
я не лиственный плесбс.

Пусть ты воля, но ось —  
я, прошедший насквозь  
твой минутный состав,  
как конвойный — этап».

*Зритель*

Над дорогами виснет ястребиный дозор,  
ястреб ястреба видит за несколько миль,  
ястреб видит масштаб, человеческий сор,  
отлетающий вздох и культурную пыль.

Не пернатый, воспетый за отрыв от земли  
в небеса, а комок перепонки и жил,  
успевающий даль распластать на слою  
и примериться, прежде чем крылья сложил.

Он не знает земли — потому что тверда,  
он не любит небес — потому что пусты;  
то ли дело — что между: огонь и вода,  
непалимые солнцем кучевые кусты.

Глаз наставлен на отблеск, на мерцание жаб,  
на цистерны для ливней, на зеркало вод,

на бинокль, на военно-воздушный, на штаб наших глаз, отследивших летучий их флот.

Это ястреб, бесстрастья чертеж и чутья: как он крылья отточенно выгнул! как трэф он тузом сел на мушку зрачка! Это я — скреп соломенных веер, оптических скреп.

Здравствуй, выкрест, паренье земли над землей, элегантный, как папских казарм офицер,— тот, что службой слеженья планету оплел, в перекрестье прицела попавший прицел.

\* \* \*

Скелетики птиц при поддержке листьев и трав пикируют в глубь земляного лона: хотя еще цел летательный аппарат, но перья — сор облаков, а кости — солома.

Из туч маячок зеркальцем отсверкал, и под ногами теперь лишь битые стекла, а сквозь органику проступает металл, тут же ржавея, поскольку она намокла.

Природа — огромный ноль, на пейзаже киста. Сорочье крыло над кочкой — как эполетик. А подо мхом — невыговариваемая тоска, и лист ольхи — пригласительный туда билетик.

\* \* \*

Художник умер, народ пошел с похорон на чистой ноте, на чистой слезе и меди, пошел с молотка, прибил каблуком перрон, и льдом вода зачернела в зеркальном следе.

Художник умер. Мертвый, не упирай рога в матерьял, не уминайся формой: уж если не время, то, факт, не пространство рай, а свет в мастерской, на сцене и в грим-уборной.

И не прикидывайся птичкой, снежком, травой и, главное, памятью скорбный народ не пичкай, а честно трубой на подходе к платформе взвой, раз он с похорон возвращается электричкой.

Ты мертв, художник,— не упирай рога в нетесаную доску и подстилку дерна: народ пошел с похорон, и теперь нога — орудье его искусства, а поступь — форма.

Ты больше не боль, а балет на снегу и льду, но скоро на них запляшет весенний дождик, и втопанное в наст «я тебя люблю» перетечет в расплывчатое «художник».



\* \* \*

Береза, приписанная к избе,  
как черно-белая к клумбе роза,  
могла бы нервно стоять везде,  
но твой — этот двор и твоя — береза.

И в зимах, сводящих обзор сперва  
к скелету и жгущих, как в извести, в снеге,  
ужасна не смерть, но гибель добра,  
нажитого в лени и нищенской неге, —

столетнего скарба и той доброты,  
какой был пронзен и окутан прежде,  
чем ею пронзать и окутывать ты,  
влюбляясь навек, стал природу и вещи —

свою и свои до прихода зим  
бессчетных — за что и скажи спасибо,  
поскольку, что звал в безумье своим,  
все было красиво, только красиво:

участок, забор и даже зима,  
не смерть, а швейцарская роскошь мороза,  
купаюсь в которой, береза, изба  
и всё на земле — черно-белая роза.

### *Из Уолтера Де Ла Мара*

Минимум трижды на дню,  
не пропустив ни дня,  
выбранное в меню  
превращалось в меня.

Гуся и поросю,  
помидор и морковь  
переводил, грызя,  
зуб мой в мысль и любовь.

Горлом втекал ручей,  
ветер и летний зной  
прямо в состав речей,  
в нерв ушной и глазной,

в мускул, в страсти накал,  
в душу, в земную персть —  
в то, чем я вновь искал,  
что бы еще мне съесть.

### *Гроза*

Вымокшая до нитки развешанная одежда  
наводит на мысль о самоубийстве,  
и ветер рошу пролистывает поспешно  
в поисках компрометирующей записки.

Дерево бьется само с собою,  
ветки друг с другом, с листвою листья,  
и все со стволом, но реально бою  
причастен лишь он, ибо смысл не в свисте

и не в том, что крона добра, а он злыдень.  
Смысл — в выстаивании. Что было телом  
дерева, делается вихрь и ливень,  
ствол оставляя виселицей и скелетом.

Эй, электричество, полегче, полегче  
стегай за окном — кого там? — липу.  
Штаны и рубаха висят у печи.  
Природу трясет, как на суше рыбу.

Торс ее тучен и враз обглодан,  
но дó смерти не засечен — и ладно.  
Одежда с клоунским висит наклоном.  
Огонь пылает, мигает лампа.

\* \* \*

Тишина в деревне ночью ставит рекорд —  
если что шумнет, то сдавленно и дрожа:  
здесь железной дороги нет, стало быть, пароход  
в двух верстах по реке плывет, а точней, баржа.

Тишина тишиной, но сна ни в одном глазу.  
Ты чего, баржа, волочешь? ты куда? ты чью —  
не мою ль в безумье вгоняешь кровь и слезу,  
в бормотанье о смерти втягиваешь? Но я молчу.

Мол, темно и тихо — это *она*, нас не морочь.  
Мол, незвук и невид — *она*: так или нет?  
Нет, хочу я сказать, это просто ночь,  
ночь и дом на отшибе, сказать — но останусь нем,—

как чернильные в двух верстах берега,  
как бугристых погостов изрывшая берег сыпь,  
как сама баржа, как шлепки воды, как сама река,  
как деревня, проглотившая на ночь язык,—

потому что не знает, что там — только ли *Он*,  
или так же бывает тихо и так темно,  
что, не видя-не слыша волн, попадешь им в тон.  
Или там ни дня, ни голоса — только *оно*?

А тогда к чему ты всю эту речь завел?  
Да не я ее, а она меня, и не к, а от.  
Потому и любишь ноченьку, что живой.  
Что всегда был жив. Что проснулся. Что — вот, что — вот

*Софье три с половиной*

Отражается то или се  
на лице, как в зеркале,— но чистым,  
как цветок, остается лицо,  
обращенное к выцветшим лицам,  
непричастное к этим и к тем,  
всем сродни, ни на чье не похоже,  
словно то, что есть солнце и тень,  
все равно роговице и коже.

Все лицо — это лоб, крутизну  
перенявший у бездны небесной;  
но и щеки, на ощупь волну  
с водяной поделившие бездной;  
но и губы, когда их слова  
покидают, как звук, как улыбка,  
как улитка домок, как пчела  
сад, в который закрыта калитка.

Наконец, это глаз: как он щедр  
тем, что сходства ему недодали,—  
безмятежность чурается черт,  
чистоте не присущи детали.  
Не гляди же, как мы,— удержишь  
в полужанье твоем бесподобном —  
смыслом жизни стирается жизнь,  
как любовь объясненьем любовным.



Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

# Приключения утюга и сапога

СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ

## Глава первая

### *Жил-был утюг*

**Ж**ил-был утюг.

Он очень стеснялся того, что ходит босой, буквально с голой подошвой, и в конце концов пошел к сапожнику.

Утюг долго думал, заказать ли ему босоножку или лодочку на каблуке, или пусть это будет валенок с калошей.

Но в конце концов сапожник прервал его мечтания и сшил ему сапог как полагается: на гвоздях, голенище гармошкой, каблук ковбойский!

Утюг очень обрадовался да и нырнул в сапог и стал там жить.

Для наблюдений за природой он купил себе подзорную трубу и притом, что его никто не видел, сам утюг прекрасно понимал, куда идти, и ходил взад и вперед для тренировки.

При этом все думали, что вот — идет себе одинокий сапог с подзорной трубой за голенищем, и не особенно обращали на него внимания.

Помаршировав по суше и освоив это дело, утюг решил поплавать.

Он подошел к реке, разулся, заткнул подзорную трубу подальше в сапог, сапог положил для сохранности в крапиву и нырнул!

И тут же оказался в компании рыб и лягушек на самом дне.

Рыбы и лягушки окружили утюг, попробовали его на вкус, и вкус утюга им не подошел.

Тогда они стали играть вокруг утюга в прятки, и одну рыбку так и не нашли, она закопалась под утюг и заснула там.

Утюгу не очень понравилось под водой, и он стал уговаривать рыб и лягушек вытащить его на берег.

Утюга беспокоило, не украли ли его сапог воры и разбойники.

Рыбы посоветались с лягушками и придумали, как им быть.

На закате к реке пришел старичок-рыболов и закинул удочку по своей привычке, и водные жители воспользовались этим. Они изъяли с крючка у дедушки кусок тухлой колбасы, колбасу поделили, а крючок зацепили за ручку утюга — и отступили, беззвучно смеясь.

Старичок был упорный, и к утру, придумав одно техническое приспособление (веревка, палка плюс гнилой пень), он все-таки вытащил из реки тяжелый утюг и неприятно удивился такому улову.

Рыбы просто прыснули со смеху, но беззвучно, так как находились в воде.

Старичок долго и громко удивлялся, и на этом мы его покинем, а вот утюг оказался на берегу, поблагодарил бешено ругающегося рыболова и помчался к своему сапогу.

Он нашел его там, где оставил, в крапиве (утюг точно рассчитал, воры не любят зарослей крапивы), и прежде всего достал из сапога подзорную трубу, а уж потом надел сапог, приладил трубу в голенище и пошел путешествовать дальше.

Он уже освоил сушу и водное пространство, оставалось только научиться летать.

Так что наш утюг купил билет на самолет.

Однако ехать на самолете оказалось таким же скучным делом, как и ехать в трамвае — все сидят, всех трясет, мотор работает,— с той только разницей, что вместо домов и прохожих по сторонам наблюдаются неподвижные облака.

То есть никакого ощущения полета!

Утюг расположился поудобнее, стащил сапог, вынул подозрную трубу и стал смотреть на неподвижные облака, а больше ему делать было нечего.

Тогда утюг надел сапог, сунул в голенище свою верную подозрную трубу, выпил стакан минералки, поднесенный стюардессой, и прыгнул вниз.

«Вот это да,— думал утюг падая,— с такой скоростью я еще никогда не путешествовал!»

И он запел песню туристов «Мы едем, едем, едем», но буквально на втором «едем» полет закончился, и утюг воткнулся в чью-то грядку с укропом.

Сам утюг ничего не понял, он во все время полета вниз смотрел вверх через свою подозрную трубу и видел только неподвижные облака. У него даже не свистело в ушах, так как утюг падал в компании с сапогом, то есть внутри сапога, а там, как известно, темно, тепло и не дует.

Только снаружи что-то выло.

На самом деле это выл ветер, а утюг думал, что неужели это его встречают с духовым оркестром? Причем оркестр мощно грянул вступление и так на этом и завяз, дудя все одно и то же непрерывно! Даже было как-то странно.

Но не успел утюгу надоесть этот вступительный вой, как все кончилось, и он оказался буквально в яме.

То есть раньше это была грядка с укропом, пока туда не брякнулся сапог.

В огороде тут же заорали:

— Кто это кидается сапогами?!

Но к яме не подошли на всякий случай, видимо, ожидая падения второго сапога: как известно, сапоги ходят парами.

А утюг сидел в большой яме и смотрел в подозрную трубу наверх, где по верх голенища все так же стояли неподвижные облака.

Хозяева, не дождавшись пришествия второго сапога, вытащили первый сапог из ямы, внимательно осмотрели его, но сапог уже на первый взгляд выглядел больным (от удара частично отвалилась подошва) и в хозяйстве явно не пригодился бы, даже если его припрятать в сарае на случай, если кому-нибудь отпилят ногу (бывают такие случаи, и к ним тоже надо приготовиться), однако тут хозяева не стали ничего запасать и, ругаясь насчет испорченной грядки, швырнули рваный сапог на деревенскую свалку, где, кстати, утюг расположился с большими удобствами: благодаря отвалившейся подметке он мог теперь глядеть не только вверх, на неподвижные облака, но и вперед, в сторону смотровой щели!

Сапожнику ведь надо было бы как раз сделать утюгу сапог-босоножку с круговым обзором, но эта мысль не заехала сапожнику в его несвежую голову, а вот теперь благодаря падению с самолета у утюга было широкое поле зрения!

## Глава вторая

### *Разлука утюга и сапога*

Итак, поплотнее натянув голенище и приладив подозрную трубу, утюг направился навстречу приключениям.

Однако далеко он не ушел.

Дело в том, что по дороге рваный сапог окончательно запросил каши, то есть открыл пасть, буквально распутившись, как поздний тюльпан, и утюг сам собой выехал через носовую часть сапога на дорогу. Все попытки его снова залезть в трюм сапога и продолжить путешествие потерпели неудачу, утюг остался на дороге голый и босый, и тут его подстерег некий продавец, который сказал: «Мужики!» — и подобрал утюг.

А подзорная труба — запомним! — осталась в голенище брошенного сапога, продавец ее не заметил.

Там мы их и оставим, а вот утюг с помощью продавца оказался в магазине на полке и, чувствуя себя продажной шкурой, стоял в компании других товаров и буквально торговал собой.

На него, скажем откровенно, никто особенно и не обращал внимания, что сильно обижало утюг.

То есть в глубине души утюг знал, что он не собирается продаваться, не то что другие, которые изо всех сил таращатся и подмигивают покупателям. Однако, согласитесь, у каждого есть своя гордость, и, когда тебя не берут, возникают вопросы о смысле жизни.

Продавец же со своей стороны тоже был парень не промах и хотел уже выкинуть утюг, но в последний момент подумал: «А, была не была!» — и сделал утюгу рекламу.

Он написал на бумажке буквально вот что:

«УТЮГ пр-ва фирмы «Симменс и Шуккерт» (Гренландия). 23 операции.

1. Нагревается до белого каления.
2. Долбит таблетки угля активированного.
3. Печет блин.
4. В еле теплом состоянии гладит колготки.
5. Летаёт через всю кухню (гарантия 40 полетов без капремонта).
6. Жарит цыплят табака в позе верхом.
7. Работает в часах с кукушкой, заменяя собой гирю (кукование до 30 раз в час).
8. Квасит капусту (в виде гнета).
9. Грузило для удочки навеки.
10. Вместо гантели.
11. В горячем виде гладит мытый паркетный пол до высыхания.
12. Вбивает гвоздь в лежащую доску.
13. Вбивает гвоздь в стоячую доску (после тренировок и перевязок).
14. Работает как кипятильник (внимание, в бачок унитаза бросать аккуратно).
15. Грелка для ног (в комплекте с мешком для обертывания пяток).
16. Колет кокос.
17. Сушит грибы.
18. Склеивает рваные стиранные пластиковые пакеты (через газету).
19. Успешно давит бананы.
20. Заменяет диск, копьё, ядро, молот и кирпич при метании.
21. Заменяет мяч при игре в теннис (продается в комплекте с двумя лопатами).
22. Заменяет мяч при игре в водное поло (отработка ныряния).
23. Облегчает работу водолаза при погружении. (Внимание! Привязывать утюг только к ноге, привязывание к голове дает обратный эффект.)»

Однако утюг никто так и не востребовал, и он стоял в компании с разными интересными сувенирами: с растворимым в воде купальником, с пачкой самовзрывающихся сигарет и с искусственными мухами большого диаметра.

Такая это была лавочка сюрпризов, и честному утюгу здесь делать было нечего.

Торговля шла оживленно, все покупали подарки для знакомых и врагов, весело смеясь; и только про мух спрашивали, зачем они.

Продавец отвечал:

— Это если в гости идете. Для масленок, а кто любит класть в торт с кремом.

Охотней всего брали сигареты угощать друзей, ведь каждому приятно посмотреть на человека, который жадно попросил у тебя сигарету и у которого в зубах она вот-вот взорвется!

Утюг же никто не брал.

Но на всякий товар находится свой любитель, если снизить цену, и так и произошло с утюгом.

Только ему поставили новый ценник, как утюгом заинтересовалась одна бабушка, которая спросила, можно ли этим прибором гладить простыни.

— Это двадцать четвертая операция! — воскликнул продавец, и тут же

утюг перекочевал в сумку бабушки. И бабушка понесла его домой легко, как балерина!

Но утюг все обдумал и, стремясь освободиться, так прыгал и топал, что протоптал кошелку и — о счастье! — выпал на дорогу, а бабушка все бежала, пританцовывая, домой, причем поражалась своей легкости.

А утюг помчался к сапожнику — зачем, мы узнаем очень скоро.

### Глава третья

#### В сторону сапога

Прибежав к сапожнику, утюг первым делом спросил, где сапог.

Сапожник же, качаясь на табуретке, ответил печально:

— Я не сторож сапогу твоему.

Из чего утюг сделал правильный вывод и сказал:

— Ты убил его!

— Нет,— ответил сапожник, корчась на табуретке,— я не знаю, кто его замочил, он пришел ко мне уже на выхлопе. Сказал, пришел на родину подышать.

— Где он теперь? — спросил утюг.

— Он в тех местах, где нет ни тапок, ни сапог, лишь тени тапок и сапог,— отвечал сапожник, чуть не падая с табуретки.

— Где это?! — завопил утюг.— Говори!

— Там под лавкой в ящике,— еле произнес сапожник и поник головой на стол.

Утюг встал у ящика, где лежали битые туфли, ботинки, сапоги, босоножки и тапочки, и тихо позвал:

— Сапог, а сапог...

Из глубины ящика донесся вздох.

Утюг, обрадовавшись, заорал:

— Сапог! А сапог! Come to me! Валяй сюда, короче!

— I can not,— отвечал сапог еле слышно.

В минуту опасности они говорили по-английски, так как сапог был американским ковбоем.

— Что значит «не в силах»? — воскликнул утюг.

— То,— прошептал утюг на неизвестно каком языке.

— Не верю! — провозгласил утюг, как Станиславский.

— Я погиб,— продолжал сапог.— И не упрафывай меня. No afk. (No ask — без вопросов.— *Прим. переводчика*).

— В таком случае верни мне мою подзорную трубу! — потребовал утюг.— Погиб, так возвращай.

Тут в ящике все заволновалось, зашелестело, и тени ботинок, кроссовок и шлепанцев стали тесниться, уступая место, пока на поверхности не появилось раскрытое рыло сапога с торчащими окоmelками вместо гвоздей.

— Сапог! — радостно сказал утюг.

— Я фапог,— ответил сапог и протянул утюгу его подзорную трубу, явно собираясь опять нырнуть в ящик.

— Погоди. Что ты собираешься делать?

— Я фобираюфь фыграть в яффик,— горько пошутил сапог.

— В ящик ты всегда успеешь сыграть! — завопил утюг и вытащил своего раненого товарища наружу.

— Я не могу вэ фпафтифь (не могу же спастись) один, тут много наф! — сказал сапог.— А фаповник (сапожник) болеет.

— А какой день болеет сапожник? — спросил утюг.

— Федьмой,— отвечал сапог.

Тут утюг понял, что надо делать, быстро побежал в магазин, купил там множество пирожных и принес сапожнику.

Сапожник съел все, запил лекарством из бутылочки и на радостях починил и сапог, и весь народ из ящика. И толпа ботинок, тапочек и туфель с башмаками высыпала на дорогу, распевая боевую песнь «Вернулся я на родину».

А во главе отряда ехал на открытой платформе, в босоножке, наш утюг, который смотрел вперед в подзорную трубу.

Что же касается друга сапога, то он радостно шагал рядом.

Повернувшись назад и оглядев свою команду, утюг предложил отдохнуть.

Он повел всех своих друзей в ресторан «У старого стакана», где хозяин, стакан с надтреснутым голосом, держал целый штат молоденьких рюмок-подавальщиц, хрупких до прозрачности, с талией в рюмочку, и тут-то все отдохнули на славу, веселье било через край, каблуки топали, подошвы били чечетку, даже шнузки отвязались.

И только чугунная пепельница на столе одна сгибалась под тяжестью окурков.

Утюг сразу увидел в ней родную душу, участливо спросил, как она дошла до жизни такой, и пепельница, почти не видная из-под окурков, сказала, что пошла сюда работать, чтобы содержать семью, целый письменный прибор с маленькими детишками-перышками, с мамой — высохшей чернильницей, никому не нужной, потому что папа, работающий стаканом для карандашей, ушел от них, полюбив шариковую ручку «Паркер». А она, пепельница, старшая дочь в семье и должна помогать матери.

Утюг также спросил, какого завода вся их семья, и оказалось, что пепельница родилась буквально в том же цеху, что и утюг, и земляки обрадовались и вспомнили огни чугуноплавильных печей и груды чушек, болванок и отливок, бабушек и дедушек.

— Ну, рабочий класс, — сказал утюг, — мы тебя отсюда вытащим!

— Нет, — отвечала пепельница, полная окурков, — любая работа почетна в нашей стране!

— Глупости-то не говори, — ответил утюг. И оказался прав: вся компания после танцев выпила по рюмочке и выкурила по сигарете, и грязные окурки со смехом легли поверх прежних чинариков и бычков, и маленькая пепельница совсем исчезла под своим грузом, но не дрогнула — хотя это уже явно было выше ее сил.

— Когда же ты отдохнешь? — спросил утюг.

— Мы отдохнем, — ответила пепельница, покрытая сажей и пеплом, — мы отдохнем.

— Когда? — повторил свой вопрос утюг.

— Когда вас, посетителей, не будет! — хрустально засмеялась девочка-рюмочка, переходя из рук в руки.

Тут же у утюга и сапога созрел план.

Утюг надел сапог, вышел наружу из ресторана и начал отпугивать поздних гостей, топая на них.

Вскоре к ним присоединился и весь отряд тапок и ботинок.

Так они держали глухую оборону, пока старый стакан не нанял киллеров-убийц, и автоматная очередь прошла темноту улицы.

Утюг немедленно принял удар на себя: вылез из сапога и велел всем залечь, а сам подставился под огонь убийц.

Киллеры, потратив все патроны и видя, что утюг недвижим, решили — дело сделано, и отправились к старому стакану за окончательным расчетом.

Получив, видимо, деньги и сказавши «приберите, он там валяется», убийцы ушли, но недалеко — утюг набросился на них у выхода и помял им их убийцевские шапочки, причем в сильной степени попортив форму.

Это были профессионалы, коробки с макаронами, и они в сплюсненном виде, держась за шапочки, позорно бежали, не разбирая дороги.

А хозяин ресторана, старый стакан, теперь просто не знал, что делать: народ не шел в ресторан!

У входа стоял могучий утюг и отшибал у прохожих всякую охоту заглянуть к старому стакану.

Наконец хозяин вышел к утюгу и спросил:

— Чего тебе надо?

— Отпусти пепельницу в оплаченные отгулы! — резко ответил утюг.

— Девушка сама хотела заработать, — пожал плечами старый стакан.

— Это наше семейное дело, — сказал утюг.



— Она тебе жена? — поинтересовался старый стакан с юмором.

— Она мне лучше, она мне сестренка! — воскликнул утюг. — Троюродная причем!

И пепельница робко вышла.

Теперь, без окурков, она выглядела чистенькой брюнеткой и зябко куталась в меха, ее плечи украшал ершик для мытья бутылок.

— Брось эту дешевку, — проворчал утюг (а он уже был одет в ковбойский сапог), — я куплю тебе все, что надо.

И пепельница впервые оставила свое чугунное равнодушие, тихо засмеялась, поправила растрепавшуюся на ветру прическу, двинулась вслед за утюгом в меховой магазин — и вскоре вышла оттуда счастливая: она выбрала себе сияющую серебристую, как облако, накидку — металлическую мочалку для скороворонок, абсолютно новую.

Утюг, увидев ее в таких мехах, потерял голову и стал читать вслух стихи «В густых металлургических лесах» — причем читал он изнутри сапога, и голос его от этого был сильным и гулким.

И они втроем зашли в кабаре, тут играл джаз и стояла украшенная елка — почему-то уже приблизился праздник Рождества. (Вспомним, что совсем недавно цвел укроп — и на тебе! Как жизнь кипит!)

Утюг поднялся на носок и вертелся, как пропеллер, пепельница же привстала на ребро и тоже крутила бедрами.

А вокруг них, переодевшись зайчиками и снежинками, плясал обувной народ — Рождество так Рождество.

И хрупкая пепельница танцевала с утюгом, обутым в сапог, вся извиваясь, мех так и сверкал.

И когда музыканты (махровое полотенце — на гитаре, ботинки — на ударных и солистка — мыльница) исполнили «В лесу родилась елочка», утюг из глубин сапога сказал:

— Ты моя умная девочка! Моя хорошая!

А пепельница, вся зардевшись, буквально, как если бы она выскочила из печи, сказала:

— Ты клевый сапог!

Сапог же немедленно воскликнул:

— Будь моею!

— Как это, как это, — забормотал утюг в глубинах сапога, — что это, что это? Она все перепутала!

Но сапог, прижимая к щеке пепельницу, уже пел с ней песню «Три года ты мне снилась».

У него, правда, был довольно жидкий тенор, совсем не тот гулкий бас, к которому привыкла пепельница.

Но они танцевали на цыпочках, как бы плавая в воздухе.

Утюгу стыдно было показываться перед пепельницей с голой подошвой, и он перенес измену друга, сидя в глухой засаде внутри сапога-предателя.

Он сильно переживал.

Но затем он выпрыгнул из сапога и сказал своим хриплым басом:

— Сестренка! Я тебе спою!

Он понял, что она должна его полюбить и без этого американского прикида, каким являлся сапог.

А опустевший сапог ничего не видел, он прыгал вокруг пепельницы, называется друг!

Но тут часы пробили двенадцать, и все дружно начали петь «Новый год настает».

Особенно выделялся в этом хоре уверенный, гулкий, глубокий бас босого утюга — он потерял лучшего друга и любимую девушку, он пел со слезами, — но все окружили бедного певца и водили вокруг него хоровод — все зайчики, снежинки и снегурочки, деды-морозы и медведи, лисички и мышки (вся обувь, короче говоря).

И надежда горела в его ничем не защищенной груди, и новые приключения ждали его за горизонтом.

## Глава четвертая

## Ночь утюга

Праздник догорал.

Утюг стоял в дверях кабаке, с грустью и любовью наблюдая за другом сапогом и землячкой — чугунной пепельницей, которые в обнимку танцевали вальс под чумовые звуки джаза (соло на гитаре — махровое полотенце, соло на тромбоне — водопроводный кран).

Но это длилось недолго, поскольку пепельница была сотрудницей ресторана, и с вальсом было покончено, пора было приступить к трудовым будням. Когда они вернулись в ресторан, хозяин, старый стакан, уже настойчиво побрякивал.

А сапогу, видимо, не терпелось проводить утюг вон отсюда, такие настали времена.

— Прости, друг,— говорил сапог.— Так сошлось. Уйди.

— Давай уйдем вместе,— повторял утюг холодея.

— Так получилось, прощай,— твердил сапог.— Я не могу.

И он даже вынул из голенища подзорную трубу и протянул утюгу.

— Зачем мне это? — печально отвечал утюг.— Без тебя мне ничего не нужно.

И сапог вынужден был поставить подзорную трубу в угол просто так.

— Но это же я ее люблю,— упирался утюг.— Она мне землячка, мы с одного завода. Пепельница-то.

— Прости, друг, но это она так решила,— тупо твердил сапог, притоптывая от неловкости.

— Только ты уж ее не бросай,— тяжело сказал на это утюг.

В ответ сапог поклялся, что будет помогать во всем чугунной пепельнице, устроится на работу здесь, в ресторане, и не кем-нибудь, а урной, чтобы помогать пепельнице, которая, как ни говори, буквально пропадает под тяжестью окурков и огрызков одна, каждый день полную смену!

Утюг тяжело вздохнул, а сапог уже встал и стоял на добровольных началах у стены, и в него (извините) каждый мог бросить и бросал всякую дрянь, и пепельница поневоле в этом участвовала каждые пять минут — поневоле, потому что ее то и дело переполняли дымные, чумазые окурки, еще не вполне остывшие, и сапог подбегал и подставлялся, жалея бедную чугунную подружку.

Сам-то себя он не жалел и тут же испачкался по колено! Не говоря о легких ожогах в ходе этого горячего труда.

Но не об этом речь.

Пепельница, предательница, в процессе работы прижималась ободком к сапогу и сияла!

«Сияй-сияй,— думал утюг,— не то ты скажешь скоро, когда утюг уйдет и перестанет тебя защищать и наступят серые будни, полные нелегкого быта, пьяного звона посуды здесь, в ресторане! Бедная, глупая пепельница,— размышлял утюг, стоя в дверях,— как же ты затоскуешь, а будет поздно!»

— Понял, так случилось,— бормотал сапог, весь в саже.

— Так давайте же уйдем! — воскликнул утюг.— В дальние дали!

— Нет, друг,— возражал сапог,— нет. Так не выгорит. Она сказала, что должна кормить семью, целый чернильный прибор, понял? И братья маленькие еще, перушки еще. Understand — no? (Соображаешь — нет? — *искаж. англ.*)

Обувь, окружавшая утюг, почувствовала себя неловко и пошла вон, устранившись в магазин «секонд хэнд», где надеялась продать себя во вторые руки (на вторые ноги). Только несколько особо преданных пар топталось в отдалении.

Но утюг как прикипел подошвой к полу и достоялся до того, что хозяин, старый стакан, вновь вызвал киллеров.

— Выйдем поговорим теперь,— сказали киллеры, все те же самые коробки с макаронами в сильно помятых убийцевских шапочках.

С этими словами они покинули ресторан.

Утюг не боялся ничего.

Но, чтобы не подвергать опасности жизнь друга сапога и землячки чугунной пепельницы, он воскликнул:

— Айда, обувка!

И к нему тут же подвалили преданные кореша — пара босоножек, две дырчатые галоши и крепкие ребята валенки на подшитом ходу.

Они были готовы на все для своего командира.

Утюг выскользнул в темную ночь и метнулся навстречу киллерам, чтобы навтыкать им по шеем, однако киллеры, как оказалось, сидели в машине, загадочно глядя сквозь прорези своих убийцевских шапок.

Также оказалось, что эти киллеры держали за ошейники два взрывпакета, взрывпакеты же, лысые, злобные, почти без глаз, виляя обрубками хвостов, выглядывали в окна машины и щерились.

Да! Утюгу, видимо, недолго оставалось жить, но он пошел вперед как ни в чем не бывало, только товарищей стал уговаривать и ги по своим делам.

Машина тронулась следом. Взрыва все еще не было. Видимо, киллеры решили построить фейерверк где-то подальше от ресторана.

Первыми свернули в булочную рваные галоши. Босоножки же и валенки все еще не отставали от утюга.

— К вам обращаюсь я, друзья мои,— повторял утюг.— Братья и сестры, сержанты и старшины, валенки и босоножки, валите отсюда подальше.

— Ты че,— сказали валенки,— ты че, шеф?

Босоножки заявили:

— Мы с тобой пойдем на раз. Ты от гибели нас спас.

Утюг же на ходу твердил:

— Я иду на бой, а вот вы можете влипнуть в хорошую историю, ни один сапожник не возьмется оперировать. Так! Слушай мою команду! Все в кусты! Чугун завода «Каслинское литье ООО» выдерживает атомный взрыв! Потом встретимся.

Обувь залегла, а утюг в сопровождении машины с убийцами бороздил ночное шоссе.

И вдруг двери булочной открылись, и из них выскользнули две тени, которые плавно помчались по дороге вслед за автомобилем, обогнали его и поравнялись с утюгом.

Утюг воскликнул:

— Алло, мужики!

— Все в норме, шеф! — ответили две тени.— Это мы, галоши! Мы уговорили двух бубликов на вечернюю прогулку! Везем их кататься! Погляди только!

И они проехали в зад-вперед.

Вид калош, вооруженных бубликами, в темноте полностью напоминал вид утюга с ручкой.

— О, бродяги,— довольно сказал утюг.— Закамуфлировались! Теперь разъезжайтесь подальше от меня, будем вводить противника в заблуждение.

Спустя минуту машина киллеров притормозила. Впереди маячило три утюга, а взрывпакетов-то было только два!

— Стой, стрелять буду! — завопили макаронные коробки.— Стой, раз-два!

Но три утюга продолжали следовать по дороге, причем порознь.

Машина остановилась, раздался шум макарон в коробках (убийцы, видно, думали), затем киллеровоз развернулся и уехал.

— Ай да галоши, ай да сукины дети! — крепко выразил свое мнение утюг.

А на шоссе выползли мирные валенки, поверх которых выглядывали притихшие босоножки.

— Ура! — воскликнули они все.

Но из галош раздался недовольный писк: это глупые бублики требовали продолжить катание. Им понравилось ездить!

И вся компания почесала в парк, на качели и карусели, пить кока-колу и есть мороженое.

У утюга, правда, немного болело в груди — там остался влажный след в морщине, пятнышко от дыхания маленькой пепельницы. Пепел окурков стучал в сердце утюга.

«И где ты, сапожище друг, и где ты, пепелюшка?» — чугунно и упорно думал утюг...

## Глава пятая

### В сторону левого сапога

Ночь была нежна, в парке гремел фейерверк, там проходил ежегодный праздник братвы (гуляли пистолеты, наганы, кольты и вся дружная семья Калашниковых, а также приехали гости из братских стран, солнцевские курносые обрезы и израильские ребята Узи).

Нечего и говорить, было купано в фонтанах, а на сцене выступали тельняшки, береты и дуэт ботинок братьев Катерпиллеров, вот так. И доктор Мартенс давал уроки внезапных ударов каблуком из положения вперед спиной!

Случайно попавшие на праздник бедные родственники, валенки с калошами, босоножки Секонд Хэнд и глупенькие бублики, смотрели на все эти дела из кустов (подальше от греха). И только утюг, крепкий-малый, смело сидел в первом ряду при самой нахальной пальбе.

А затем ночка кончилась, в парке началась уборка, замелькали «скорые» и санавиация, красные кресты выволакивали из-за статуй помятые стволы и отброшенные курки: братва погуляла.

И утюг в сопровождении преданных друзей отправился ранним утром к сапожнику, который не спал ночь по своей привычке.

По дороге, правда, завезли подгулявших пухленьких бубликов к месту жительства, в булочную, и мы о них никогда не забудем, но дальше речь пошла о серьезном.

— Сапожник, сделай мне сапог! — обратился босой утюг к мастеру Фадю, который в этот момент боролся с гвоздем, пытаясь его забить в очередную подметку.

Гвоздь, вместо того чтобы уйти с головой в работу, уклонялся, манкировал служебным долгом, берег шляпку и всячески избегал встреч с молотком — просто-таки вертелся на служебном месте, чтобы только ничего не делать!

Мы знаем таких граждан, о них говорил еще Патрик Кавенах, он говорил, что у этих типов есть средство стать художниками без необходимости создавать при этом произведения: то есть они изворачиваются как могут, чтобы не делать ничего, и их потом объявляют «старик ты гений». Так что посмотрим, как обернется дело с гвоздем, он еще продырявит многое на своем пути, а пока что дело доехало до того, что сапожник выкинул этот окончательно свихнувшийся гвоздь вон.

Тот, вильнув, звякнул об утюг, не извинился, не снял даже шляпки, а просто тронулся по своим делам, однако утюг остановил его словами:

— Ты меня не теряй, я на тебя выйду.

— Стрелка забита, — промолвил молодой, но вертлявый гвоздь и прилег в ожидании под табуретку.

Стрелка забита — значит «о встрече договорились» на их языке.

Утюг сказал:

— Ты, крутой, стрелка у нас с тобой в ресторане «У старого стакана» вечером. Сейчас расскажу, что ты будешь делать. Даю тебе машину.

— Ну.

— Есть там одна...

— Ну.

Дальнейший их разговор был покрыт мраком тайны.

Затем утюг обратился к сапожнику и растолковал ему, что речь должна идти о новом сапоге на левую ногу, о ковбойском сапоге на каблук и с острым носиком.

Сапожник как раз проходил трудный период трудоголизма и сразу принял за дело.

Утюг только немного подождал и к вечеру выехал на дорогу в новой обуви — это была копия его предыдущего (потерянного) друга сапога, но тот был на правую ногу, а этот теперь на левую.

Кроме того, в данном варианте была любопытная деталь — несколько дырочек в носке и по бокам над подошвой (для кругозора, как вы догадались, утюг-то ехал внутри!).

Утюгу было уютно как в танке, если бы не сердечная рана.

Его прежний друг правый сапог (страшно сказать) теперь любил утюгову подругу, маленькую чугунную пепельницу, землячку и почти сестренку. Так что в ресторан «У старого стакана» и направил свою стопу гневный, но сдержанно-холодный утюг.

Его замысел был прост.

## Глава шестая

### *Коварство и любовь*

Утюг в новом сапоге воше в ресторан, ударом носка распахнувши дверь, сел за стол и тут же начал давать указания на американском языке (сапог-то у него был опять-таки ковбойский!).

Официантки-рюмочки охотно зазвенели, засияли, приняли у гостя газету и зонтик, и уже через минуту на столик прибыла пепельница.

— Закурим? — сказала бывшая подруга приветливо (она же была на рабочем месте).

— Подождем, — ответил утюг из глубины сапога. — А пока что подайте-ка мне подозрную трубу!

Пепельница покрутилась и унеслась к другим гостям, делать нечего.

А утюгу принесли его бывшую, а ныне беспризорную трубу подозрную, которая все это время, видно, стояла в углу, — она была пыльная и почти ослепшая.

Официантки застеснялись, протерли оба ее глаза, передний и задний, свежими салфетками и преподнесли новому сапогу, т. е. воткнули ему за голенище.

Утюг, сидя внутри сапога, видел теперь все вокруг, и в особенности то, что его старый друг правый сапог стоит у стены весь обкуренный и оплеванный, горько сморщившись в гармошку.

Кроме того, утюг усмотрел, как пепельница, нагрузившись окурками под завязку, подозвала старого друга сапога, он тупо и послушно подошел, подставился, и кокетка с чугунным сердцем свалила ему внутрь весь свой груз, а окурки-то были еще совсем тепленькие и с явной склонностью к поджогам!

Там шел дымок и что-то посверкивало, как будто красные глазки.

Так вот почему у старого сапога такой пыльный, зачумленный вид, и вот откуда сажа, копоть, мелкие шрамы!

Утюг даже готов был выскочить на подмогу, но у него ведь был замысел — и ради этого пришлось терпеть.

А новый сапог, левый, с большим удовольствием оглядывался на новом месте: он впервые был в ресторане.

Кстати, утюг заметил уже по дороге его странное поведение — этот новенький сапог останавливался у каждой водомоины, у любой витрины и охорашивался, глядясь в свое отражение. Затем он пошел в самоволку в лавочку и купил там тюбик рыжей ваксы и пару щеток, одну мягкую и маленькую, а другую лохматую и матерую, и весь этот состав населения ехал теперь в сапоге буквально на голове у утюга, причем большая сапожная щетка оказалась выдавшей вида теткой, травила анекдоты и дико хохотала при слове «бутылка» и при слове «вчера», и, когда вся компания оказалась в ресторане, большая щетка сразу вылезла, вытащила наружу маленькую и тюбик ваксы, уселась за стол, как дама, и сказала:

— Вели раскупорить шампанского бутылку! Фирмы «Табурет моей бабушки»! — И залиристо захохотала.

Потом она что-то вспомнила и сказала:

— Вчера что было!

Но сапог (левый и чистый) ответил на это:

— Пошли попудримся.

И они отправились (утюг поневоле с ними, сидя в сапоге), причем заехали в дамский туалет, где у зеркала, щебеча, мыли ножки рюмочки-официантки, а в виде дежурной сидела старая подошва.

Утюг даже вспотел от неудобства, увидевши себя в таком месте, но сапог твердо встал перед своим отражением в третью позицию и сказал:

— Сначала задник, потом каблук и голенище!

Тут тетка щетка и племяшка щеточка начистили рыло сапогу, после чего сапог, сильно блестя и пуская зайчики по стенам, пошел к своему столику и по дороге даже задел правый сапог, после чего извинился:

— Я вам не помешал?

И сел и стал смотреть по сторонам как нормальный левый сапог, только то и дело менял угол зрения.

А старый сапог ничего не замечал, он стоял, собравшись в складки, понурый и тусклый, полный окурков, весь в пепле и саже, и утюг видел, что он даже не страдает.

## Глава седьмая

### *Два сапога*

Внезапно левый сапог поднялся как на винте и чеканно подошел к правому с таким вопросиком:

— Разрешите аскнуть, на ваших часах какой номер?

— Прошу прощения? — вяло откликнулся правый сапог.

Левый сапог повторил:

— Сколько на ваших натикало?

— А! У меня нету часов,— поник головой правый.

Тогда левый сапог сказал:

— Не может быть? Это вы, Вася? Господи!

— Почему это? — возразил правый.

— Вася, Вася,— твердил левый сапог,— я вас сразу узнала!

Правый сапог слегка закашлялся: пованивало дымком.

— Я не Вася,— выговорил он.

— А как вас звать? — наивно спросил левый сапог.

— Имени нет, а так кличут Фадеич.

— Неужели? — обрадовался левый.— Фаде... Как?

— Моего сапожника зовут Фадей. А меня Фадеич.

— Очень приятно,— воскликнул левый сапог.— А я Алисия дель Фадео! Будем знакомы!

Правый понурился и что-то пробормотал.

— Что-что? — спросил левый сапог.

— Так,— ответил правый устало.

— Вы много ли путешествовали? — заботливо поинтересовалась Алисия.

— Это когда было! — отозвался сапог вяло.

Тут как ни в чем не бывало подскочила пепельница, сапог привычно подставился, и в него высыпалась кучка еле тепленьких окурков, которые со смехом пускали дым и глядели сонными красными глазенками.

Пепельница затем воскликнула:

— Ммм! Какой у меня муж заботливый! — И бросила тяжелый чугунный взгляд на сапог Алисию дель Фадео.— Ни у кого такого мужа нет!

С этими словами, смеясь, она помчалась работать.

Жизнь вокруг кипела.

А утюг повернул зазевавшуюся Алисию обратно к столику, где сидела вся теплая компания — галоши, босоножки и хорошие ребята — подшитые валенки, а также внезапно пришедший гвоздь по прозвищу Сутулый.

— Пойти позвонить,— сказал утюг.

Гвоздь осмотрелся по сторонам и протянул ему свой радиотелефон со словами:

— Бери мою мобильную трубу.

Утюг громко сказал:

— А! Ты ведь недавно из Арабских Эмиратов! Как же я забыл!

Пепельница на соседнем столе насторожилась.

А утюг уже звонил в «Скорую»:

— Алло! Срочно приезжайте! Тут господам плохо, массовое отравление в ресторане.

Пепельница, звеня и подпрыгивая, уже приблизилась к их столику и заняла свое место посередине.

— Закурим? — обратилась она к гвоздю Сутулому. — Как самолет? Как погода в Эмиратах? Как там с витаминами?

— Отвянь, бибики поочпокаю, — живо ответил гвоздь.

За столом воцарилось уважительное молчание.

— Здравствуй, дерево, — наконец сказала большая щетка и заржала. — Ты че, как этот в кепке?

Пепельница стояла посреди стола как пришитая, во все глаза глядя на Сутулому.

Тут же приехала «скорая», врач (большая ложка) осмотрел пациента, правый сапог, прописал ему сон и полную очистку организма, посоветовал клюкву по утрам и проветренное помещение. Заодно он по просьбе утюга бегло осмотрел окурки, признал их негодными, и их тут же увезли в больницу, причем Большая Ложка лично выгружал больных из правого сапога на носилки.

Далее произошло следующее событие: сапог Алисия дель и так далее привела к больному сапогу тетку щетку, ее племянницу и тюбик дядю Ваксу.

Сапог Фадеич, понурившись, стоял у стены опустошенный впервые за много дней, но зато грязный и дымный, как мужская золушка.

Тетка щетка для начала чуть не вывернула Фадеича наизнанку, вымела его изнутри, что-то, а работать и отдыхать она умела!

Затем в ход пошла племяшка щетки, и дядя Вакса выделил гуталина сколько надо.

И через пять минут сапог Фадеич стоял ровно и блестел, радостно глядя на свою пепельницу.

Она, правда, тихо разговаривала с Сутулым о чем-то, в то время как все окружили Фадеича.

— Расскажите нам о ваших путешествиях, — просила Фадеича Алисия. — Вообще как вам понравился мир.

Сапог Фадеич собрался с мыслями и тихо сказал:

— Мы с другом моим утюгом летали во Вселенной среди звезд и плавали в океанах.

Сапог Алисия подпрыгнул от удивления (с утюгом внутри это было непросто):

— Как бы я хотела тоже взлететь! В другой раз возьмите меня с собой! Хорошо?

— Хорошо, — сказал Фадеич, глядя мимо нее на пепельницу, которая в этот момент привстала на ребрышко и крутанулась.

— А когда? — спросил сапог Алисия вне себя.

— Тогда, — ответил Фадеич невежливо.

— Полетим сейчас! — воскликнул левый сапог Алисия.

— Я на работе, — грубо возразил Фадеич.

В это время гвоздь Сутулый вел переговоры по радиотелефону, держа в руке пейджер. Пепельница стояла у его локтя.

Слышно было, как она говорит:

— Арнольд, Арнольд!

А он кричит по телефону:

— Ведро мне вернешь, чтобы было как новое!

А она (пепельница):

— Что за ведро? Арнольд, Арнольд!

— Мое ведро, Вольво. Они крыло помяли. Взяли и сразу пинцет, бобик сдох.

А пепельница:

— Какие они! А сколько у вас ведер?

— Еще «мерседес» шестисотый. «Фольксваген» вон новое ведро.

Утюг, сидя в сапоге, все видел и слышал, гвоздь работал на полную мощность.

А припертый к стене сапог Фадеич тут сказал сапогу Алисии:

— Я хочу познакомиться вас с моей женой пепельницей.

— Как интересно! — откликнулась Алисия. — Это ведь для меня совершенно новый мир — пепельницы, урны и мусорные ящики! Плевательницы! Помойные ведра! Ушаты! Я ни с кем из них еще никогда не была знакома! У них, наверно, очень важная и нужная работа! Но тяжелая!

— Да,— отвечал машинально Фадеич.— Пепе! Пепе! Иди сюда, познакомься!

— Отвянь,— сказала пепельница, глядя на Сутулого, говорящего по телефону.

— Ненадолго! — воззвал сапог.

— Да провались ты,— тихо откликнулась пепельница.— Извините, это не вам. Вы у нас можете быть гвоздем программы! Я уверена! Спойте!

Гвоздь не надо было долго упрашивать. Он вышел на сцену и исполнил грустную песню «Братва, не забивайте друг друга в стену».

Махровое полотенце исполнило партию виолончели, а старая подошва работала на ударных.

Что касается пепельницы, то она плясала на подтанцовках позади гвоздя, вместе с новенькими окурками, которые дымили, глупо хихикая, и то и дело свистели и визжали.

А вот сапог Фадеич хлопал буквально в такт и кричал, вытирая слезы:

— Браво, Пепе! Браво! Так держать!

Гвоздь спрыгнул со сцены, и пепельница, не оглядываясь, пошла следом за ним — и все видели, как они мелькнули за стеклянной дверью и сели в машину марки «фольксваген-зебра», которая тут же отвалила.

## Глава восьмая

### *Встреча на дороге*

Сапог Фадеич остался стоять, глупо разинув рот и вытирая слезы, а Алисия тут же бодро воскликнула:

— Вы знаете, вас ждут за углом! Ваш старый друг. Идите!

— У меня друг? У меня нет друга,— забормотал Фадеич.

— Ваш друг утюг, выходите.

— А! Я ведь его предал, отнял у него любимую девушку... Бросил его... А теперь она меня бросила. Так мне и надо.

— Короче, он вас ждет,— сказала на ходу Алисия и скрылась из ресторана, а там они с утюгом договорились, он выпрыгнул из сапога наружу и пригтовился к встрече.

Но Фадеич и не думал уходить. Он все бормотал, стоя посреди ресторана:

— Она его бросила, она меня бросила, но что хуже всего, она ведь уехала и бросила свою мамашу! Свою бедную мать, пустую, сухую чернильницу! И маленьких братьев перушек бросила!

— Фадеич! — услышал он тонкий женский крик с улицы.

На всякий случай сапог вздрогнул и потопал на зов.

Там, за углом, его встретил босой друг утюг.

Они обнялись, и сапог прошептал:

— О, как меня наказала судьба! Я бросил тебя, и я остался один!

— Вы не один один! — сказала Алисия, подходя.— Я тоже одна!

— Два сапога пара,— находчиво сказала тетка щетка и засмеялась.— Да вы как похожи, поглядите на себя! Прямо как муж и жена!

— Так,— сказал утюг,— вы пока идите все к старой чернильнице, а я вас догоню. Поживите там пока.

Вся компания побрела по дороге, то и дело оглядываясь, затем они исчезли, начался рассвет, подул ветер, а утюг стоял и терпеливо ждал.

Миновал день, прошла ночь, и тут вдаль послышался тихий звон, как будто по дороге катилось что-то — то ли тарелочка, то ли блюдец...

Оно катилось неровно, временами падало и тихо лежало.

Затем опять раздавался тихий звон.

Утюг поехал навстречу.

— Здравствуй,— сказал он.

— Привет,— вытирая слезы и сопли, произнесла пепельница тихо.

— Куда идем? — спросил утюг и протянул замарашке носовой платок.

— Домой, к маме.

— Ну пошли,— сказал утюг.— А где Сутулый?

— Он меня высадил из машины среди поля... И уехал. Он смеялся.



— Ну бывает, все случается в жизни,— осторожно высказался утюг.

— Как с тобой хорошо,— всхлипнула пепельница.— Ты ведь мне самый родной. С родного предприятия. Помнишь литейку? Детсад помнишь?

— Ты скажи: пойдешь в ресторан работать?

— Ну их,— тихо промолвила пепельница.— Я теперь не замужем, рюмки будут надо мной смеяться, те же окурки начнут приставать...

— Но есть другие рестораны.

— Нет, хватит с меня. Я устала,— длинно вздохнула пепельница.

— Может, к сапогу вернешься?

— Ой, я перед ним виновата. Он-то хороший, меня простит. Но каково будет мне? Потом у него уже есть эта богатая ковбойская американка. Она к нему лучше относится... Я плохая, наверно.

Они помолчали.

— Ну ладно,— произнес утюг.— Куда-то надо идти... Так что пока! Прощай!

— Хочешь, поживи у нас? — быстро предложила пепельница.— Мама так тебя любит. Больше всех.

Утюг ничего не отвечал. Спела песню какая-то пролетевшая мимо спичка.

— Да зачем, построим себе дом отдельно,— наконец сказал утюг.— Хватит скитаться.

— А вот твои друзья как же? — вдруг, совершенно невпопад, спросила пепельница.

— У них будет своя жизнь. Галоши поженятся на бубликах, босоножка делает предложение босоножке. Валенки пока думают. Они хорошие ребята, честные. Сапоги еще пока не понимают своего счастья, но скоро поймут. Да мы же и не расстаемся!

— Вот скажи, они что, все будут жить в нашем доме? — тревожно спросила пепельница.— Они что, не понимают, что тебе нужен дом, а не коммунальная квартира? Не общага?

Утюг, улыбаясь, молчал. Пепельница подумала и тоже улыбнулась. Потом она повела другой разговор:

— Ты ведь сам знаешь, что если они будут с нами жить, то не смогут приходить к нам в гости! И нам некуда будет ходить! Ты думай о будущем-то! Что за дом без гостей? Родня — это не гости. Подумаешь, мама придет! Это неинтересно! Братя мои прибегут! Разве это то самое, что тебе нужно? А вот друзья приедут после долгой разлуки, это бы было замечательно! Чтобы встречаться и плакать от счастья! Ты ведь у меня самый умный! Ну подумай своей головой! Реши!

— Для этого есть только один способ,— заявил, улыбаясь во весь рот, утюг.

— Какой?

Утюг что-то прошептал ей на ушко.

— Я согласна! — сказала пепельница.— Это была моя мечта! В теплые края!

— Да, на родной завод! На Урал! Посетим литейку!

— Да! Молодец! Хорошо придумал! Обязательно!

— Но,— тут утюг сделал паузу,— но после Арабских Эмиратов, ладно? После Багамских островов, Бомбея, Бутана, Мустанга и Коктебеля, хорошо?

— Да,— прошептала пепельница разгораясь.— Я всю жизнь провела в мыслях о большом путешествии! И ты единственный, кто меня понял... Единственный из всех...

Спичка пролетела обратно и спела «тра-ля-ля!».

— Какая ты у меня умница,— восхитился утюг.— Я умный, а ты еще лучше! С тобой не соскучишься!

И они пошли на телеграф отбивать маме-чернильнице срочную: «Выезжаем кругосветное свадебное путешествие тчк всм дрзъм првт = утг зпт плнца».



Алексей КУБРИК

---

## Туман по имени зренье...

\* \* \*

Черный вертикальный сгусток слов<sup>1</sup>  
на твоём растерянном просторе —  
это даже не любовь и горе,  
это даже не одна любовь...

Хоть и умер тот, кто говорил  
первую строку существованья,  
но в своём естественном изгнании  
он стоит превыше этих сил.

Он забыл свой осторожный страх  
и ушел от века объясниться  
с деревом, дорогой или птицей,  
так легко парящей в облаках.

Ибо речь не о добре и зле  
с тиражом холопствующих теней...  
Речь о том, чтоб выстоять мгновенье  
и не задержаться на земле.

\* \* \*

По зыбкому склону... Отчаянье в царстве любви.  
Гермесы шаги с каждым кругом твоих невесомей.  
Ты вправе остаться. Здесь даже душа норовит  
забыть о бессмертье и падать как можно бездонней.

Тропа огибает незримые сердцу края.  
Твой призрак — забвенье. И время расходится в лицах.  
В садах Персефоны безумная лира твоя  
звучала не хуже, чем в трижды безумной столице.

Но дело не в лире, а в том, как сгущается зной,  
как внутренним зрением порвана нить Флегетона.  
Младенец во чреве... Желание сбросить покой,  
чтоб песня сама обернулась распятием склона.  
Чтоб был неслучаен языческий спас на крови,  
когда даже голос забудет свои очертанья.

.....  
Трамваи по лужам проносятся мимо любви,  
чтоб жизнь оглянулась  
на то, как умрет мирозданье.

---

<sup>1</sup> Буквальная цитата из Нобелевской речи Иосифа Бродского.

\* \* \*

Снова к небу пробирается вода,  
не имея даже тени роковой...  
Я живу, как будто жил с тобой всегда,  
забывая даже тех, с кем был живой.

В вечном городе роскошествуют псы,  
на слепую волю свой мотают срок...  
На восток от сердца брошенные сны,  
как вода, уходят в медленный песок.

Сколько хочешь можно жизни рассказать.  
Не послушает и выберет свое.  
Не удастся, видно, больше разменять  
нам с тобою это гордое жилье.

На восток от сердца — медленные сны  
В них, наверное, никто не одинок...  
Лишь деревья замирают до весны  
чтобы мы не понимали их тревог.

Я живу, как будто жил с тобой всегда,  
забывая, что не властен над бедой.  
То ли к небу пробирается вода,  
то ли твердь небес становится водой.

Вечный город то впадает в забытье,  
то проходит сквозь глухие купола...  
Но поет во мне молчание твое  
так же трепетно, как ты со мной жила.

\* \* \*

С падающей листвой,  
с осенью между небес  
я не хочу домой,  
мой придорожный лес.

Я не хочу туда,  
где без тебя темно,  
где не умеет вода  
медленно прятать дно.

Птицы твои поют  
вроде невысоко...

Мой никакой уют  
кончился так легко.

С падающей листвой,  
не открывая глаз,  
может быть, твой покой  
знает, где я сейчас?

Может быть, в том и беда,  
что у твоей воды  
лишь облаков гряда  
выше любой беды.

### *Вторая московская песенка*

Мой трамвай идет как хочет.  
Я его не тороплю.  
Ярче ночи, дольше ночи  
подлым пламенем горю.

Вот проплыли Баррикады...  
Белый дом сквозь желтый дым,  
да посольские ограды  
с вертухаем молодым.

Поверните мне направо.  
Лучше дождик проливной,

чем гранитные канавы  
с вечномутною водой.

Поверните мне налево.  
Я проедусь вдоль весны,  
чтоб распахнутые девы  
не косили в мои сны.

Чтобы в первый час воскресный  
в мир блаженной ерунды  
проскочить от Красной Пресни  
да на Чистые пруды.

\* \* \*

Ты жил на черный хлеб и суету,  
на музыку случайного ночлега,  
на то, что обнимало пустоту  
в тысячелетнем падании снега.

И чем была массивнее страна,  
чем тверже в ней господствовали тени,  
тем незаметнее крошилась тишина  
на то, что не доступно вдохновенью.

Все время тратить или продавать  
и пожирать все то, что продается,  
чтобы однажды жажда умирать  
застыла, как полуденное солнце,

в тебе самом, и ты вошел туда,  
где не бывает мертвых и неправых,  
куда влечет полночная вода  
по зову власти и по зову славы.

Есть две стихии — плоти и беды.  
Есть две любви — разлуки и покоя...  
Ни твердь небес, ни пламя высоты  
иной свободы, видимо, не стоят.

И жизнь твоя разбита на слова  
не для того, чтоб ты искал сравненья...  
Могильный холм  
и пыльная трава,  
и легкий Дант,  
и крылья для паденья.

\* \* \*

Вот туман по имени зренья...  
Он давно причастен огню.  
Мир, разбившийся до паденья,  
приближается к ноябрю.

Отражаются только души,  
да и то вне земных дорог.  
И опять тишиною кружит  
тот, кто был с тобой одинок.

Ты его не отвадишь боле  
ни молчанием, ни хулой.  
Он остался по праву боли,  
не замеченной в нем тобой.

Только скорбь обретает пламя,  
неподвластное именам.  
И возмездие — не за нами,  
а за теми, кто верил нам.



Игорь ВОЛГИН

---

# Пропавший заговор

ДОСТОЕВСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ПРОЦЕСС 1849 ГОДА

## От автора

*После публикации журнального варианта нашей книги «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» («Октябрь», 1989, №№ 3, 4, 5) редакция анонсировала второй том под названием «Политический процесс». Однако судьбе было угодно направить автора по более извилистому пути: он написал «В виду безмолвного потомства... Достоевский и гибель русского императорского дома» («Октябрь», 1993, №№ 11, 12; 1994, № 6) — работу, тематически примыкающую к вышедшему ранее «Последнему году Достоевского».*

*Впрочем, все эти отдельные книги тяготеют к некоему единому тексту: биография Достоевского стремится стать «биографией» всего русского XIX столетия. Это возможно потому, что жизнь создателя «Братьев Карамазовых» в известном смысле есть «действующая модель» России, совокупный образ ее национальной судьбы.*

*Ныне, будучи признателен редакции за долготерпение, автор спешит вернуть давние долги. В журнальном варианте приоритет отдан неизвестным доселе обстоятельствам (и, разумеется, неизвестным архивным документам). При этом, однако, опущены многие существенные подробности и сюжеты, которые, как надеемся, войдут в отдельное издание. С другой стороны, нельзя было не включить в текст некоторые важные для целостности повествования фрагменты из нашей работы «Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII—XIX вв.», которая согласно издательским условиям (Соросовская программа поддержки гуманитарного образования) не поступила на книжный рынок и практически осталась недоступной широкому читателю.*

*Та историческая драма, о которой пойдет речь, свершилась ровно полтора века назад (1848/49—1998/99). Наверное, об этой дате вспомнят в России. Впрочем, книга была написана без надежды на эту гипотетическую возможность.*

## Часть первая. ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

### Глава 1. ДОМИК В КОЛОМНЕ

#### Уличное знакомство

**В** феврале 1826 года Пушкин писал Дельвигу из Михайловского: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя».

---

Фрагменты из книги. Все авторские подчеркивания в тексте даются *обычным курсивом*, подчеркивания в источниках — курсивом *полужирным*.

Заговор *обнародован* не был; человеколюбие «молодого царя» поспешило явить себя во все милостивейшей замене четвертования общей виселицей на пять персон. Минует двадцать три года — и нескудеющее монаршее великодушие будет простерто над новым молодым поколением. Недаром Достоевский добрым словом вспомнет императора Николая, пожалевшего в нем «молодость и талант».

Молодость между тем была на исходе.

Позднее, желая утолить любопытство членов Следственной комиссии и как бы впутать в дело саму судьбу, он припомнит, что его знакомство с Петрашевским было вполне случайным: он, мол, вовсе не искал этой встречи. Действительно, чернородый странноватого вида мужчина мог бы и не отнестись к нему (на улице!) с, по-видимому, неуместным и отчасти даже праздным вопросом: об идее его будущей повести. Это уличное знакомство столь же случайно, как и не предвиденное никем совпадение: оба они однолетки, и, что еще удивительнее, один из них (а именно Достоевский) всего на два дня старше своего нового знакомого. Но почему бы не усмотреть в этих упрямых сближениях властное дуновение рока?

При всей разности натур у одногодков есть кое-что общее.

Оба они (в момент знакомства — 25-летние молодые люди) — цвет поколения, возросшего на том, что есть, но рано задумавшегося над тем, что должно. Вопрос, заданный Достоевскому, — лишь повод для знакомства. Не напиши он «Двойника», Петрашевский, наверное, спросил бы его о чем-нибудь не менее замечательном. Он интересен собеседнику прежде всего как человек духа. Оба они принадлежат к одному духовному братству.

В России подобному союзу уместнее оставаться тайным.

*После* Белинского автор «Бедных людей» уже далеко не таков, каким был до. Ему не чуждо теперь не только ничто человеческое, но и — *общечеловеческое*. Мир, лежащий во зле, не может быть ни оправдан, ни принят. Его следует изменить радикально!

Куда бы он ни пошел, он бы попал в Коломну:

У Покрова

Стояла их смиренная лачужка...

Возможно, он усмехался, вспомянув по случаю эти строки. Ибо титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, второй переводчик департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел, обитал именно здесь, в отдаленной местности столицы. Его деревянный, недавно открытый для посещений дом, доставшийся ему по праву наследования (покойный родитель не допустил бы никаких сомнительных сходбищ), тоже стоял «у Покрова». Разумеется, Пушкиным воспето было другое домостроение («лачужки этой нет уж там»), но, как, надеемся, заметил читатель, нам интересны не вещественные совпадения, а метафизические ауканья.

Достоевский пытается уверить членов Следственной комиссии, что «ни в характере, ни во многих понятиях» он не имеет сходства с хозяином дома. (Это, пожалуй, единственный пункт, когда он с *ними* вполне откровенен.) Подобное признание нимало не могло повредить главному участнику процесса. Более того: оно как бы служило к некоторому его оправданию. Выставляя Петрашевского в качестве безобидного чудака, чистого теоретика, весьма удаленного от практических нужд, вопрошаемый осторожно подталкивал вопрошающих к простой, но в данных условиях крайне желательной мысли: все эти невинные странности и уклонения суть лучшие доказательства легкомыслия обсуждаемого лица, то есть полной его непригодности на роль политического трибуна. «Психология» (а в некоторых ответах на вопросы Комиссии употреблено именно это средство) понадобилась исключительно для того, чтобы замаскировать политику. Ибо изъяны характера, сколь бы они ни были огорчительны, не падают под статьи уголовного кодекса.

«Впрочем, — добавляет Достоевский, — я всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного».

Конечно, протоколы допросов — не самый надежный источник для выяснения подлинных мнений. Но надо учесть, что Комиссия вовсе не требовала от подследственных лестной оценки главного злоумышленника. И иные из них сочли за благо обвинить его во всех своих несчастьях. В этих условиях признание Достоевского обретаёт особую цену.

Он сказал однажды о герое Сервантеса: «Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире...»

**«И я бы мог, как шут...»**

Как и положено русскому человеку, Петрашевский ухитрился сочетать в себе взаимоисключающие начала: наивную удаль странствующего (*идейно* странствующего) рыцаря с вкрадчивой повадкой иезуита. Последнее качество, впрочем, тоже имело у него несколько романтический оттенок.

Да, Петрашевский — русский Дон Кихот. Все его бескорыстные подвиги — от заведомо обреченных тяжб с начальствующими лицами до последней смертельной схватки с раздавившим его государством — все это обернется походом против ветряных мельниц. И не потому, что враги существуют только в его воображении и ничуть не опасны (как раз напротив), а потому, что при помощи разумных (и, с его точки зрения, неопровержимых) философов он пытается противостоять циклопическому вращению бездушных мельничных крыльев.

Любивший повторять: «Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир», — он забывает, что этот гордый латинский императив мало подходит для разрешения домашних недоразумений. Правосудие не совершилось: при этом, однако, погиб он сам. Не помогло и близкое знакомство с законами собственной отчизны. Ибо закон в государстве самодержавном имеет декоративное значение и лишь сам декоратор знает, где и как применять этот чудный узор.

И все-таки он изыскивает *способ*.

Бессмыслицу жизни Петрашевский пытается одолеть при помощи шутовства. Позднее в зеркальных дублях его судьбы попытки эти обретут довольно зловещий смысл.

Скромный чиновник, он поражает сослуживцев «неуставной» внешностью и экстравагантностью одеяний. В эпоху, когда от проходящих государственное поприще *лиц* требовалось одинаковое для всех выражение, он позволяет себе строить двусмысленные гримасы. Он дурачит власть, доводя до абсурда правительственный указ о запрещении чиновникам носить длинные волосы. А именно: наголо обривает голову и в качестве компенсации водружает на нее пышный парик. Он кощунствует в храме, явившись туда в женской одежде, и на справедливые подозрения квартального надзирателя: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина», — отвечает не менее сокрушительно: «А мне кажется, что вы переодетая женщина». (Здесь вновь подмигивает подслеповатым оконцем пушкинский «Домик в Коломне», его — с переодеваниями! — сюжет.)

Некоторые из этих историй кажутся невероятными. Особенно — анекдот, изложенный в воспоминаниях В. Р. Зотова: о мужиках, дотла спаливших комфортабельный деревенский фаланстер, воздвигнутый для них попечительным барином. Разумеется, трудно поверить не самому факту пожара (этот национальный способ борьбы с шалостями начальства как раз не вызывает сомнений), а тому, что эксперимент действительно был предпринят и только досадная случайность помешала идеалам Шарля Фурье победоносно утвердиться в одном из глухих углов Санкт-Петербургской губернии.

Маскарад есть изнанка жизни, а изнанка — всегда ближе к телу. «И я бы мог, как шут...» — оборвет Пушкин строку и изобразит рядом виселицу с пятью повешенными.

«Как мы смешны в этих костюмах», — скажет на эшафоте Петрашевский: круговорот переодеваний завершится смертным балахоном.

Вхождение в новый круг (*смертников*: он будет стоять меж ними на эша-

фоте) не потребовало от Достоевского особых усилий. И тем более не оказалось для него таким потрясением, как знакомство с Белинским. Он уже был в курсе.

Имена Сен-Симона, Фурье, Оуэна произносились здесь с таким же пиететом, с каким, скажем, несколькими десятилетиями ранее среди людей образованных поминались имена Вольтера или Руссо. Идеи, от которых захватывало дух, золотые зерна социальных утопий пали на почву, менее всего приуроченную для выживания подобных растений. Они должны были либо вымерзнуть на корню, либо принести фантастические плоды.

Но чем дальше отстояла российская явь — с миллионами оброчных душ, универсальной табелью о рангах и публичными порками на площадях — от новейших откровений взыскующего европейского духа, тем искусительнее были его призывы для тех, кто без видимой цели бродил в белых петербургских ночах, когда предметы меняют свои значения, — и вот уже мнится, что чуть различимая в тумане крепость и есть тот предназначенный для общей радости дом, где утишается страдание и каждому воздается по заслугам его...

Гипотетический пожар, спаливший первый (столь же гипотетический) российский фаланстер, мог стать прообразом скорого, вполне реального, аутодафе.

...Что стоит судьбе слегка оттянуть финал, дабы те, над кем уже подпилены шпаги, успели бы проскочить за черту — туда, где лейб-медик Мандт в ужасе шепнет цесаревичу: «Каротида не бьется больше», — и Герцен в своем лондонском далеке, невзирая на ранний час, велит откупорить шампанское.

Но пока император вполне здоров: он не спускает глаз с крайнего запада Европы. Министерство Гизо падет: петербургская развязка будет приближена громом парижских пушек. Царь явится средь шумного бала. Звучным голосом, словно самой природой рассчитанным на славный исторический резонанс, произнесет он знаменитую фразу: «Седлайте коней! господа, во Франции республика!»

Сим надлежало остеречь не только мятежные народы, но и неблагомыслящих соотечественников. Последние окажутся величиной исчезающе малой (однако же не настолько, чтобы исчезновение их прошло совсем незамеченным). Официальная формула 49-го года — «горсть людей совершенно ничтожных» — вполне созвучна правительственной аттестации почти четвертьвековой давности — тех подозрительных штатских, кои затесались в каре на Сенатской площади: «несколько человек гнусного вида во фраках». Так блюлось эстетическое единство.

«...Петрашевцы были совершенно одного типа с декабристами», — подтвердит позднее (в 1876 году) Достоевский. (Сравнение будет признано неуместным, и цензор «Дневника писателя» вычеркнет весь отрывок.)

Можно еще добавить, что и тех и других одушевлял дух высокого идеализма. Правда, у петрашевцев появляется один новый мотив. Они имеют в виду не только национальное обновление, но нечто неизмеримо большее. Они жаждут мирового переустройства. И не ощутим ли в будущих глобальных прозрениях автора Пушкинской речи (разумеется, в кардинально переосмысленном виде) этот первоначальный импульс? Ибо, как и призываемый им потрудиться на родной ниве «русский скиталец» (тот же социалист), сам автор Пушкинской речи тоже уповает не на призрачное «отдельное» счастье (которое на фоне несчастья других не может быть совершенным), а на мировую гармонию: он тоже «дешевле не примирится».

### **Персональный состав**

Заметим: на вечерах у Петрашевского отсутствуют дамы. Это чисто мужская компания. Да и дома посетителей «пятниц» (за малым исключением) не ожидают законные подруги: в отличие от иных декабристов петрашевцы, как правило, люди холостые, бездетные. Ни одна душа не последует за ними в «мрачные пропасти земли».



Они не обладали громкими титулами и именами. Среди них сравнительно мало офицеров. («Тип декабристов был более военный», — говорит Достоевский.) Мелкие чиновники, литераторы, учителя, люди свободных профессий — все это так называемое *среднее общество*. Разумеется, никто из них не вхож в аристократические гостиные, откуда явились многие подвижники декабры. Русская оппозиция из салонов переместилась в аудитории и ученые кабинеты. Недаром как на важнейшее преимущество Достоевский указывает на высокую степень интеллигентности своих товарищей по судьбе.

«Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно образованные...» — не сговариваясь, «соглашается» с Достоевским другой компетентный наблюдатель. Но (с безжалостной горечью добавляет он) люди эти были «нервные, болезненные и поломанные».

Если для Герцена, который почти на десять лет старше Достоевского, декабристы — отцы, то петрашевцы — младшие братья. Кровное родство позволяет ему обойтись без исторического сентиментализма.

«В их числе, — продолжает автор «Былого и дум», — не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, это — явление совсем другого времени (последний намек относится, по-видимому, к тем поздним демократическим монстрам, которые, по словам Герцена, «из нигилизма бьют своих матерей». — *И. В.*), но в них было что-то испорчено и повреждено».

Достоевский мог бы назвать их людьми фантастическими.

В обществе, собиравшемся в Коломне («пятницы») начались еще зимой 1845 года, занимались в основном *разговорами*. Как позднее ни тщились члены Следственной комиссии обнаружить признаки тайной организации, их усилия оказались напрасными. Дом Петрашевского был открыт практически для всякого, кто пожелал бы в него войти. Некоторые ограничения (впрочем, весьма условные) появлялись лишь в самом конце. Разумеется, разговоры отличались известным свободомыслием. Но когда же в кругу людей образованных ведутся толки иного рода?

Февраль 1848 года и дальнейшие перипетии, обличавшие, по словам высочайшего рескрипта, «злоумышление к ниспровержению властей законных», отразились на «Богом Нам вверенной России» не только приведением в военное положение армейских корпусов и подвижкой их к западным границам. В указанное положение была приведена вся система. Лица начальствующие в спешном порядке избавлялись от остатков государственного благодушия. Случилось то, что случалось уже не раз: европейские катаклизмы воодушевили правительство на вполне азиатские меры. Тем не менее как бывает в подобных случаях, увеличивается число *разговаривающих*.

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи...

«Пятницы» в Коломне обретают новый оттенок. Они все больше начинают походить на заседания политического клуба — с повесткой дня, чтением рефератов и даже (что будет поставлено в особую вину) бронзовым колокольчиком, отнюдь не призывающим усердного слугу, но как бы умеряющим *парламентские страсти*.

Позднее в своих объяснениях с Комиссией Петрашевский назовет все это дело «процессом о намерениях». Намерения между тем были не столь невинны. Но — странная вещь: все, о чем они мечтали, применительно к ним самим будет исполнено наоборот.

Они ратуют за введение гласного судопроизводства: их будут судить за закрытыми дверями, по военно-полевому уставу. Они толкуют об отмене цензуры: ни единого слова о процессе над ними (кроме официального сообщения) не попадет в печать. Они намереваются уничтожить крепостное состояние: лишившись дворянства, они перестанут быть владельцами крепостных душ.

И все-таки — они выигрывают дело.

Простим же, если кому-то вдруг вздумается уподобить слабый председательский колокольчик грядущему герценовскому набату: все равно звук будет

умножен акустикой века. И не посетуем, если в позднем ужине «с прекислым вином» вдруг почудится образ тайной вечери: на нее похожи все трапезы посвященных. К тому же Иуда уже явился на пир.

Принято считать, что дело происходило так.

Два министра (внутренних дел — Л. А. Перовский и шеф жандармов граф А. Ф. Орлов) заинтересуются Петрашевским почти одновременно. И почти одновременно — в начале 1848 года — доведут свои соображения до сведения государя. «Но как столкновение агентов двух ведомств могло иметь вредные последствия... то шеф жандармов по соглашению с графом Перовским предоставил ему весь ход этого дела...»

Так гласит официальный отчет. В нем как будто зафиксировано взаимное благородство двух полицейских ведомств. Однако «предоставление» всей операции Министерству внутренних дел означало, что III Отделение попросту было не в курсе (очевидно, сведения, собранные Перовским, оказались более занимательными). Мечтавший осуществить то, что удалось только через тридцать лет Лорис-Меликову, а именно: соединить в одних руках (разумеется, собственных) всю полицию империи — как тайную, так и явную, — министр внутренних дел был бы не прочь намекнуть взыскательному монарху, что обитатели красивого здания у Цепного моста задаром едят государственный хлеб.

С марта 1848 года деятельность Петрашевского находится под неусыпным призором чиновника для особых поручений Министерства внутренних дел, действительного статского советника Ивана Петровича Липранди<sup>1</sup>.

## **Глава 2. «ЛИПРАНДИ ТЕБЕ КЛАНЯЕТСЯ...»**

### **Потомок грандов**

Потомок испано-мавританских грандов, Иван Петрович Липранди, проживет без малого век и как бы соединит собой несоединимые времена. Он родится в годину Великой революции (1790), на исходе царствования Екатерины — тоже Великой, а умрет менее чем за год до царевубийства 1 марта 1881 года, открывшего путь к ипатьевскому подвалу. Он примет участие в шведской войне (1808—1809), где в возрасте 19 лет получит золотую шпагу — за храбрость; он будет при Смоленске и Бородине. При нем сгорит Москва и низвергнется Наполеон; 24-х лет он вступит в Париж. Он будет водить приятельство с Пушкиным. Он засадит в рavelин Достоевского. Ему с благодарственной надписью пошлет «Войну и мир» граф Лев Николаевич Толстой. При нем падет и поднимется Севастополь — погибнет и вновь восстановится флот; при нем русские войска окажутся однажды у стен Царьграда, чтобы, словно убоявшись собственной дерзости, без боя отступить от него. При нем уничтожится крепостное право и будет взорван Зимний дворец. Он переживет четырех царей и отойдет в лучший мир ровно за месяц до воздвижения посреди Москвы бронзового изваяния его старинному знакомцу.

Историки любят строить гипотезы относительно его жизни и случившихся в ней метаморфоз. Нет, в частности, согласия касательно того, чем занимался Липранди в начале 20-х годов — в пору своего тесного дружества с Пушкиным. Известно, однако: он был военным разведчиком при штабе русских войск в Бессарабии. Его достижения в этом роде (которым, кстати, не пренебрегал и случившийся недалече Павел Иванович Пестель) неоспоримы. Он держал в своих руках широко раскинутую агентурную сеть, захватывающую сопредельные России и подвластные Блистательной Порте области. Он стал едва ли не лучшим в Европе знатоком турецкого Востока. Генеральный штаб, вынужден-

<sup>1</sup> Личность И. П. Липранди привлекает все большее внимание. См. Эйдельман Н. «Где и что Липранди?...» Сб. «Пути в незнаемое». М., 1972 (имеются переиздания); А. Возный Петрашевский и царская тайная полиция. Киев, 1985.

ный (надо думать, не без сожаления) расстаться с молодым и подающим надежды подполковником Липранди после одной из его многочисленных дуэлей (в результате чего указанный подполковник и очутился в Кишиневе), конечно, не расчел, что через три с лишним десятилетия штабное начальство купит у Липранди несколько тысяч томов, «специально относящихся к Турции»: остатки этого уникального собрания (189 фолиантов с надписью «de Liprandi») обретаются ныне в независимом Ташкенте.

Существуют свидетельства (довольно серьезные), что он был принят в общество декабристов. Имеются подозрения (не столь положительные), что он это общество выдал. И то, и другое вспоминают обычно, когда речь заходит о его блестящих полицейских способностях.

«Он мне добрый приятель,— пишет Пушкин П. А. Вяземскому в январе 1822 года,— и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». Те, кто склонен рассматривать Липранди в качестве правительственного агента, искусно внедренного в среду южных оппозиционеров, могут лишь подивиться наивной доверчивости его бессарабского друга. Однако, как представляется, «верной порукой за честь и ум» Липранди служит не степень его отдаленности от власти (тем более что дистанция может меняться), а мнение самого Пушкина — его расположение, его дружество, его, наконец, писательский взгляд. (Известно, что Липранди, подсказавший автору «Выстрела» сюжет, был одновременно и прототипом Сильвио.)

Разыгрывал ли тридцатилетний, прошедший огонь и воду Липранди, роль демонического (с либеральным оттенком) героя? Имел ли он при этом в виду завоевать доверие опального поэта с тем, чтобы (как это можно заключить из некоторых ученых предположений) информировать начальство об увиденном и услышанном? Или Липранди в данном случае чист — он просто следовал естественному чувству приязни? «Чаще всего я видел Пушкина у Липранди...» — говорит современник. Пушкина — у Липранди, а не, положим, наоборот. Им было нескудно друг с другом.

Не следует забывать, что Липранди был не только храбр, но и чрезвычайно учен: знал многие (в том числе восточные) языки, обладал, как уже говорилось, громадной библиотекой, которая также в немалой мере влекла к себе Пушкина-книгогоча. Современник называет Липранди человеком вполне оригинальным «по острому уму и жизни». «Острый ум» сохранится надолго: в этом мы еще убедимся. Изменится жизнь; другим, возможно, станет взгляд на порядок вещей. Но кто бы осмелился утверждать, что Пушкин первого послания к Чаадаеву — тот же самый, что Пушкин «Капитанской дочки» или письма к тому же Чаадаеву, написанного (но не посланного) в день окончания означенного романа — 19 октября 1836 года?

«Где и что Липранди? — вопрошает Пушкин в 1823 году из Одессы.— Мне брюхом хочется видеть его» («Брюхом» здесь равнозначно: всей душой.) «Липранди обнимаю дружески...» — повторяет он в 1826-м.

Налагая сомнительную репутацию «позднего» Липранди на реальные обстоятельства начала 20-х годов, мы рискуем сильно ошибиться. Не лучше ли довериться моральной интуиции Пушкина, его человеческому и художническому чутью?

Будучи арестован как член Южного общества и доставленный в Петербург, Липранди проведет на гауптвахте всего месяц с небольшим, после чего получит «очистительный аттестат» и компенсацию за несправедливый арест — в виде годового полковничьего жалованья. Но в самом этом факте нет ничего «криминального». Документ «о непричастности», равно как и денежные вознаграждения, будет вручен многим, «проходившим по делу». (В 1849 году *выходного пособия* — правда, в очень скромных размерах — удостоится по освобождению из Петропавловской крепости и Михаил Михайлович Достоевский.) Это была обычная практика: власть находила способ извиниться перед напрасно обеспокоенными. (Даже перед теми, кто был обеспокоен не очень-то и напрасно, но, к счастью для них,— не уличен.) Да и трудно предположить, чтобы пра-

вительство исключительно ради того, чтобы не дать «засветиться» Липранди, разыграло весь этот дорогостоящий фарс.

Правда, для подкрепления все тех же подозрений ссылаются на «неясное сообщение» Н. С. Алексеева Пушкину от 30 октября 1826 года: «Липранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь открыто и, как другой Калиостро, Бог знает, откуда берет деньги». Но, во-первых, осмелимся мы возразить обвинителям, недавно полученное годовое жалованье — сумма немаленькая. А во-вторых, кто решится утверждать, что Липранди тратил все агентурные средства (то есть деньги, полученные им на военную разведку) исключительно по назначению? Звание «другого Калиостро» (ведь не называет же его Алексеев «другим Фуше») подразумевает некоторую свободу рук.

Кодекс дворянской чести ни в коей мере не возбранял секретно действовать на пользу возлюбленного отечества — в видах его безопасности внешней. Но тот же кодекс абсолютно исключал шпионство «внутреннее».

«Известный доносчик по делу Петрашевского» — так аттестовался шестидесятилетний отставной генерал в первом же выпуске «Колокола». (Подсчитано, что герценовское издание более 25 раз выступало «с изобличениями Липранди»: к этому мы еще вернемся.) Кличка осталась навеки. Из друзей Пушкина Ивану Петровичу повезло меньше всех.

Если бы Липранди в 1840 году не перебрался в Петербург (куда вместе с семейством въехал на четырех каретах: в них еле уместилась разросшаяся библиотека), тогда, возможно, дело Петрашевского приняло бы несколько иной оборот.

Иван Петрович снял генеральский мундир и в соответствии с Табелью о рангах обратился в действительного статского советника. Он был рекомендован министру внутренних дел Перовскому его коллегой, министром государственных имуществ П. Д. Киселевым. (Будучи в 20-е годы наместником Молдавии, тот, разумеется, хорошо знал Липранди.) Следует запомнить это имя: Павел Дмитриевич Киселев.

В министерстве Перовского на Липранди, помимо прочего, было возложено наблюдение за раскольниками и другими сектаторами, не одобряемыми как церковью, так и согласным с ней государством. Как всегда, он подойдет к порученной ему части в высшей степени капитально. (И прежде всего изучит *литературу*.) Вскоре, толкуя за чашкой чая с почтеннейшими из старообрядцев (в интересах дела Липранди сочтет возможным принимать их у себя), он будет поражать своих суровых гостей знанием предмета. Молва обвинит его в корысти: он якобы вымогал крупные взятки у богатых скопцов. И если, как утверждает та же молва, этому проницательному (сделавшему карьеру, но явно недовольному ее мизерабельностью) статскому генералу грозило сенатское расследование, тогда вполне понятен его разыскательский пыл. Удачно проведенное политическое дело списывало все грехи.

Значит ли это, что «Сильвио» затеял петрашевскую историю из личных видов? И что главный виновник драмы, сокрушивший Достоевского и его друзей, именно он?

До последнего времени это считалось бесспорным.

### *«Государь узнал через баб...»*

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится архивная папка в бумажной обложке: шестьдесят четыре шитых вместе листа. Папка озаглавлена: «Липранди Иван Петрович. Введение по делу Петрашевского. (Краткое изложение: каким образом возникло дело Буташевича-Петрашевского; как велось и какой имело исход. С примечаниями.) Секретно». На последней странице этого белого списка с авторскими поправками и вставками значится подпись-автограф: *Липранди*. (ОР РГБ, ф. 203, п. 221, ед. хр. 3.)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Архивная ссылка дается только при первом упоминании документа; последующие ссылки опускаются.

Поразительно, что во всей обширной литературе о петрашевцах практически нет ссылок на этот архивный документ (хотя на существование такого источника В. С. Нечаева указала еще в 1939 году). Меж тем он проливает неожиданный свет на скрытые обстоятельства занимающего нас политического процесса.

«Введение по делу Петрашевского...» — не служебный отчет (автор давно в отставке) и не дневниковые записи «для себя». Это своего рода мемуар. Причем единственный, исходящий «с той стороны»: то есть со стороны власти.

Чтобы узнать правду, имеет смысл выслушать всех.

Петрашевский привлек к себе внимание высокого начальства в марте 1848 года, когда помещики Санкт-Петербургской губернии съехались в столицу для проведения обычных, разрешенных законом дворянских выборов (предводителя, его помощников и т. д.). Западная Европа уже была сотрясаема первыми порывами мятежа. В России, как всегда, *разговаривали*. Одни, пишет Липранди, «мечтали о какой-то «боярской думе», а другие <...> находили, что *конфедеративная система* более всего соответствует громадности России». (Достоевский, один из героев которого будет говорить о широте русского человека и необходимости его сузить, вряд ли догадывался, что эта интересная мысль распространяема и на наше государственное пространство.)

Петрашевский не шел так далеко. Его предложения были гораздо скромнее. Он отлитографировал (в виде небольшой брошюры в количестве 200—300 экземпляров) свою записку «О способах увеличения ценности дворянских и населенных имений». В записке самым приличным образом трактовался вопрос о необходимости даровать купеческому сословию право приобретать земли: этим до сих пор могло похвастать только благородное дворянство. Рискованнее была мысль предоставить в этой связи купцам голос в дворянских собраниях, а новоприобретенным крестьянам — право выкупаться на волю.

Сочинитель записки имел честное намерение изложить свои размышления устно — перед лицом, как правило, постоянно проживающих в Северной Пальмире местных землевладельцев. Однако губернский предводитель дворянства воспротивился этой полезной инициативе под тем предлогом, что подлежащие заботам администрации предметы не должны входить в круг обсуждения частных лиц. (Позднее автор склонялся к небесспорной гипотезе, что ему не было позволено выступить перед дворянами столичной губернии исключительно потому, что он явился в собрание без положенного мундира.) Тогда *огорченный литератор* (как впоследствии будет именовать Достоевский кое-кого из своих не сделавших литературной карьеры героев) щедро раздарил литографическим способом умноженный труд сотоварищам-дворянам и даже разослал его в другие губернии. После чего раздраженная власть обратила свои взоры на непрощеного советчика и прожектера.

«...Когда полицейские донесли министру (внутренних дел.— И. В.), что в столице имеет хождение «возмутительная прокламация»... Перовский понял, что это, возможно, и есть именно то «дело», благодаря которому можно повысить свой авторитет у государя», — пишет А. Ф. Возный, который тщательным образом исследовал именно негласную сторону вопроса.

Итак, «полицейские донесли министру»: тот, разумеется, поспешил дать ход этой информации. Ибо не сомневался, что «записка Петрашевского привлечет пристальное внимание царя, если о ней умело доложить». (Царь пока — в полном неведении.) Схема «раскрутки» дела проста: соответствующим образом препарированные сведения идут *снизу вверх*. После чего, естественно, следует грозная высочайшая резолюция.

Б. Ф. Егоров, автор одного из лучших и самых капитальных трудов о петрашевцах, говорит: «более чем вероятно справедливость слухов» о том, что Липранди «предложил своему начальнику Перовскому блистательную операцию, которая вырвала прежде всего из беды самого Липранди». А кроме того, «наносила большой моральный урон III Отделению». Во всех случаях Липранди выступает как *главный инициатор* дела, подтверждая полученное им от Герцена презрительное клеймо.

Выслушаем теперь самого Липранди. Его версия несколько отличается от той, которая признана всеми.

Иван Петрович описывает один из дней в начале марта 1848 года — свой обычный (до полудня) доклад у министра внутренних дел. Закончив он, Липранди взял было шляпу и хотел направиться к выходу, «как вдруг Лев Алексеевич (т. е. Перовский. — *И. В.*) воротил меня и приказал опять сесть на обычном месте, через стол от себя». Изобразив этот несложный маневр, Липранди спешит объяснить, чем вызвана его топографическая дотошность: «Я должен войти в некоторые подробности, которые, хотя при первом взгляде и ничтожны, но они имеют большое влияние для разъяснения дела Петрашевского, и можно сказать, что были главным виновником оного».

Но зачем вообще, через столько лет после описываемых событий, автор «Введения...» взялся за этот труд? Вряд ли он преследует цель вернуться на государственную службу (ему уже далеко за семьдесят). Нет; он желает оправдаться в *глазах потомства*.

Итак, министр вновь усаживает докладчика за свой письменный стол и осведомляется: не слышал ли Иван Петрович о розданной вчера вечером в дворянском собрании литографированной записке *сомнительного* содержания («собственное выражение» министра, подчеркивает автор). Ничего не ведающий Липранди отвечает в отрицательном смысле. «Тогда Лев Алексеевич сказал мне: «Алексей Федорович (граф Орлов) приезжал сегодня в девять часов чрезвычайно расстроенный. Государь узнал через баб о розданной вчера записке (упомянутой) и спросил его; он ничего не знал».

Таким образом, выясняется исключительно важное обстоятельство: оно сильно меняет привычную историческую картину.

Отнюдь не чиновники полицейских (или каких-либо иных) ведомств донесли государю о случившемся. Нет, они не обмолвились об этом ни словом. (Что, конечно, вряд ли их украшает.) Государь получил собственную информацию — «через баб». Формула несколько загадочная, но естественно предположить, что «бабы» были самого высшего толка. (Фрейлины? Ближайшее окружение императрицы?) Узнали они о демарше Петрашевского, надо думать, все-таки от мужчин — поклонников, кавалеров, мужей. Трудно представить, чтобы Петрашевский, следуя манере всех опытных интриганов, действовал непосредственно через дам. (Великосветские салоны Петербурга, увы, недоступны для него.)

«Ищите женщину!» — гласит народная (хотя и французского происхождения) мудрость. Что ж: женщины стоят у истоков этой политической драмы. Вернее, способствуют рождению таковой. Женские пересуды доходят до августейших ушей: тотчас — по августейшей же воле — начинает крутиться скрипучее государственное колесо.

«...В 1848 году граф Перовский напал на след тайного общества...» — говорит близкий ко двору генерал-адъютант Ридигер. Он, как и все, заблуждается: на след напал сам государь.

Когда император осведомился о происшествии у начальника тайной полиции, тот не мог удовлетворить любопытство монарха.

«Граф Орлов, — поделится год спустя Петрашевский с приставленным к нему полицейским агентом (чье донесение Липранди аккуратно воспроизведет в своем докладе Перовскому), — обладает какой-то обворожительностью, и поэтому он (т. е. Петрашевский. — *И. В.*) сильно подозревает, что Граф очень хитрый человек и нарочно разыгрывает роль сибарита, подобно Кн. Потемкину, чтобы лучше замаскировать себя».

Сравнение с Потемкиным не случайно: граф Алексей Федорович — друг (если у царей бывают друзья) и любимец государя. 14 декабря 1825 года на Сенатской он повел свою кавалерию против инсургентов (среди которых мог оказаться его собственный брат, Михаил Орлов, знаменитый тем, что в 1814 году принял капитуляцию Парижа). С тех пор его карьера была обеспечена.

«Государь пугнул, — продолжает Перовский свой рассказ внимательно

слушающему его Липранди, — и он (т. е. граф А. Ф. Орлов. — *И. В.*) тотчас отправился в отделение (III) и там Дубельт ничего не слышал...». И это-то в учреждении, от глаз и ушей которого, казалось бы, не должно ускользнуть ничего! В свою очередь, сильно обеспокоенный Дубельт обращается к коллегам — в Министерство внутренних дел: ведь надо что-то докладывать государю. Однако и Перовский тоже в полном неведении: «хотя, пожалуй, я и должен бы был знать прежде всех, как министр внутренних дел», но (не без скрытой горечи добавляет он) «теперь тайная полиция эту часть отобрала к себе, а потому я могу войти в это дело тогда только, когда оно дойдет ко мне официальным путем».

Чуткий Липранди прекрасно понимает намек. Если тайная полиция, призванная быть скорым орудием государя, по каким-то причинам замедлила с исполнением, ее функции должна взять на себя полиция общая: на первых порах хотя бы неофициально.

Итак, лучшие силы двух самых могущественных учреждений империи брошены на поиск бумаги, которую, собственно, никто и не думал скрывать. Все это выглядит очень по-русски.

Через несколько часов записка Петрашевского окажется на столе у Липранди. Ему не придется употреблять для этого никаких особых сыскных усилий. Просто он позаимствует два экземпляра от бывших у него в тот вечер гостей. Поработав немного с текстом (а именно, сделав выразительные подчеркивания карандашом), Иван Петрович в девять утра доставляет свою добычу непосредственному начальству. Торжествующий министр тотчас отсылает сочинение Петрашевского к графу Орлову, который как раз в это время находится с докладом в Зимнем дворце. И графу ничего не остается, как доложить императору о чужом успехе. Не исключено, что Перовский присовокупил к посылке соответствующую записку, где было отмечено усердие того, кто первым сумел заполучить документ. Таким образом, скромный подвиг Липранди был замечен на самом верху.

О неослабном высочайшем интересе к предмету свидетельствует то обстоятельство, что, как особо подчеркивает Иван Петрович, за ним один за другим отряжаются *три курьера*. (На эту, подмеченную еще Хлестаковым, связь между количеством курьеров и объемом собственной значимости Липранди будет указывать и в дальнейшем.) Разыскиваемый меж тем проводит время в гостях: послав за вицмундиром и шляпой, он спешит явиться на зов. Его вводят в кабинет Перовского без доклада — так было велено нетерпеливым министром.

Иван Петрович мог чувствовать себя героем дня.

### *Сцены у государственного камина*

«Когда я вошел в кабинет, министр и граф стояли у камина, и оба сделали несколько шагов мне навстречу, — продолжает Липранди, зорко фиксируя ободриательные телодвижения начальства. — Последний (т. е. А. Ф. Орлов. — *И. В.*) сказал, что доставленная мною записка Петрашевского весьма сомнительного направления и, чтобы узнать, что за личность Петрашевский, Государь приказал мне вместе с Львом Алексеевичем посоветоваться, как бы поосторожнее приступить для собрания сведений, как о личности Петрашевского, так и о его связях и знакомстве...».

«Записка эта была первой, достигнувшей до Государя», — со сдержанной гордостью (в сноске) добавляет Липранди.

Убедимся еще раз: инициатива исходит сверху. Именно от государя — сверху вниз (а не наоборот!) движется тревожный сигнал. Это заставляет двух «силовых министров» — Перовского и графа Орлова — проявить повышенный полицейский азарт. Но поскольку первые достоверные сведения об оглашенном «через баб» документе стали известны царю благодаря расторопности одного из чиновников Министерства внутренних дел, государь мягко рекомендует начальнику III Отделения, чьей компетенции должно бы подлежать это явно политическое по своему характеру дело, советоваться с коллегой. Липранди не скрывает, что его непосредственному начальнику весьма по душе такое раз-

витие сюжета. Тем более когда выясняется, что именно ведомству Перовского велено озаботиться производением дальнейших открытий.

Липранди так передает слова графа Орлова: «мы (то есть оба министра.— И. В.) решили возложить собрание этих сведений на вас». Само собой, при соблюдении глубочайшей тайны. При этом граф Алексей Федорович, положив свою руку на плечо Липранди (который, разумеется, не может не довести до сведения потомства этот доверительный жест), интимно добавляет: «*чтоб и мои не знали*». Иными словами — чтобы в тайну не смело проникнуть даже вверенное графу Орлову III Отделение, в том числе высшие его чины: «...Забудьте свое старое сослуживство с Дубельтом, иначе может встретиться столкновение и сведения перепутаются». Граф-сибарит предпочитает чистоту жанра.

Нередко высказывается недоумение, почему глава тайной полиции с такой легкостью уступил это дело потенциальному конкуренту. Однако в марте 1848 года предмет не кажется столь серьезным. Занятие им не сулит особенных лавров. Распространяемая в публике (вполне легально) записка Петрашевского аттестована как «сомнительная», не более. О «пятницах» толком еще ничего не известно: их характер совершенно не ясен властям. Шеф жандармов, у которого с наступлением 1848 года явно прибавилось хлопот, не расположено взваливать на себя дополнительную обузу. В то же время, отчески выводя вверенное ему ведомство из игры, он сам вовсе не утрачивает доверия государя. Позиция «над схваткой» наиболее предпочтительна для него. Поэтому на следующий день, когда, если верить Липранди, Дубельт наконец-то доставил графу злополучную литографированную записку, тот «приказал ему оставить это без внимания».

Уверенность в том, что дело Петрашевского было «раскручено» Перовским с целью уязвить и унижить графа А. Ф. Орлова, высказывалась давно. В 1908 году в бумагах историка Ж. Мишле была обнаружена статья, посвященная делу петрашевцев и предназначенная для одного французского издания. Статья была приписана автору «Былого и дум». В 1919 году М. Н. Лемке напечатал статью в герценовском собрании сочинений. Исследователи, как водится, хвалили блестящий герценовский слог и умение автора проникать в дворцовые тайны. Литературная репутация Герцена немало способствовала тому, что «факты», изложенные в статье, благополучно перекочевали в позднейшую историографическую традицию.

Со временем выяснилось, однако, что текст статьи принадлежит другому изгнаннику — В. А. Энгельсону (кстати, соученику Петрашевского по Александровскому лицезу). Он посещал «пятницы» в Коломне лишь в самом их начале, в 1845 году. В 1849-м он был допрошен и отпущен без всяких дальнейших последствий. Вскоре Энгельсон эмигрировал. Статью свою, содержащую довольно много фактических ошибок, он написал в 1851 году. В ней, несомненно, отразились те толки, которые были зафиксированы позднее в воспоминаниях генерал-майора П. А. Кузьмина и в записках А. Д. Шумахера и Ф. Н. Львова. Источники, которыми пользовались все эти лица, не вполне ясны. Есть основания полагать, что это именно *слухи*. Тем не менее *версия* обрела солидный научный авторитет.

«В 1848 году, — пишет Энгельсон (и это сущая правда), — министр внутренних дел получил уведомление о поведении Петрашевского». О дальнейшем ходе событий сказано так: «Счастливым своим открытием, Перовский докладывает о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции, графу Орлову? Боже сохрани! Он потерял бы тогда отличный случай доказать царю, что тайная полиция состоит из ничтожеству. Перовский хочет оставить себе одному честь спасения отечества. Поэтому граф Орлов в течение шести месяцев не знает об этом большом деле; Перовский потирает себе руки и ухмыляется».

Картина выразительная, но весьма далекая от того, что происходило на самом деле. Приходится больше верить тому, кто оказался в самом центре событий.



«...Мысль, что дело Петрашевского выкопано и развито *в пику* графу (ныне князю) Орлову,— пишет Липранди,— с целью показать ничтожность тайной полиции, есть совершенно несправедливая и ни на чем не основанная». Знающий всю подноготную, он настаивает на том, что «наблюдение, а потом расследование означенного дела происходило *с начала до конца по взаимному совету* графа Орлова и бывшего министра внутренних дел Перовского, как лиц, стоявших по званиям своим на страже спокойствия государства, из коих один, как шеф корпуса жандармов, а другой, как генерал-полицмейстер государства». Поэтому все действия относительно Петрашевского и его друзей «единодушно направлялись помянутыми сановниками, и им обоим я представлял свои донесения...»

Донесения таким образом следовали *в два адреса*: неясно, правда, в одной ли редакции. (То есть, например, считали ли нужным Липранди доводить до сведения Орлова слова Петрашевского о графе-сибарите?)

Конечно, потом, когда ситуация обострится, III Отделение, возможно, и захочет принять главные труды на себя. Но сделать это будет уже неудобно: коней на переправе не меняют.

Итак, сведения о Петрашевском были доложены государю. Последствия сего сказались незамедлительно. Иван Петрович Липранди был срочно (в 11 часов вечера!) потребован к своему министру. Там он вновь застал графа Орлова, который объявил ему, что доставленные им сведения обратили внимание государя на Петрашевского, и государь повелел «устроить уже настоящий тайный надзор». Во исполнение высочайшей воли оба министра порешили возложить эту миссию на удачливого Ивана Петровича. Липранди, по его словам, стал почтительно возражать, ссылаясь на неопытность свою в подобных делах и предостерегая, что может «сделать упущения» и т. д. «Но на все это граф сказал: «За это отвечать будем уже мы с Львом Алексеевичем, а я скажу вам более, что на это есть воля Государя: он вспомнил, что вы управляли делами высшей заграничной тайной полиции во время турецкой войны и прежде».

Иными словами, отставного генерал-майора призывали не как собеседника на пир, но — в качестве *специалиста*. Насколько соответствовал он этой прагматической роли?

### *К метаморфозам романтического героя*

...До последнего времени существовало предание (весьма, положим, сомнительное), что азам полицейской науки Липранди обучился в Париже, пребывая там в 1814—1816 гг. в составе русских войск.

Но, напоминая о его специальных заслугах, царь понимает, конечно, не его парижские подвиги (о которых, в случае, если бы даже они действительно были совершены, *этот* государь может просто не знать). Под «и раньше» скорее подразумевается деятельность Липранди в Бессарабии и ее окрестностях. Что же касается турецкой кампании 1828—1829 годов, то как раз накануне ее тонкому знатоку Востока удалось подкупить крупнейших турецких чиновников и добыть ценнейшую информацию военного и дипломатического порядка. Составив затем записку «О средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции», Липранди был поставлен во главе этого малозаметного ведомства. В то время в России место начальника внешней разведки было не столь значительно, как позднее. Во всяком случае, оно вполне сопоставимо с должностью чиновника по особым поручениям при министре Перовском, которую Липранди, давно оставивший военную службу, благополучно исправлял в 1848 году.

Два момента обращают на себя внимание в записках Липранди. Во-первых, он всячески дает понять, что вовсе не был вдохновителем дела. Он лишь — по чистой, в общем, случайности — первым сумел доставить властям заинтересовавший их документ. А во-вторых (и это, пожалуй, главное), автор настаивает на том, что, видя, как дело «начало входить в колею серьезного политического значения», он пытается отказаться от порученной ему комиссии. И лишь твердое сознание служебного долга и мысль, что таково желание государя, двигают его на дальнейшие разыскания.

Не он, а некто повыше был зачинщиком этого дела; не он его обнаружил; не он донес. Иван Петрович не желает выглядеть негодяем в глазах разборчивого потомства.

Какова достоверность того, на чем настаивает Липранди? В какой мере можно верить его словам?

Конечно, у престарелого генерал-майора были основания не выпячивать свою роль. Он отказывается *от авторства*. Но отнюдь не от чести исполнения: здесь он высоко ценит собственные заслуги. С другой стороны, нет никаких фактических данных, которые противоречили бы версии Липранди. Ни в одном официальном документе не сказано, что именно он был «возбудителем» дела. Более того, весь ход дальнейших событий скорее подтверждает, нежели опровергает свидетельство, что главным заказчиком пьесы был сам государь.

...Достоевский переживет Липранди всего на полгода с небольшим. Тот скончается 9 мая 1880 года, на девяностом году жизни, как сказано — месяц не дожив до Пушкинской речи. Бывший его поднадзорный будет увенчан лаврами без него. Мы не знаем, что Липранди думал о человеке, который некогда занимал его служебное время и кого он жаждал предать в руки скорого и праведного суда.

Да и Достоевский только однажды, вскользь, упомянет Липранди. Хотя, вне всякого сомнения, он был знаком с его сочинениями — и по зарубежной «Полярной звезде», и по отечественным изданиям, где в публикуемых об их деле документах поминалось его, Достоевского, имя. Вряд ли они когда-нибудь встречались.

Автор «Бесов», как принято считать, пережил глубокий духовный переворот. Трудно сказать, совершилось ли нечто подобное с Липранди. Но и он, в свою очередь, проделал не менее фантастический (хотя и мало кем замеченный) путь: от таинственного романтического героя до усерднейшего столичного бюрократа — тоже, правда, не без некоторого оттенка тайны. «Где и что Липранди?» — «Липранди тебе кланяется...»: возможно ли в 1848 году такое безмятежное *ауканье душ*? Да и кому *теперешний* Липранди мог посылать свой дружеский привет? Близкий приятель автора «Вольности», его сотрапезник и confident, он стал незримым гонителем того, кто пребывал с Пушкиным в нерасторжимом духовном родстве. Интересно, что сказал бы поэт о таких удивительных превращениях...

Он совершить мог грозный путь,  
Дабы последний раз вздохнуть  
В виду торжественных трофеев,  
Как наш Кутузов иль Нельсон,  
Иль в ссылке, как Наполеон,  
Иль быть повешен, как Рылеев.

Липранди, человек положительный, избрал другую судьбу.

Поначалу Липранди решил ограничиться внешним наблюдением. Однако дислоцированные напротив квартиры Петрашевского извозчики, готовые за самую умеренную плату (разница, очевидно, покрывалась из сумм Министерства внутренних дел) развозить выходивших из дома господ, не были настолько сведущи в предмете, чтобы толком изложить содержание их затейливых ночных разговоров.

Надобен был хороший агент.

### Глава 3. «ЖАР ГИБЕЛИ СВИРЕПЫЙ...»

#### Тайный агент

О. Ф. Миллер — очевидно, со слов самого Достоевского — говорит, что тот сразу же заподозрил Антонелли. Возможно, Достоевскому действительно так казалось — задним числом. Из материалов же самого дела явствует, что он высказывал сомнения относительно сибиряка Черношвитова. Замечательно,

что автора «Двойника» прежде всего смутила слишком самобытная речь подозреваемого лица («этот человек говорит по-русски, как Гоголь пишет»).

В отличие от Черносвитова Антонелли ни у кого не вызывал особой настороженности. Поговаривали, что он пытался подвизаться на сцене, но без успеха. Теперь ему выдался случай доказать, что он — подлинный лицедей.

«Гаденький чиновник с итальянской фамилией так и смотрел известным отделением...» — скажет в своем романе «Итоги века» П. М. Ковалевский. Он будет опубликован в «Вестнике Европы» в 1883 году. Сравнение неудачно: Антонелли не был агентом Дубельта. Он был востребован Министерством внутренних дел.

Антонелли — первый в отечественной истории (или, во всяком случае, в истории «освободительного движения») *профессиональный* агент, то есть агент, целенаправленно внедренный правительством в злонамеренную среду и доставивший информацию, которая позволила возбудить уголовное дело.

Позже Липранди заметит, что мало было ввести в собрание человека благонамеренного: «...Агент этот должен был сверх того стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить...» (Иными словами, требовался образовательный ценз.) Неискушенный дебютант должен был обрести «руководителя более опытного». Каковым, разумеется, стал сам Иван Петрович.

В январе 1849-го Липранди спешит обрадовать своего министра: найденный и испытанный им молодой человек (которого он ни разу не называет по имени, а нарекает Агентом 1) «оказался весьма способным на это дело и согласился принять его на себя». Но, разумеется, «с условием, чтобы имя его не сделалось гласным». Липранди не замедлил уверить молодого идеалиста, «что Правительство не оставит его без вознаграждения, по мере заслуг». То есть гарантии Антонелли были даны.

И тут выясняется: инициатива вновь исходит с державных высот.

В «Введении по делу Петрашевского...» Липранди решает признаться в том, о чем умалчивал раньше: «Наконец, мне передана была высочайшая воля употребить все средства ввести агента на эти вечера».

Итак, тайного вторжения требует сам государь. Он продолжает зорко следить за ходом событий, не брезгуя никакими подробностями и определяя характер игры. Он понимает, что необходим шпион. Антонелли вызван к исторической жизни именно им.

«Сын живописца» (читай: действительного академика живописи), 23-летний не закончивший курса студент, обладал двумя важными преимуществами: обширной памятью и нескудным слогом. Первое позволяло ему не растерять информацию; второе — прилично изложить ее на бумаге. Что он и делает регулярно — с января по апрель 1849 года.

Донесения Антонелли — Липранди (в их дуэте неожиданно прорывается высокий оперный звук!) читаются с истинным интересом.

Спешно устроенный в тот департамент, где служил Петрашевский, Антонелли без особого труда знакомится с «известным лицом» (так будет именоваться в его отчетах объект наблюдения). Вскоре они сходятся короче.

«Известное лицо» было природным пропагатором: Антонелли сыграт именно на этой струне. Он принимает роль неопита, жаждущего приобщиться к откровениям новой веры. Он следует за Петрашевским по пятам: посещает его в утренние часы; жертвуя молодым здоровьем, коротает с ним ночи за домино, обедает с ним в ресторациях и т. д. Порою в пылу беседы Антонелли тайно любуется своим поднадзорным: в одном из отчетов он с чувством упомянет о его прекрасном лице.

Одновременно выясняется круг знакомств.

### *До и после полуночи*

1 марта 1849 г. впервые называется *имя*. Сообщается, что «известное лицо заходило к Достоевскому», и в скобках указывается род занятий: «сочинителю».

5 марта следует развитие темы. «Известное лицо» повествует внимательному слушателю о своем споре с братьями Достоевскими: оба последних упрекаются «в манере писания». (Позднее один из братьев попытается уверить следствие, что такого рода разговорами и ограничивалось их участие в деле.)

Между тем время идет — и Липранди начинает беспокоиться: его агент приглашает к Петрашевскому во все дни недели, помимо пятницы. Вернее, вхож он и по пятницам, но — исключительно в утренние часы, когда, терзаемый любопытством, вынужден молча наблюдать распоряжения, отдаваемые мальчишке-слуге относительно покупки на вечер свечей, лампового масла и возобновления запасов вина. Приказы эти воспринимаются томящимся Антонелли как серьезные военные приготовления.

Позже, уже в Сибири, пытаюсь восстановить в памяти все обстоятельства дела, Петрашевский и Львов придут к заключению, что шпион был введен на вечера учителем русской словесности Феликсом Толлем, «человеком доверчивым». Однако сам Антонелли придерживался иного взгляда.

Он явился к Петрашевскому незванным — в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера. Парадный подъезд был заперт; не растерявшись, агент идет с черной лестницы. Он застаёт общество врасплох — человек десять мирно беседуют за столом. Будучи высокого мнения о сокрытых в нем дарованиях, отважный визитер не пожалеет красок, чтобы описать Липранди свой актерский триумф. Он изображает сцену, чем-то напоминающую известную картину В. М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»: смятение якобы пораженного его визитом хозяина; шепоты в кабинете; косые взгляды гостей. Любимой кистью живописует он свое натуральное простодушие и светскую развязность, которые в конце концов вознаграждаются тем, что первоначальная настроенность сменяется всеобщей приязнью.

Роль самого Липранди в этой операции тоже не столь мала. Он спешит поведать Перовскому, что, получив в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера «сведения от *Агента 2-го* (очевидно, наружное наблюдение.— *И. В.*), что к *Петрашевскому* собралось уже около 10 человек, я тотчас сообщил это *Агенту 1-му*, а он немедленно отправился к *Петрашевскому*». Нельзя не признать, что, несмотря на медленность тогдашних сношений, система действует безотказно.

Достоевский на вечере отсутствует. Он будет отсутствовать и на следующей «пятнице» — вплоть до 1 апреля. И лишь 15 апреля, когда будет прочитано вслух письмо Белинского к Гоголю, Антонелли обратит сугубое внимание на чтеца.

Итак, 15 апреля Достоевский читает Письмо.

В том тексте приговора, который будет опубликован в печати, сделана одна малозаметная, но в высшей степени деликатная поправка. Из текста исчезает имя Белинского: речь идет лишь о письме «одного частного лица». (Это было первое публичное *неупоминание*: запрет сохранится до 1855 года — вплоть до кончины Незабвенного.) Не будет упомянут и адресат письма. Во-первых, он еще здравствует; во-вторых, не несет ответственности за безумные речи своего покойного корреспондента. И, наконец, в-третьих — и это, пожалуй, самое главное, — у начальства нет ни малейшей охоты впутывать в историю самое знаменитое в России литературное имя.

Чтение письма Белинского к Гоголю — единственное «официальное» выступление Достоевского на «пятницах» в Коломне. И фактически — единственная против него серьезная улика. (О втором обвинении будет сказано ниже.)

Он был молчалив, но когда одушевлялся, говорил замечательно. Недаром его одноделец свидетельствует, что «страстная натура» Достоевского производила на слушателей «ошеломляющее действие». Именно такое действие производило чтение письма Белинского к Гоголю (что довольно живо изобразил Антонелли, упорно именующий оратора *Петром*: просвещенный Липранди собственноручно исправит ошибку). Достоевский мог уверять Комиссию, что оглашенный им документ занимал его исключительно как достойный внимания ли-

тературный памятник, который «никого не может привести в соблазн»; что при чтении письма сам чтец ни жестом, ни голосом не обнаружил своего одобрения. Все эти оправдания были излишни: текст говорил сам за себя<sup>1</sup>. И власть отреагировала так, как того и следовало ожидать: она отомстила мертвому автору, покая живых.

В подлинном приговоре военно-судной комиссии (еще не отредактированном для печати) сказано, что Достоевский подлежит смертной казни расстрелянием «за недонесение о распространении... письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева». В формулировке этой содержится ряд несообразностей.

Строго говоря, «недонесение о распространении» приложимо лишь к «Солдатской беседе» Григорьева. Что же касается «письма литератора Белинского», то упрек в недонесении нелеп, ибо автор послания давно в могиле, а распространителем письма являлся не кто иной, как сам обвиняемый. Ему-то, очевидно, и предлагалось донести на самого себя!

Кроме того, смертная казнь «за недонесение» не вполне адекватная мера: даже с точки зрения военно-полевой юстиции. Не потому ли в окончательном виде формула виновности несколько изменена: тонкость, на которую до сих пор не обращали внимания.

Генерал-аудиториат постановил так: «за... участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского... и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии...».

Это звучит уже гораздо солиднее.

### *Раскол в нигилистах*

Вопрос о заведении домашней литографии возник в кружке, который как бы откололся от общих сходбиц в Коломне и зажил самостоятельной жизнью. Это произошло в самом конце зимы 1849 года.

«...Мы выбирали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского» — так определил критерий отбора один из посетителей новых — субботних — собраний у Дурова. Сам хозяин дома воспретствовал «официальному» приглашению Петрашевского: тот, по его мнению, «как бык уперся в философию и политику» и не понимает «изящных искусств». Впрочем, это еще далеко не разрыв: отец-основатель посещает Дурова в «неприемные» дни, а дуровцы по-прежнему вхожи на его «пятницы».

Из попавших в руки властей бумаг Александра Пальма особое внимание привлекла та, где были означены пятнадцать человек: участники вечеров, о которых следствие пока оставалось в полном неведении. «Запись взносов посетителей» — так называется *документ*. Согласно ему Достоевский замедлил с внесением месячной платы, которая для каждого из участников составляла посылить три рубля. (Что неудивительно, если принять во внимание его отчаянные письма к Краевскому, как раз приходящиеся на февраль, март и апрель, с просьбами о денежной помощи.)

Достоевский в своих показаниях говорит, что сходились у Дурова потому, что «каждый из нас был стеснен у себя дома — брат семейством, я и Плещеев теснотою квартиры, а следственно мы и не могли принимать гостей в свою очередь». Дуров, заметим, не скучал в одиночестве: с ним вместе квартировали Щелков и Пальм.

Законопослушный Милюков полагает, что у Дурова собиралась «кучка молодежи более умеренной». На первый взгляд это выглядит действительно так. Недаром Достоевский рисует на следствии столь же благостную картину: «Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели...»

<sup>1</sup> Список письма прислал из Москвы А. Н. Плещеев, который, натурально, объявит Комиссии, что нашел его в сундуке покойного дядюшки. Очевидно, этот документ, написанный еще летом 1847 года и ходивший в кругу друзей Белинского, не был знаком Достоевскому.

Позднейший воспоминатель, граф П. П. Семенов-Тянь-Шанский тоже упоминает о *целях*. Он говорит, что для Дурова революция (граф выражается именно так) «по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем». Иначе говоря, одному из участников дела приписан некий *личный* мотив. Это в высшей степени любопытно. Выходит, что Дуров печется не об осуществлении политических идеалов, а тщится изменить собственную судьбу, свое положение в мире...

Знал ли Достоевский, чьи предки долгое время обретались на территории Великого княжества Литовского, что небогатый дворянский род Дуровых тоже происходит из Литвы? Дуровы выдвинулись при Иване Грозном, который о них говаривал: «И развлечь сумеют, и тайну сохранят». Вряд ли Сергей Федорович Дуров был причастен той тайне, которая исподволь вызрела в недрах его кружка, но развлечь почтенную публику он старался. Среди его родственников (уже по нисходящей) окажутся те, кого любит народ: знаменитые дрессировщики — укротители зверей. Стоит ли удивляться, что будущий «Уголок Дурова» затмит совокупную славу всех российских интеллигентских кружков?

Дуров на пять лет старше Достоевского. Недавно, в 1847-м, он, подобно братьям Достоевским, тоже вышел в отставку — дабы жить исключительно литературным трудом. Печатается он нерегулярно и мало. Рассчитывает ли он на то, что «революция» улучшит качество его стихотворных творений и откроет путь к славе? «Для него это тем более было необходимо,— продолжает Семенов-Тянь-Шанский,— что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка...»

Трудно сказать, на какие «безнравственные поступки» намекает осведомленный мемуарист. Но интересен ход его рассуждений. Если Дуров ждет от «революции» изменения своих частных обстоятельств, то чем, спрашивается, он лучше Липранди, который, если верить его недоброжелателям, инициировал политический процесс («контрреволюцию») с тем, чтобы найти в нем спасение от якобы грозивших ему служебных невзгод.

Сокрытые от любопытных глаз интересы личные могут порой повести к событиям историческим.

### *Под музыку России*

Достоевский и Дуров проведут бок о бок четыре года — на нарах омской каторжной тюрьмы. Они покинут ее в один день. Что-то тяжелое случится там между ними. Очевидец утверждает, что «они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собою ни единым словом». Возможно, свидетель преувеличивает. Но, во всяком случае, каторга не делает их *братьями*. «...Они оба пришли к заключению,— пишет знавший их обоих Семенов-Тянь-Шанский,— что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению».

Дело, очевидно, не только во вдруг открывшейся разности идеалов. Вряд ли черная кошка могла пробежать между двумя арестантами из-за несовпадений в трактовке тех или иных тонкостей гармоничной системы Фурье. Причина размолвки скорее всего в человеческом (может быть, даже «слишком человеческом») — в том, что всегда выступает на авансцену в ситуациях крайних — когда человек, освобождаясь от внешних покровов, становится не только более смертен, но и — душевно — более наг.

Но пока, на свободе, Достоевский поспешает на дуровские вечера. И затем, оказавшись в крепости, всячески выгораживает подельника.

«Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть ли

не наедине?» Автор показаний напоминает следователям, что на этот счет существуют тонкие юридические дефиниции. Частные разговоры не должны становиться предметом полицейского внимания, ибо «семейный и публичный человек — лица разные». Элементарнейшие правовые истины втолковываются Достоевским общедоступно, благожелательно, терпеливо. Допрашиваемый словно бы заранее «подстраховывает» себя и своих поделщиков от возводимых на них напраслин. «Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моем», — плавно заключает Достоевский.

Другие подследственные более откровенны.

На требование Комиссии открыть, по какому случаю проявилось у него либеральное или социальное направление, Н. Григорьев прямодушно отвечает: «Я прежде не ведал об этом, а узнал со времени моего знакомства с Достоевским, Дуровым и его кружком...» Сын генерал-майора, поручик лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, он склонен объяснить свое падение влиянием искусивших его лиц. «Видя во мне практика (он хочет сказать — военного? — *И. В.*), социалисты заманили меня... Потом меня закрутили. Плачевный конец вы знаете».

Достоевский никогда не будет объясняться с Комиссией в подобном роде.

Между тем в арестованных бумагах Пальма следствие обнаруживает еще один обличительный документ:

### *Расход на второй вечер*

3 марта

<i>Ужин</i>	3.
<i>Херес и медок<sup>1</sup></i>	3.20.
<i>Папиросы</i>	40.
<i>Чай и сахар</i>	1.25.
<i>Переноска фортепьян</i>	1.20.
<i>Свечи и табак</i>	85.
<i>Сухари</i>	30.
<i>Сливки</i>	10.
<i>Хлеб</i>	40.
<i>Лимон</i>	10.
<i>Салат</i>	25.
	11.05
	— 1.20
	9-85

Вещественная сторона духовных по преимуществу трапез (в коих принимает участие не менее пятнадцати человек) обходится крайне недорого: в каких-нибудь десять рублей.

Декабристы, если верить литературной традиции, предпочитали шампанское. Они толковали о политическом перевороте в России «между Лафитом и Клико». («...Вся будущность страны,— скажет Чаадаев,— в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми между трубкой и стаканом вина».) Дуровцы ограничиваются «хересом и медоком». Как свидетельствуют *улики*, их гастрономические потребности очень скромны.

Более состоятельный Петрашевский угощал гостей холодным ужином. Приемы у Дурова делались в складчину.

«...*Общество чисто литературно-музыкальное, и только литературно-музыкальное*», — усиленно втолковывает Комиссии Достоевский. «Переноска фортепьян — 1.20» — значится в приведенной выше и приобщенной к делу записи субботних расходов, что косвенно как бы подтверждает справедливость

<sup>1</sup> Это, очевидно, не уменьшительно-ласкательное от слова «мед», а название одного из сортов французских вин — Медок. — *И. В.*

его слов. (Не за эти ли фортепьяны присядет однажды заглянувший на огонек Глинка?)

Достоевский любил хорошую музыку.

Именно здесь, под звуки Россини, «бывший студент» Филиппов высказал мысль литографировать бесцензурно, а штабс-капитан и «репетитор химии» Львов предложил свои технические услуги.

Предложение Филиппова представлялось в высшей степени дерзким. И упоминание о нем (даже со всеми смягчающими оговорками) грозило виновным, и в первую голову самому Филиппову, серьезными неприятностями.

Интересно, что сам разговор возник не случайно. Об *умножении текстов* заговорили после прочтения все того же письма Белинского к Гоголю (оно читалось у Дурова дважды — еще до оглашения на «пятнице» 15 апреля).

Эпизод с литографией изложен в показаниях Достоевского и подтвержден другими участниками собраний. Факт этот вызывает недоумение. На всем протяжении следствия Достоевский придерживается железного правила: он никогда не говорит о том, о чем его не спрашивают. Он не называет ни одного имени, которое и без того не было бы известно следствию; он не касается ни одного сюжета, о котором господа члены Комиссии уже не были бы осведомлены.

Тщательно продуманная им тактика поведения исключает предположение, будто он мог «расколоться». Откуда тогда Комиссия узнала про литографию?

Об этом поведал ей не кто иной, как сам Павел Филиппов.

### *Цена графоманства*

Дело Филиппова утрачено. Но во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, где обобщены все следственные и судебные материалы, говорится: «Сам Филиппов с *первого допроса* (курсив наш. — И. В.), сделав сознание во всем вышеизложенном...», и т. д. Среди «вышеизложенного» наличествует и сюжет с литографией.

Далее. Свои показания Достоевский давал постепенно — в течение нескольких дней (большинство его ответов не датировано). В предварительном письменном объяснении, которое предшествовало формальному (по пунктам) допросу, он вообще ни слова не говорит о кружке Дурова, очевидно, полагая, что эта информация укрылась от любопытства Комиссии. Наконец, его спрашивают *напрямую* — и на это краткое вопрошение он отвечает весьма пространно. Сам характер его ответов свидетельствует о том, что все, о чем он счел нужным осведомить Комиссию (включая и эпизод с литографией), так или иначе фигурировало при *устных* расспросах. Отвечая письменно, он тщательнейшим образом учитывает содержание этих прелиминарных бесед.

Он знает, что они знают. И, стараясь не отрицать уже известные факты, он пытается дать этим фактам собственное истолкование.

В законе сказано: «Право содержать типографию или литографию не иначе может быть приобретено, как по представлении просителем достаточных свидетельств о его благонадежности. Свидетельства сии рассматривает Министерство внутренних дел и, в случае удовлетворительности оных, об открытии означенных заведений сносится с Министерством народного просвещения».

Между тем сведущий в прикладной учености Львов, исчислив цену литографического камня, заключил, что все предприятие может обойтись около двадцати рублей серебром. Достоевский при этом справедливо заметил, что присутствующие «незаметно уклонились в опасный путь и что он на это вовсе не согласен». Никто ему не противоречил.

Не одобрил идею и брат Михаил Михайлович. Он объявил, что не будет больше посещать Дурова, «если Филиппов не возьмет назад своего предложения».

«Наш государь милостив,— скажет Григорьев на следствии.— Он очень понимает, что между Петрашевским и М. Достоевским большая разница». Дол-



жен ли государь понимать то же самое относительно Федора Достоевского? Григорьев об этом умалчивает, но, очевидно, имеет в виду. Ибо «всему вина Петрашевский и Белинский». Что же касается остальных, то они далеко не безнадёжны. «Мы все заблуждающиеся, но честные люди». Григорьев, как бы для облегчения следовательских трудов, даже набрасывает краткий список тех, у кого, по его мнению, есть перспектива: «Повторяю, если б не Петрашевский, эти молодые люди, в особенности такие практические головы, как Достоевские, Монбелли (так в документе. — *И. В.*), Дуров и Милюков, помечтав, обратились бы на путь полезный и принесли б много пользы отечеству».

Достоевский великодушно отнесен здесь к разряду «практических голов». «Помечтав», он вполне еще может исправиться. Воззвав к милости государя, Григорьев уверяет монарха, что указанные лица показались ему, Григорьеву, «не злыми, не способными на *очень* дурное (курсив наш: на «просто дурное» способны, видимо, все. — *И. В.*), но любящими потолковать, поболтать, ругнуть подчас». И для искоренения подобных досад сын генерал-майора рекомендует простейшее средство: «Я полагаю, что если бы дать им ход, способ комфорта, из некоторых из них вышли бы деловые и верные тебе, государь, люди».

Увы: государь не внемлет этому доброжелательному совету. Ни «хода», ни «способов комфорта» никому предоставлено не будет.

Что же касается лично его, Григорьева, он согласен на малое: «Да, мои почтенные судьи, не для того, чтобы сидеть в каземате, я готовил себя. Теперь моллю только о свежем воздухе да клочке земли, где бы я мог жить и умереть спокойно, благословляя своего государя». «Свежий воздух и клочок земли» — во все не поэтическая метафора. Это — *подсказка*. Наивный, он полагает, что дело может закончиться ссылкой.

Тяга к писанию не сойдет ему с рук.

7 апреля на обеде у Спешнева поручик Григорьев огласит творение своего пера под названием «Солдатская беседа». Предназначенное как бы для «народного чтения», сочинение это очень напоминает другой, еще не написанный и скрытый в грядущем тексте. А именно — знаменитую прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»: за нее автора (впрочем, авторства своего не признававшего) на много лет упекут в Сибирь. Как и Чернышевский, Григорьев старается быть простым и доступным *каждому мужику*. Сходство заметно еще и в том, что оба сочинения, рассчитанные на читателей малограмотных, будут тщательно изучены говорящим по-французски начальством и дальше него не пойдут.

В «Солдатской беседе» употреблены выражения сильные: «Царь строит себе дворцы, да золотит б... да немцев». Великий князь Михаил Павлович именован «рыжей собакой». Сам государь изображен в качестве держиморды, который гоняется «за солдатиками» по кабакам и собственноручно тузит подвыпивших служивых.

Император Николай Павлович был в этом отношении весьма щекотлив. Григорьева в числе первых трех привяжут к столбам, после чего он (как и другой офицер — поручик Монбелли) получит свои пятнадцать лет.

Милюков через три десятилетия припомнит, что к григорьевской «статье», где излагался известный в городе анекдот, Достоевский «отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы».

Достоевский верен себе: в сочинении абсолютно нецензурном он находит литературные изъяны. Видимо, он не слишком лукавит, заявив следователям, что впечатление от статьи «было ничтожное» и что если кто-нибудь и сказал несколько одобрительных слов, то исключительно из учтивости. Да и трудно ожидать, чтобы автором «Бедных людей» было одобрено сочинение, которое начинается фразой: «Жестокий мороз трещал на улице». (Что легко заменимо еще более емким «Мороз крепчал».) Вряд ли его привлекала возможность начать великое дело переустройства России с обнародования подобной прозы.

Итак, версия самого Достоевского такова: предложение Филиппова было необдуманно и случайно. Оно не имело никаких дурных результатов. Сам же

он, Достоевский, действуя «легкой насмешкой», споспешествовал тому, чтобы это предложение было окончательно «откинуто».

Однако имеется свидетельство совершенно иного рода.

### *Ночной визит к Аполлону Майкову*

...В 1922 году был впервые обнародован документ, который не вызвал тогда особой сенсации: надо полагать, потому, что само время было чревато гораздо более сильными потрясениями. Речь идет о письме поэта Аполлона Николаевича Майкова историку литературы Павлу Александровичу Висковатову. (Кстати, тому самому, на которого *как на источник* ссылается Страхов, повеоря Л. Толстому знаменитую (в будущем) сплетню о растлении Достоевским малолетней девочки.) Письмо было написано через четыре года после смерти Достоевского — в 1885 году. Майков не отправил это послание адресату, и оно почти четыре десятилетия дождалось своего часа.

Повод к написанию письма оказался сугубо культурного свойства. «Жид Венгеров» (как изящно выражается Майков) в своей «Истории русской литературы» имел неосторожность упомянуть о молодости поэта. Этот *неуч и сукин сын*, жалуется Майков другому знатоку отечественной словесности, «говорят, написал, что я участвовал в деле Петрашевского и изменил потом его святым принципам». Такое искажение исторической правды глубоко возмутило 64-летнего Майкова. Может быть, именно поэтому он решился нарушить (правда, в частном и, повторим, так и не отосланном письме) данный когда-то обет молчания.

«К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний. Все вздор, главное, что в нем было серьезного, до Комиссии не дошло».

Русские тайны остаются мало что не разгаданными: даже о самом их наличии ни современники, ни потомки порой не имеют понятия. В 1885 году Майков приоткрывает завесу. Через тридцать шесть лет (в 1922-м) его письмо публикуют. Пройдет еще три десятилетия — и в бумагах поэта А. А. Голенищева-Кутузова обнаружат черновую тетрадь, содержащую сделанную в 1887 году карандашную запись. Это будет рассказ все того же Майкова, изложенный им ранее в письме к Висковатову, а через два года повторенный Голенищеву-Кутузову и тогда же записанный им.

В обоих документах речь идет об одном и том же: о намерении Достоевского в 1849 году учредить вместе с другими тайную типографию.

«Заводите типографии! Заводите типографии!» — этот обращенный к России глас раздастся из Лондона спустя почти полтора десятилетия после процесса петрашевцев. Правда, первый русский свободный станок заработает уже в 1853 году, но он будет действовать на чужбине.

Радищев печатал свою книгу открыто, хотя трудно понять, на что он рассчитывал. У декабристов был свой легальный альманах; они, кажется, не помышляли всерьез о тайной печати. Дело, в котором участвовал Достоевский, — первая в России попытка такого рода.

Она чуть было не увенчалась успехом.

Призванный в Следственную комиссию Аполлон Николаевич Майков не напрасно старался вызвать у ее членов чувство здоровой мужской солидарности, когда позволил себе игривую шутку относительно тех неудобств, которые мог бы претерпеть в будущем фаланстере, где все на виду, неженатый молодой человек, принимающий даму. (Бесхитростный прием удался: «общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне».) Сколь бы хотелось ему, чтобы вся беседа велась в таком же легкомысленном роде! Единственный (как он полагал) оставшийся на свободе *хранитель тайны*, он более всего опасался, что добродушно похохатывающие генералы, отсмеявшись, спросят его о разговоре, который состоялся у него с Достоевским той памятной ночью.

(Заметим в скобках, что решающие события в жизни Достоевского, начи-

ная с его дебюта, совершаются в ночное время. Он так и останется навсегда «совой», приурочив литературную работу к этим *своим* часам.)

Майков говорит, что Достоевский явился к нему «в возбужденном состоянии». И, как можно понять, не по одной только личной надобности. У него к хозяйину имелось «важное поручение». Время было позднее, и гость остался у Майкова ночевать.

По-доброму интригуя читателя, один исторический беллетрист (в одной из прежних книг почтительно названный нами Ч. Б., то есть Чувствительный биограф) так живописует сцену несостоявшегося майковского падения: «Только когда улеглись — Майков в своей кровати, Достоевский на диване напротив, — началось главное».

Главное заключалось в следующем.

Достоевский афилирует (или, выражаясь доступнее, вербует) Майкова: для успешной деятельности типографии потребны профессионалы. Причем не только «техники», но и литераторы. (Нет сомнений, что Майков выбран именно в этом качестве.) Называются имена семерых потенциальных типографов. Майкову предлагается быть *восьмым*.

Майков так передает слова Достоевского: «Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно».

«Для печатания разных книг *и даже журналов*» — цель поставлена именно так. То есть мог иметься в виду и бесцензурный периодический орган (первый в России подпольный журнал!). Весной 1847-го дебютировавший в «Санкт-Петербургских ведомостях» в качестве фельетониста Достоевский, как видим, готов продолжить журналистскую карьеру «записками из подполья» — разумеется, совсем иного толка, чем классические «Записки».

Любопытна также аргументация. Почему Петрашевский — человек несерьезный? По логике Достоевского, он своего рода Репетилов. Необходимы не разговоры, а дело. Инициатива теперь переходит в руки «серьезных людей».

Это кажется невероятным.

В одну историческую ретроспективу как бы вписаны два взаимоисключающих плана. То самое лицо, которое мудро и с «легкой насмешкой» отвергло филипповский прожект, теперь ввязывается в предприятие, несравненно более опасное. И изо всех сил старается втянуть в него других лиц.

Закон так отзывается о подобных намерениях: «Всяк, кто не приобрел законным образом права на содержание типографии, уличен будет в печатании рукописи или книги, хотя бы она, впрочем, ничего вредного в себе не содержала и даже напечатана была с одобрения цензуры, подвергается трехмесячному заключению, отобранию всего типографского заведения, всех напечатанных экземпляров и пени пяти тысяч рублей».

Менее всего Достоевский и его друзья собирались печатать что-либо «с одобрения цензуры». Дабы в крайнем случае отделаться трехмесячным заключением и громадным, но все же менее ощутимым, нежели смертный приговор, денежным штрафом.

На едва ли не риторический вопрос Достоевского, желает ли он, Майков, вступить во вновь образованное тайное общество (спрашивающий, по-видимому, очень надеется на положительное решение), Аполлон Николаевич, естественно, отвечает вопросом: с какой, собственно, целью? И получает исчерпывающий ответ: «Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок, его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мординова; все готово».

На это Майков, ровесник Достоевского, резонно возражает, что он не только не желает вступать в указанное сообщество, но и другим советует отстать от него. «Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не

практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?» Любопытно, что материальная бедность является в глазах Майкова серьезным препятствием для участия в революционных затеях. Он упускает из вида, что для такого случая могут найтись богатые спонсоры. Автор «Двойника» меж тем стоит на своем.

Ночной гость, по свидетельству хозяина дома, сидит перед ним «в ночной рубашке с незастегнутым воротом» (в записи Голенищева-Кутузова ее цвет — очевидно, в соответствии с замысленным делом — обретает гарибальдийский оттенок) и горячо убеждает Майкова примкнуть к полезному для отечества начинанию.

В 1849 году все это выглядит чистейшим безумием.

«Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну, что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, — если есть еще возможность, — бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера <сказанном> знают только семь человек. Вы восьмой — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать».

К Майкову явятся не скоро: 3 августа — через три с половиной месяца после того, как возьмут остальных. Дело, разумеется, будет происходить на расвете.

#### «Что бы я сказал?» (К протоколу ночного допроса)

Накануне Дубельт направит полковнику корпуса жандармов Станкевичу (запомним имя: нам еще придется встретиться с ним в ситуации драматической) следующее предписание: «...Предлагаю Вашему Высокоблагородию отправиться завтра 3-го Августа, в шесть часов утра, к библиотекарю Румянцевского музея Аполлону Майкову, квартирующему в Большой Садовой в доме Аничкова, опечатать все его бумаги и оныя, вместе с ним доставить в III Отделение собственной Его императорского Величества канцелярии». (ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 1849, д. 214, ч. 78, л. 2.)

Майков говорит, что перед отъездом из дома он вместе со своим гостем напился чаю.

В III Отделении (как о том единодушно свидетельствуют все там побывавшие) обращались любезно и подавали обед, после которого Майков «преспойкойно заснул». В десять часов его разбудили и повезли в крепость. Однако он не был немедленно заточен в каземат. Его доставили в комендантский дом: там (так когда-то, в 1826-м) заседала Комиссия. В XIX веке тоже порой любили допрашивать по ночам.

В ожидании, когда его позовут, Майков рассматривал висящие на стенах виды Венеции. (Их, несомненно, обозревал и приводимый сюда Достоевский, в юности тщившийся сочинить роман «из венецианской жизни»: то-то порадовался встрече.) Он также пытался растолковать привезшему его в крепость жандармскому офицеру («из простых»<sup>1</sup>), что в этом чудном городе нет ни улиц, ни лошадей, а только каналы, по причине чего кухарки отправляются за провизией исключительно в лодках; аналогичным образом передвигаются и купцы. Жандарм упорно молчал и смотрел недоверчиво: он принимал арестованного за опаснейшего враля.

Наконец, его *пригласили*. Майков довольно подробно воспроизвел это ночное действие, особо отмечая приветливость Дубельта («Сразу Дубельт меня поставил так, что я почувствовал себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юмор...»). Что и позволило Майкову отпустить уже известное нам замечание насчет неудобств системы Фурье. Но вплоть до последней минуты он *ждал*. «Слава Богу, что не спрашивали о типографии: что бы я сказал?» — напишет он Висковатову, все еще сохраняя в душе тот давний полуночный страх.

<sup>1</sup> Это был, разумеется, не полковник Станкевич, который производил утренний арест, а просто дежурный офицер.

Сюжет с типографией действительно не был затронут. Это можно подтвердить документально. Следственное дело «О титулярном советнике Майкове», хранящееся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), бесстрастно свидетельствует о том, что поэту вполне удалась его роль.

Он кратко, но дельно отвечает на обычные в таких случаях вопросы: о родителях, где воспитывался, в какой должности состоит и т. д. При этом не забывает присовокупить, что в начале 40-х годов «имел счастье обратить внимание Государя Императора на мои сочинения (книжка стихотворений) и на произведенную мною картину, вследствие чего получил Высочайшее пособие и позволение ехать в Италию...» (Так что в отличие от Достоевского красоты Венеции описывались по впечатлениям личным.) Ни движимого, ни недвижимого состояния не имеет; живет жалованьем в размере 1500 рублей ассигнациями (разумеется, в год), а также «литературными трудами». (РГВИА, ф. 801, оп. 84/28, № 55, ч. 92, л. 3 об.)

На вопрос, с кем он имел «близкое и короткое знакомство», Майков отвечает, что близких друзей у него нет, за исключением разве двух старых товарищей. Посещает же он главным образом знакомых семейства — тех, кто в свою очередь ходят к ним. Далее следует осторожная фраза, которая как бы предваряет могущие возникнуть подозрения: «Занимаясь литературой, весьма естественно, знаком с большей частью литераторов; впрочем,— спешит добавить вопрошаемый,— коротких сношений с ними не имею». Комиссии дается понять (в случае, если она *знает*), что никто из знакомых литераторов не стал бы делиться с поэтом своими сокровенными тайнами.

Отвечая на вопрос о сношениях своих «внутри Государства и за границею», он вновь позволяет себе иронический тон (не преступая, впрочем, границ приличия): «Не только за границею, но и внутри России я-писем не пишу, и оттуда не получаю; если получу письмо, то с какой-нибудь комиссией от моей бабушки».

Его просят истолковать слова Петрашевского (записанные некогда Антонелли, о чем допрашиваемого, впрочем, не осведомляют), что существует еще «общество литераторов», в котором главную роль разыгрывают сам Майков и братья Достоевские и что якобы они распускали слух, будто Петрашевского вскоре хотят схватить. Майков раздумчиво предполагает, что Петрашевский таким странным способом мог отозваться на то, что он, Майков, позволил себе смеяться над ним. «Общества же литераторов я не знаю, то есть **положительно** организованного общества. Что же касается до цели (было спрошено, не совпадает ли она с целями Петрашевского.— *И. В.*), то цель моя, как литератора, состоит в достижении доступного моим силам достоинства моих сочинений»,— со сдержанным благородством завершает поэт.

«Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» — грозно сдвигает брови Комиссия. «Никогда не принадлежал и уверен, что принадлежать не буду»,— твердо отвечает Майков. Его спрашивают, не ведает ли он о каком-нибудь злоумышлении, и просят показать о сем «с полною откровенностью». И вновь библиотекарь Румянцевского музея не дает слабину: «О злоумышлении мне неизвестно никак, и если бы я знал, то объявил бы».

«Надо сказать,— заметит он позднее,— в моих ответах не было никакой лжи...»

В его ответах не было никакой лжи; не было в них, однако, и чаемой следствием истины. «Меня все еще как будто связывает слово, данное в «эту ночь» Достоевскому,— напишет он в 1885 году.— ...Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее; особенно это приходит мне в голову, когда жиды и кретины станут писать свои истории о нас».

«Дитя добра и света», он не может скрыть дурных исторических предчувствий...

Кроме одного беглого упоминания (в связи с «обществом литераторов»), имя Достоевского больше не возникает в протоколе допроса. Однако об авто-

ре «Белых ночей» Майков, по-видимому, был спрошен устно. Причем в достаточно нейтральном контексте.

«О Дост<оевско>м,— пишет Майков Висковатову,— говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из большого самолюбия и неуживчивости».

В записи Голенищева-Кутузова это изложено более подробно: «Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми <после> успеха своих «Бедных людей» и — что единственно со мною не было положительной ссоры, но что в последние годы (я нарочно распространил несколько время, ибо, действительно, после этого разговора мы почти не видались) Достоевский ко мне охладел и мы почти не видались».

Этим психологическим этюдом Майков и ограничился.

Когда ему сказали «можете идти — вы свободны», Майкову стало «ужасно весело» — именно потому, «что не спросили ничего о «той ночи». Он вспоминает, как вышел из светлой комнаты в совершенно темный коридор, пошел наудачу и натолкнулся рукой во тьме на что-то железное: то была звезда генерала Набокова (председателя Следственной комиссии и коменданта Петропавловской крепости). *Добрый старик* указал ему путь. Он вышел на пустой крепостной двор: луна ярко озаряла стены собора. Где-то, совсем рядом, обретался Достоевский: он мог теперь спать спокойно.

### «Целый заговор пропал...»

Вспоминая, каким предстал «той ночью» сидящий перед ним в красной рубашке с расстегнутым воротом автор «Бедных людей», Майков находит сравнение. «Как умирающий Сократ перед друзьями»,— говорит он. Он не улавливает той разницы, что в данном случае самоубийство носит вполне добровольный характер.

«Жар гибели свирепый»,— сказал Пушкин.

Эта тяга к «перемене судьбы», к жертве и искуплению в еще большей степени присуща другому участнику — тому, кого с полным основанием можно называть душой всего предприятия. Мы имеем в виду Николая Александровича Спешнева.

Мало, что «аристократ и красавец» с безукоризненными манерами и романтическим прошлым, он обладал сверх того независимым умом и твердо направленной волей. Его скрытую силу чувствовали окружающие.

Он был несуетлив и достаточен: во всяком случае, мог позволить себе некоторый комфорт.

Женщины были от него без ума, хотя, как прозорливо замечает тот же Чувствительный биограф (Ч. Б.), «дело не только в женщинах». Ниже мы еще убедимся, насколько он прав!

Спешнев нигде не служил и располагал досугом. Он успевает повсюду: появляется у Петрашевского, посещает Плещеева, участвует в дуровском кружке, обедает у Европеуса (эта *идейная* трапеза — в честь дня рождения Фурье, — когда восторженный Ахшарумов призвал «разрушить столицы», дорого обойдется обедавшим). При этом ему удается держаться в тени: недаром в самом начале следствия его относят к фигурам второстепенным.

Скрытный, невозмутимый Спешнев (год рождения — все тот же: 1821) — полная противоположность Петрашевскому, «актеру и болтуну» (как запальчиво поименует его Достоевский в ночном разговоре с Майковым; напомним, что в официальных показаниях он, несмотря на очевидную для себя выгоду, удержится от подобных определений). Петрашевский — «человек несерьезный»: поэтому его не посвящают в дело. (Может быть, еще и потому, что Спешнев не желает *двоевластия*.) В глубоком секрете от остальных *семьера* вступает в сговор: это тайное общество так и не будет открыто.

«Целый заговор пропал»,— скажет впоследствии Достоевский. Он, впрочем, не пояснит, что имелось в виду.

Но тут возникает вопрос, на который доселе не дано сколько-нибудь удовлетворительного ответа. А именно: почему Достоевский, только что «с легкой насмешкой» отвергнувший предложение Филиппова относительно литографии, вдруг безоглядно ввязывается в другое предприятие, несравненно более опасное? Почему он так радикально меняет точку зрения и, более того, — пытается убедить других в своей правоте?

Это — непостижимо.

Филиппов делает свое предложение «в конце марта или в начале апреля». И в связи с этим «апреля 17 или 18 числа» (показания Дурова) вечера прекращаются. До ареста остается лишь *пять дней*: для перемены убеждений срок слишком ничтожный. События должны совершаться с головокружительной быстротой: формируется конспиративная семерка, делаются чертежи («рисунки»), заказывается оборудование, и, наконец, уже готовый станок водворяется на квартире Мордвинова. Если даже накинуть для верности две-три недели, все это представляется в высшей степени сомнительным.

Но посмотрим внимательнее. Майков говорит, что Достоевский явился к нему в январе 1848 года. Он, конечно, ошибается: речь может идти лишь о 1849-м. Но перепутан ли при этом и месяц? Майков помнит, что дело происходило зимой. Достоевского арестовали в апреле. Когда же состоялся ночной разговор?

Если бы арест Достоевского случился вскоре после его визита к Майкову, последний наверняка соотнес бы оба события. Но поэт ничего не говорит на этот счет. Правда, Майков утверждает, что по дошедшим до него сведениям типографский станок был собран «за день, за два до ареста». Допустим, что это действительно так. Но ведь Достоевский, сообщая Майкову о том, что станок «заказывали по частям» и нынче «все готово», мог иметь в виду лишь исполнение этого заказа, а не окончательную — разумеется, силами самих заговорщиков — сборку. Такие дела быстро не делаются. Между январем и апрелем времени было достаточно. Позволительно поэтому предположить, что Майков, говоря о *январском* визите Достоевского, правильно называет месяц.

Но если это так, то литографию и типографию следует поменять местами. И замыслы относительно последней отнести на несколько месяцев раньше.

Это очень важное обстоятельство. Ибо тогда предложение Филиппова о домашней литографии выглядит не столько смелым, сколько опрометчивым. Оно грозило провалить всю конспирацию.

Из примерно шестнадцати посетителей «дуровских суббот» о типографии, если верить Майкову, знают шестеро: Достоевский, Спешнев, Филиппов, Момбелли, Григорьев, Мордвинов. Седьмое имя — Владимир Милютин. Он, правда, давно отстал от Петрашевского (не посещает «пятниц» с 1847 года) и не замечен на вечерах у дуровцев, однако близок с некоторыми из них и, как мы убедимся ниже, находится в курсе событий. Среди остальных дуровцев преобладают лица, отнюдь не склонные к подобному рода авантюрам. Например, всецело преданный музыке Кашевский или осмотрительный Милюков. Или — тот же Михаил Достоевский, которого младший брат ни в коем случае не стал бы приобщать ни к каким рискованным предприятиям, хотя бы по тому соображению, что Михаил Михайлович обременен семейством. Призывать их к приобретению литографского камня по меньшей мере неумно.

Заметим, что хозяева вечеров (то есть Дуров, Щелков и Пальм) не принадлежат к «семерке» и отстранены от всякого участия в конспиративной затее.

Почему же тогда так неосторожен Филиппов?

Дуровский кружок мог служить для «типографов» местом встреч и легальным прикрытием. Он устраивал их именно в этом качестве. Предложение завести литографию ставило всех участников кружка в положение двусмысленное. Те, кто не знал о типографии, вовлекались в неожиданное и весьма опасное дело. (Не было ли само предложение Филиппова своего рода зондажем непосвященных, попыткой через «промежуточный вариант» — литографию — приобщить их к более положительной цели?) Те же, кто был посвящен (то есть уча-

стники «семерки»), подвергались теперь риску быть вовлеченными в еще одно предприятие, которое ввиду слабой конспирации (а точнее — полного отсутствия таковой) обладало всеми шансами провалиться в самом неотдаленном будущем. У «спешневцев» имелись причины быть недовольными неловкостью одного из своих товарищей. Затея Филиппова была дружно похерена.

Повторяем: схема эта справедлива, если допустить, что замысел типографии созрел до щекотливых мартовских разговоров у Дурова. Но когда именно?

Из показаний Спешнева, Петрашевского, Львова, Черносвитова и Момбелли известно, что в декабре 1848 года между ними ведутся интенсивные переговоры о создании «настоящего» тайного общества.

Беседы эти ни к чему не повели. Момбелли утверждает, что Спешнев написал учредителям будущего общества письмо, в котором «иронически отзывался о нашей затее...» и в заключение отказывался от нее, говоря (обратим внимание на мотивировку!), что он «связан другими условиями, более положительными» (эти слова подчеркнуты не только нами, но и следователем карандашом князя Гагарина). Петрашевский, продолжает Момбелли, посмеялся над сим туманным намеком, «приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим». Несмотря на явленную в карандашных пометках тревогу, члены Комиссии в конце концов, очевидно, согласились с такой трактовкой, которую Спешнев, конечно, не стал бы теперь оспаривать.

Не стал бы оспаривать это и Достоевский.

#### «А вот и я!» (К явлению беса)

В своих воспоминаниях доктор Яновский с горестью повествует о перемене, которая внезапно случилась с его пациентом. Тот вдруг «сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым», стал придираться к пустякам, чаще жаловался на дурноты и т. д. и т. п. Перемена эта, по свидетельству наблюдательного доктора, «совершилась... не в очень длинный промежуток времени, а так примерно в течение двух-трех недель».

Когда же все это происходит? Яновский указывает точное время: *конец 1848 года*.

Воспоминатель ни секунды не сомневается относительно истинной причины подобных метаморфоз. Это — неожиданное сближение Достоевского со Спешневым, с которым он ранее близко сходиться избегал («этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому»).

«Сближение» — не совсем точное слово: насколько можно судить, здесь имеет место скорее *деловой* интерес.

«Нет, нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить...» — так отвечает Достоевский на профессиональные утешения своего домашнего врача, от которого, впрочем, не скрывается глубинная подоплека всех этих мук. Оказывается: взятые в долг у Спешнева 500 рублей серебром и мысль о невозможности их отдачи лишают совестливого должника сна и покоя. При всей положительности мотива он выглядит не вполне убедительным.

Достоевскому — и раньше, и позже — случалось залезать в долги. Бывали суммы и покрупнее. Но всегда, когда он прибегал к этому крайнему, хотя и неизбежному средству, он был абсолютно убежден в том, что рано или поздно сумеет вернуть долг. Он адресует просьбы о помощи брату Михаилу Михайловичу, Краевскому, Майкову, Герцену, Врангелю, Каткову и т. д. — кажется, у него не остается знакомых, которые со временем не обращались бы в его кредиторов. Порою отдача затягивалась на десятилетия, но — никогда не отменялась.

В Российской государственной библиотеке, в описи бумаг, отобранных у Спешнева при аресте, мы обнаружили документальное подтверждение сделанного Достоевским займа. Под номером 71 (от 20 мая 1849 г.) в описи значится: «Письмо Достоевского — прибегает с просьбой о денежном пособии; упоминает о литературных занятиях у Краевского» (ОР РГБ, ф. 203, п. 221, ед. хр. 2, л. 59). Следовательно, существовало *письмо*: вряд ли его адресат отказал просителю в просьбе.



Письмо Достоевского до сих пор не разыскано.

Любопытно, что просьба «о денежном пособии» носила письменный (то есть формальный) характер. С другой стороны, упоминание Краевского наводит на мысль, что в письме оговаривались условия отдачи долга, ибо единственным источником денежных поступлений было для автора «Нечочки Незвановой» сотрудничество в «Отечественных записках».

«...Он не возьмет *деньгами* назад...» — говорит Достоевский о Спешневе. Но если *не деньгами*, то — чем же?

«...Теперь я с ним и *его*». Подобная формула не употреблялась даже в случае, когда брались огромные авансы под еще ненаписанные романы. Не прилагалась она, скажем, и к Тургеневу, долг которому в период их позднейшей вражды был для Достоевского особенно мучителен. За что же Спешневу выпала такая честь?

Уместно предположить (хотя, как считают иные, ничего не предполагать гораздо уместнее), что в декабре 1848 года Достоевского со Спешневым связывает какое-то дело. А возможно — и *слово*. Очевидно, при этом действительно получена взаймы известная сумма: тогда положение того, кто ее взял, становится весьма деликатным.

Если замысел тайной типографии возник в декабре 1848 года, тогда становится понятным угнетенное состояние духа одного из тех, кто одобрил идею и, следовательно, связал с нею свою судьбу. Дело, разумеется, не в деньгах (вернее, не только в них). «...У меня... есть свой Мефистофель», — говорит Достоевский. Но Мефистофель требует *душу*. Невозможность вернуть 500 рублей равносильна в этом смысле невозможности возвратить данное слово. Фауст уже *повязан*.

Самое любопытное, что отдача денег (если здесь действительно имел место заем) еще не освобождала *от долга*. Хотя — восстанавливала равенство отношений. До тех же пор должник оставался еще и заложником.

Не будем усугублять ситуацию драматическим предположением, что часть занятой суммы предназначалась для покупки типографических принадлежностей. Деньги на это дело получил Филиппов. 4 июня 1849 года на допросе в Петропавловской крепости он впервые произнес слово «типография».

### *Стуки в Алексеевском рavelине*

Добровольно поведав об этом, доселе совершенно не известном для следователей намерении, Филиппов признал себя единственным инициатором всей затеи. В свою очередь, Спешнев, подтвердив справедливость самого факта, категорически заявил, что «сей умысел» принадлежит исключительно ему, Спешневу, и он один должен нести за это ответственность.

Какими соображениями руководствовались Филиппов и Спешнев? Была ли у них надежда спасти остальных? Может быть, они полагали, что кое-кто из посвященных не сумеет сохранить тайну, и поэтому торопились взять вину на себя? Нельзя исключить и предварительную — на случай провала — договоренность.

Заметим: и Филиппов, и Спешнев настоятельно подчеркивают, что попытка организовать типографию — их личное дело; кроме них двоих, к нему более никто не причастен. Таким образом, ослабляется подозрение в сговоре или заговоре. Что, с одной стороны, несколько облегчает вину, а с другой — выводит из-под удара конспиративную «семерку», относительно которой следствие остается в полном неведении. Утверждая, что «целый заговор пропал», Достоевский, как мы уже говорили, скорее всего имел в виду именно это обстоятельство. Но догадывается ли он о том, что Комиссия знает о типографии?

В одном из предъявленных ему вопросов прямо спрашивается о намерении Филиппова печатать нелегальные статьи. Ответ Достоевского в высшей степени любопытен. «Павел Филиппов сделал такое предложение. Но в вопросе сказано о *домашней типографии*. О печатании никогда и ничего я не слыхал у Дурова; да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил *литографию*. Это мне совершенно памятно».

Достоевский недаром подчеркивает ключевые слова. Он настаивает на различении понятий. Литография — да, пожалуйста: об этом и так уже известно следствию. (Кроме того, в литографической затее ощутим оттенок кустарщины и выглядит она поэтому куда безобиднее.) Но ни о каком «печатании» речи у Дурова не было. «Да и нигде», — поспешно добавляет Достоевский: в этой стремительной оговорке ощутима тревога.

Тем не менее он отвечает так, как если бы был вполне убежден, что следователям пока ничего не известно о «заговоре семи». Откуда такая уверенность?

Следует признать, что при всем своем почти четвертьвековом опыте III Отделение допустило существенную профессиональную оплошность. (Как мы убедимся, далеко не единственную: их, впрочем, можно извинить, если вспомнить, что у русской тайной полиции еще нет практики «массовых» политических дознаний.) Большинство злоумышленников, взятых в ночь на 23 апреля, были первоначально собраны в одном помещении. У них оказалось некоторое время для того, чтобы обменяться впечатлениями. И — хотя бы вчерне — наметить образ действия на допросах. Но это — не единственная возможность.

В литературе, посвященной делу петрашевцев, не отмечена одна, казалось бы, маловажная деталь. Во время следствия Достоевский сидел в Секретном доме Алексеевского рavelина — в камерах № 7 и № 9. «Сношения с товарищем — соседом по заключению (Филипповым), — говорит О. М. Миллер, — происходили при помощи постукивания». «Рассказывал... про Петропавловскую крепость, — стенографически записывает в своем дневнике Анна Григорьевна, — про то, как он переговаривался с другим<и> заключенным<и> через стенку».

Публикаторы этой расшифрованной стенограммы добавили буквы, стоящие в угловых скобках. Думается, это излишне: речь, конечно, идет об *одном* человеке — Павле Филиппове. Поэтому следует читать именно так, как в оригинале: «с другим заключенным».

И если предположить, что один из них «взял на себя» подпольную типографию, то второй — по взаимной договоренности — мог делать вид, что ему об этой истории ничего не ведомо.

О «семерке» не упомянул на допросах ни один из посвященных. А ведь такой риск существовал: Григорьев, например, «сломался» и давал очень откровенные показания. Значит, либо действительно состоялся предварительный сговор, либо не все из обозначенных Достоевским в разговоре с Майковым лиц принадлежали к сообществу, а были названы, так сказать, в качестве *кандидатов*. Во всяком случае, пока с уверенностью можно указать только троих: Спешнева, Филиппова и Достоевского. «Семерка» на поверку могла оказаться «тройкой».

Филиппов и Спешнев наперебой берут вину на себя. Странно, но это действует. Исполненная зрелой государственной осторожности, не верящая *словам* Комиссия настолько поражена борьбой двух благородств, что не настаивает на дальнейших разысканиях.

Не исключено, конечно, что у нее имелись какие-то свои соображения.

### О пользе семейных связей

Свидетельство А. Н. Майкова о том, что типографский станок был собран на квартире Н. А. Мордвинова, не замечен среди разных физических приборов при обыске, а затем тайно изъят домашними, находчиво снявшими с петель опечатанные двери мордвиновского кабинета, — эта детективная история вызывает сомнения.

«...Неужели Мордвинов, — задается вопросом Б. Ф. Егоров, — свыше четырех месяцев после арестов друзей спокойно держал станок в комнате, не подумав об его укрытии или уничтожении?! Не спутал ли Майков квартиры Мордвинова и Спешнева?» Действительно: каким образом станок мог оказаться у Мордвинова?

В докладе генерал-аудиториата сказано: Филиппов «заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и ос-

тавлены... в квартире его», а Спешнев, в свою очередь, «взял к себе на сохранение заказанные вещи». Но где же они, эти возжеленные вещественные улики? Может быть, домашние Спешнева заявили, что, уstraшившись, они выбросили подозрительные предметы в Неву?

Домашние Спешнева? Но почему же не Мордвинова, как утверждает Аполлон Николаевич Майков?

22-летний чиновник Министерства внутренних дел Николай Александрович Мордвинов — фигура в деле петрашевцев малозаметная (вернее, как мы еще убедимся, его пытаются сделать таковой). Он — неизменный посетитель дуровских вечеров; он, очевидно, довольно короток со Спешневым; ему одному дает Григорьев в руки свою «Солдатскую беседу» — вещь оскорбительную лично для государя. Его имя упоминается во многих показаниях. Однако — и это обстоятельство действительно упустили из вида почти все комментаторы майковского рассказа — его даже не арестовывают. Мордвинов остается на свободе, и лишь несколько месяцев спустя после взятия остальных его тоже берут. Но — только на один день: с тем, чтобы немедленно выпустить после допроса.

Следовательно, не было никаких опечатанных дверей. Во всяком случае, в квартире Мордвинова. Станок мог быть вынесен из другой квартиры.

И все-таки не стоит сбрасывать со счетов того, на кого указывал А. Майков. В качестве хранителя станка из всех участников «семерки» он — лицо идеальное.

Юный Н. А. Мордвинов — сын сенатора Александра Николаевича Мордвинова. Но дело не только в этом. В настоящем случае гораздо важнее другое. С 1831-го по 1836 год Мордвинов-старший являлся не кем иным, как управляющим делами III Отделения. То есть исправлял ту самую должность, которую ныне, в 1849-м, благополучно занимал Леонтий Васильевич Дубельт. Надо полагать, сработали старые связи. Разумеется, Мордвинов-отец сделал все, чтобы спасти сына.

Но, согласившись с таким допущением, мы тут же наталкиваемся на сильный контраргумент. Зачем, казалось бы, Дубельту, сменившему Мордвинова у руля III Отделения, спасать детей своего предшественника?

(А. Н. Мордвинов был отрешен от должности за то, что пропустил в печать книгу «Сто русских литераторов» с тремя произведениями декабриста А. А. Бестужева, подписанными его полным именем, и с портретом автора, недавно убитого на Кавказе. (Цензор А. В. Никитенко полагал, что промах этот был допущен А. Н. Мордвиновым умышленно.) Это вызвало такой гнев царя, что только благодаря заступничеству Бенкендорфа А. Н. Мордвинов не был уволен с государственной службы, а получил место вятского губернатора.)

Следует перенестись на шесть лет вперед.

В ноябре 1855 года Н. А. Мордвинов, остававшийся после привлечения его по делу петрашевцев под секретным полицейским надзором (именно таким эфемерным взысканием отделался он тогда), был арестован в городе Тамбове, куда прибыл, заметим, по собственной воле и где благополучно продолжал свою чиновничью карьеру. Этот едва ли не первый при Александре II политический арест — в самом начале царствования, при явных признаках «оттепели» произвел тогда сильный эффект. Н. А. Мордвинову грозили серьезные неприятности: он был уличен в распространении нелегальных сочинений и хранении возмутительных бумаг. (Среди последних оказались документы шестилетней давности, принадлежавшие старым его друзьям — Филиппову, Григорьеву и Плещееву. В том числе — тексты, предназначенные когда-то к тайному печатанию и распространению. Это, во-первых, доказывает, что в 1849 году бумаги избегли ареста, а во-вторых, что у Мордвинова скапливались тогда материалы для подпольной печати.)

Итак, тучи над Николаем Мордвиновым сгустились. Но, как и в 1849 году, совершается чудо. Меч, уже занесенный над его головой, благополучно вкладывается в ножны.

В январе 1856 года старый граф Алексей Федорович Орлов (по-прежнему — начальник III Отделения) представил молодому государю доклад относи-

тельно участи Н. А. Мордвинова. В докладе предлагалось «вменить ему в наказание арест, под которым он ныне находится, и, сделав ему строжайшее внушение, подвергнуть его надзору». Государь одобрил этот отеческий проект.

«...Напрашивается предположение о том, — резонно замечает биограф нашего удивительного счастливица, — что граф А. Ф. Орлов проявил в деле Н. А. Мордвинова необычайную снисходительность. Видимо, отец арестованного — сенатор А. Н. Мордвинов — оказал свое влияние на ход следствия»<sup>1</sup>.

Действительно, история повторилась — вплоть до деталей. Молодой Мордвинов вновь отделяется легким испугом. (Легкость эта особенно очевидна, если вспомнить, что наказуемый и так уже состоит под надзором<sup>2</sup>.)

Остается пожалеть, что Достоевский был сирота.

Еще не раз на протяжении своей жизни (он умрет в 1884 году, достигнув высоких чинов) «генерал-студент», как звали Н. А. Мордвинова современники, будет ходить по самому краю пропасти — словно искупая наследственную вину. Но всегда находилась рука (в том числе — министра двора и уделов, все- сильного графа В. Ф. Адлерберга), которая отводила от фантастического удачника, казалось бы, неминуемую беду.

Теперь становится ясным то, что произошло в 1849 году. Поразительное равнодушие, проявленное обычно бдительной и дотошной Комиссией к столь заманчивому, а главное, *верному* следу, объясняется мощным воздействием больших закулисных сил. Шеф жандармов и личный друг государя согласился не форсировать дело. Его ведомство отнюдь не заинтересовано в отыскании *слишком* серьезных улик, не все гипотезы подлежат отработке. Дубельт и его коллеги почтут себя вполне удовлетворенными признаниями Спешнева и Филиппова. Уверения последних в исключительной личной ответственности за типографию следователи примут без малейших сомнений. Достоевскому и другим не будут досаждать навязчивыми вопросами. Упоминания о типографии в материалах следствия окажутся скупы и неопределенны.

Вспомним: «...Целый заговор пропал». Он действительно *пропал*: сюжет благополучно замяли.

Теперь попробуем еще раз восстановить всю картину. Спешневская «семерка» (или часть ее) возникает в самом конце 1848 года. Очевидно, тогда же появляется мысль о нелегальном печатании и, возможно, делаются какие-то предварительные расчеты. В конце марта 1849-го на одном из вечеров у Дурова Филиппов возбуждает вопрос о домашней литографии: идея не вызывает энтузиазма. Достоевский также выступает против — скорее всего по соображениям конспиративным. (Правда, нельзя исключить, что к этому времени он уже охладевает к прежней идее и искренне пытается отговорить остальных.)

Может быть, неудача с литографией дает последний толчок: в жизнь начинает срочно воплощаться первоначальный проект.

Но времени уже нет. Действительному статскому советнику Липранди приказано завершить годовые труды.

## Глава 4. ЗЛОУМЫШЛЕННИК В ЖИЗНИ ЧАСТНОЙ

### Роман с соседкой: вымысел или быль?

Легко догадаться: и те, кто собирались у Дурова, и те, кто предпочитали общество Петрашевского, не ограничивались скуными радостями мужских (пусть

<sup>1</sup> Снисходительность власти простиралась до такой степени, что жене Мордвинова было дозволено провести в его камере новогоднюю ночь.

<sup>2</sup> Приведем в связи с этим любопытную запись из дневника Н. А. Добролюбова: «...гр. Орлов является к государю с огромным докладом о Мордвинове как государственном преступнике и т. п. Александр узнал, в чем вина Мордвинова, и сказал только: «Мне прискорбно, что говорят дурно о моем незабвенном родителе, и я бы этого не желал; но что говорят обо мне — так это мне решительно все равно. Мордвинов довольно уже наказан заключением: выпустить его...» И Мордвинов действительно выпущен... Не знаю, что и думать о таком образе действий. Это всех поражает в высшей степени».

даже с идейной подкладкой) дружб. У них, очевидно, были и другие привязанности.

«...Я никогда не слышал от него, — говорит Яновский об авторе «Белых ночей», — чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил какую-нибудь женщину страстно...» Впрочем, домашнего доктора вовсе не обязательно посвящать в проблемы не вполне медицинского свойства...

Но вот свидетельство той, кого трудно заподозрить в некомпетентности: «Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине». Вряд ли у Достоевского имелись причины скрывать от второй жены суровую правду.

«Объясню это тем, — продолжает Анна Григорьевна, — что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился».

«Творчество», с одной стороны, и «политическая история» — с другой, трактуются как серьезные альтернативы (что ж, употребим это слово во множественном числе) жизни сердечной. Жаль, однако, что, скажем, к Гоголю нельзя приложить вторую из них. А Пушкина, например, вряд ли смутили б обе.

«Мой отец, — говорит дочь Достоевского Любовь Федоровна, — был неловок, робок, нелюдим и скорее некрасив; он говорил мало и больше прислушивался».

Доктор Яновский, в свою очередь, утверждает, что его пациент объяснял отсутствие интереса к женскому полу особенностями своей черепной коробки. «Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно» и походил, добавляет Яновский, на сократовский. Польщенный указанным сходством, Достоевский говорил своему врачу так: «А что нет шишек на затылке, это хорошо, значит, не юпошник; верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какой носит Евгения Петровна (мать Аполлона Николаевича и других Майковых, которую Федор Михайлович, да и все мы глубоко почитали и любили), больше ничего; ну и значит верно».

«Это можно объяснить исключительно аномалией в его физическом развитии», — замечает строгая дочь.

В 1845 году возникнет, правда, имя Авдотьи Панаевой — утаенная от всех (в том числе и от самого предмета) сильная страсть — возникнет, чтобы вскоре исчезнуть навсегда. Прочие женские имена будут произноситься лишь во множественном числе («Минушки и Кларушки») и в соответствии с темой носить по преимуществу собирательный характер. Весной 1846-го, во время первого (и, очевидно, единственного) выхода своего в свет, он переживет величайший конфуз: упадет в обморок перед красавицей Сенявиной. Что и будет запечатлено в бессмертных стихах, немедленно сочиненных по сему поводу его смешливыми литературными друзьями.

Как трагически недвижно  
Ты смотрел на сей предмет  
И чуть-чуть скоропостижно  
Не погиб во цвете лет.

Дочь Достоевского уверяет, что до сорока лет (то есть получается, что и после первой женитьбы, едва ли не до встречи с Аполлиной Суловой) ее отец жил «как святой» (wie ein Heiliger). Впрочем, имеются утверждения совершенно противоположного свойства.

«Да, для меня совершенно ясно, — приводятся в одной работе слова, якобы принадлежащие К. И. Чуковскому, — что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины».

Не будем тревожить Некрасова, но что касается Достоевского, тема гадательна. «Период страстей у отца начинается только после каторги, — настаивает Любовь Федоровна, — и тогда уже в обмороки он не падает».

Интимная жизнь Достоевского — ввиду полной неопределенности ее очертаний — раздолье для наших эротических следопытов. Это — волнующий лес гипотез, в который, по правде сказать, нам не хотелось бы углубляться.

Но, может быть, кое о чем поведал сам Достоевский? И, как водится, не прямо, а «косвенно» — в своих художественных текстах?

Один сквозной сюжет проходит через всю его раннюю прозу. Он присутствует уже в первом его повествовательном опыте. Мы имеем в виду историю одной (вернее, *одной и той же*) любви: постояльца — к соседке, их обреченный на неудачу роман. И герой, и героиня — чисты, бедны и несчастны. Их сердца опалены изнуряющим жаром платонических чувств. Они, увы, никогда не соединятся.

В «Бедных людях» — это Варенька и студент Покровский. В «Белых ночах» — Настенька и Мечтатель. В «Хозяйке» (в несколько фантастическом виде) — Ордынов и Катерина.

Оппозиция «бедный герой» и «молодая соседка» — архетипична для раннего Достоевского. В позднейших романах (правда, в значительно приглушенном виде) тоже будут возникать подобные отголоски. Эта удивительная устойчивость заставляет предположить, что здесь, возможно, не просто литературный прием. По каким-то причинам тема сильно занимает рассказчика. И первое, что приходит на ум, — ее автобиографичность.

В 1861 году Достоевский пишет журнальный фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Повествование ведется от первого лица. Это — *мечтатель*, старый герой Достоевского, как будто забредший в эту послекавторскую прозу из его старых повестей.

«Я до того замечтался, — говорит рассказчик, — что проглядел всю мою молодость...» Но не «проглядел ли» ее и сам автор — разумеется, с той *практической* стороны, которая по преимуществу обращена к восприятию жизненных удовольствий и служит основанием для совершения дальнейших карьер?

«...Когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, — продолжает герой, — я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера, и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию». Эти бесплотные, но в высшей степени благородные персонажи как бы компенсируют нравственную ущербность других героинь, помянутых Достоевским, как сказано, во множественном числе. С другой стороны, чувственные «Кларушки и Минушки», может быть, и мелькнув в его переписке только для того, чтобы рассчитаться со старыми романтическими долгами.

«В Италию» хочет бежать не 16-летний юноша (в каком намерении, относящемся именно к этому возрасту, не без усмешки («я знал одного такого») признавался автор «Бедных людей»), а бедный петербургский чиновник. Но почему об этом же не может мечтать просвещенный (и тоже бедный) молодой офицер?

Инженер-подпоручик Достоевский состоял на государственной службе недолго: с 12 августа 1843 года по 19 октября 1844 года. (Указ об его отставке пришелся на лицейскую годовщину: вряд ли тогда он заметил сей ободряющий знак.)

Вообще-то роман с соседкой — это мировой сюжет. Для его воплощения совершенно не обязателен личный опыт. (Не исключено, что «соседка» как раз знаменует отсутствие такового.) Можно привести столько же доводов в пользу того, что сам автор пережил описанное им приключение, сколько и соображений противных. Разрешение волнующего вопроса, был ли Достоевский влюблен в некую гипотетическую «Амалию» или же она «всего лишь» художественный конструкт, мало чего добавило бы к достоинствам его сочинений.

У Достоевского, однако, всегда соблюдены собственные условия игры. Любовь к соседке (в «Бедных людях», если иметь в виду не только «связку» Ва-

ренька — Макар Девушкин, но и другую — Варенька — студент Покровский, это еще и любовь к соседу) — всегда обреченная, несчастная любовь. Для героинь, как правило, все заканчивается браком с нелюбимым (или только кажущимся любимым) человеком. Герой остается с растерзанным сердцем.

Автор «Белых ночей» как бы убергает своих персонажей от тех разочарований, которые непременно ожидали бы их в случае счастливой развязки. То есть — в случае выхода из романтического пространства.

Между тем «сентиментальный роман» пишется в 1848 году: в Европе гремят революционные пушки. Сам автор романа посещает Коломну. Любопытнее же всего, что *мечтатели* наличествуют и здесь.

### Виновник знакомства

«Много ли нас, русских,— спросит Достоевский в одном из своих анонимных фельетонов, которые будут публиковаться в «С.-Петербургских ведомостях» летом 1847 года,— имеют средств делать свое дело с любовью, как следует...» Россия — такая страна: реальное дело уходит, ускользает, выпадает из рук. «Тогда в характерах, жадных деятельности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным «существом среднего рода — *мечтателем*».

Русский человек обречен на мечтательство: в том числе социального толка. У Петрашевского иногда дебатировались химеры. Однако расплачиваться за них придется головой.

«Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище»,— признается Мечтатель. Через много лет Достоевский заметит, что никто из стоявших с ним на эшафоте не раскаивался в содеянном.

В декабрьском номере «Отечественных записок» за 1848 год, где напечатаны «Белые ночи», стоит посвящение: А. Н. Плещееву. Через три месяца, в мартовском номере того же журнала Плещеев «ответит» «Дружескими советами». (Эта повесть, своеобразный «аналог» «Белых ночей»). Обе вещи писались почти одновременно.) Неудивительно их посвящения друг другу: оба принадлежат к числу *посвященных*.

«Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?» — спросит автора «Бедных людей» высочайше учрежденная Комиссия. «Знакомство наше было случайное,— ответит он.— Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поровнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?»

Эта сцена, о которой уже поминалось выше, вполне натуральна. Петрашевский мог учудить что-то подобное. Но обратим внимание на неопределенность свидетельства: «если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым». Достоевский в те годы не отличался забывчивостью. Впрочем, он не старается конспирировать. Во-первых, в этом не было особой нужды. (Сам факт знакомства не есть криминал.) Во-вторых, он понимает, что и Плещеев, и Петрашевский в своих показаниях могли упомянуть об обстоятельствах этой встречи. Следователям дается понять, что знакомство было вполне случайным и его инициатором выступил отнюдь не Плещеев. (Он лишь подошел к ним после того, как Петрашевский задал свой литературный вопрос.) Между тем тот же Плещеев мог *вести* своего друга на «пятницы» в Коломне.

Плещеев также вполне мог быть *восьмым* членом «семерки». (Об этом еще будет сказано ниже.) А. Майков не называет его имени, видимо, потому, что в то время (то есть в восьмидесятые годы) Плещеев еще жив.

Тот, кому будут посвящены «Белые ночи»,— на четыре года моложе Достоевского. Он посещал Школу гвардейских прапорщиков и Петербургский университет, но не закончил ни военного, ни гражданского образования

из-за болезни глаз. По делу он будет проходить как «неслужащий дворянин».

Он дебютирует в один год с Достоевским — в 1846-м. Успех первых опытов 21-летнего поэта, конечно, не столь оглушителен, как появление «Бедных людей». Однако его заметят. Он предпошлет своей изящно изданной книжке под скромным названием «Стихотворения» (хотя ей больше пошло бы другое, уже бывшее в употреблении, — «Мечты и звуки») звучный латинский эпиграф: «*Homo sum, et nihil humani a me alienum puto*» («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»). Что вызовет желчное замечание еще одного «недоконченного студента» — Виссариона Белинского: «Некоторые маленькие таланты... стали на заглавных листах своих книжек ставить эпиграфы во свидетельство, что их поэзия отличается современным направлением».

О направлении автор заботится неустанно.

Одно из его стихотворений обретет популярность чрезвычайную:

Вперед! Без страха и сомненья  
На подвиг доблестный, друзья!  
Зарю святого искупленья  
Уж в небесах завидел я!

«После Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и каким-нибудь поэтом», — скажет Белинский: с ним в настоящем случае не поспоришь.

Увы: в России далеко не всегда поэтические достоинства определяют успех. Куда важнее «великое подразумеваемое»: благодаря тем или иным нехитрым подстановкам стихотворная строка наполняется скрытым гражданским смыслом. «Подвиг доблестный», равно как и «заря святого искупленья» могут означать все, что душа пожелает. Никто не волен помешать либеральной (или, положим, какой угодно) общественности приложить к этим универсальным намекам собственную идейную расшифровку<sup>1</sup>.

Смелей! Дадим друг другу руки  
И вместе двинемся вперед,  
И пусть под знаменем науки  
Союз наш крепнет и растет.

Эта радостная подача рук — не просто демонстрация взаимной приязни. Это тоже сугубо символический жест, ибо рукопожатия совершаются не ради пустой проформы, а — «под знаменем науки». «Возьмемся за руки, друзья...» — откликнется грядущий век: о науке при этом не будет сказано ни слова. Цель на сей раз гораздо скромнее: «...Чтоб не пропасть поодиночке...»

На поэтическом безрыбье середины 40-х годов стихи Плещеева могли бы сойти за гениальные. Во всяком случае, многие знали их наизусть.

«Помните ли вы время, когда Плещеев был нашим первым поэтом?» — не без некоторого изумления спросит Страхов Достоевского в 1870 году.

Время это Достоевский помнил прекрасно.

### *Путешествие из Петербурга в Москву и обратно*

Плещеев отбудет в Москву весной 1849 года — месяца за полтора до развязки. Он отправит оттуда Достоевскому три письма: все они будут обнаружены при аресте и приобщены к делу. Кроме того, он пошлет своему товарищу

<sup>1</sup> Что с абсолютной отчетливостью и продемонстрировал неизвестный автор, «досочинивший» стихи Плещеева в подпольной листовке 1897 года:

Вперед! Без страха и сомненья  
На подвиг доблестный, друзья,  
Давно уж жаждет единенья  
Рабочих дружная семья  
.....  
Завет нам вечный Марксом дан —  
Тому завету подчиняйтесь:  
Тесней, рабочие всех стран.



рукопись, чтение которой закончится для читателя эшафотом: переписку Белинского с Гоголем<sup>1</sup>.

Впрочем, на эшафоте они будут стоять рядом. Может быть, именно это обстоятельство позволило им перейти позднее «на ты» (случай для Достоевского крайне редкий). 31 января 1881 года, при выносе тела, старые петрашевцы Плещеев и Пальм первыми возьмутся за крышку гроба...

В найденных при аресте Достоевского письмах Плещеев обращается к адресату еще «на вы». Но — в высшей степени доверительно. «Любезнейший мой Федор Михайлович», — пишет он.

Следственное дело Плещеева утрачено. Однако в фонде историка В. И. Семевского сохранились копии некоторых следственных документов: писем к Достоевскому в том числе.

О чем же сообщает своему петербургскому другу стихотворец Плещеев? Письма его подчеркнута литературны: предполагается, очевидно, что их адресат (сам — автор «романов в письмах») должен по достоинству оценить его эпистолярный слог. Прежде всего описывается само путешествие. При этом упоминается о попутчице — «очень доброй и очень забавной» тверской барыне, которую от ужасных дорог несколько раз начинало тошнить. «Но патриотизм заставлял ее забывать и о своей тошноте, при всяком ухабе она, крестясь, говорила: «Ах, как это голубушка моя императрица по такой дороге поедет».

Царское семейство тоже собирается вскоре в первопрестольную — на торжественное открытие воздвигнутого Казаковым Большого Кремлевского дворца. Железная дорога еще прокладывается, и августейшие путешественники вынуждены разделять со своими подданными тяготы конного пути.

Император прибудет в Москву 27 марта 1849 года.

В своем следующем письме, посланном, судя по всему, не по почте, Плещеев так говорит об этом событии: «Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, желают, чтобы они поскорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии. В первый день приезда царицы я видел ее на гулянье. «Ура» кричали одни мальчишки. Это без преувеличения. Я слышал сам, как купцы, сидя в своих лавках, говорили: «Что же это они больно мало кричат», — а сами, однако ж, и не думали поддерживать». Этот краткий бюллетень дорого обойдется автору.

Секретную Следственную комиссию, естественно, заинтересует вопрос, на чем основано вышеуказанное суждение (Комиссия по привычке именуется «показанием») о высочайшем дворе. Автор письма весьма невнятно ответит, что в Дворянском собрании ему приходилось слышать различные толки о дороговизне в Москве — по причине присутствия здесь царской семьи. Кроме того, москвичи толковали о различных притеснениях, «будто бы делаемых, например, студентам, которым запрещено ходить в фуражках». Вот эти-то праздные разговоры он «по своему легкомыслию принял за недостаток симпатии к императорской фамилии». Вряд ли, однако, такое объяснение смогло удовлетворить вопрошающих.

В письме от 14 марта, прося Достоевского кланяться общим знакомым (в том числе Спешневу, Филиппову, Григорьеву и др.), поэт неосторожно добавляет «salut et fraternité» («привет и братство»). Такая якобинская лексика не может не покоробить начальственный слух: Комиссия немедленно требует объяснений. «Я употребил эти слова, — спешит успокоить следователей Плещеев, — не придавая им никакого особенного или условного значения».

В бумагах самого Плещеева будет найден еще один небезынтересный документ.

Это — письмо к некоему неустановленному лицу. Плещеев не успел закончить свое послание. Но содержание его в высшей степени любопытно. Плеще-

<sup>1</sup> Этот список Плещеев раздобыл у студента Московского университета Ешевского, имя которого не будет фигурировать на допросах. Но остается неясным, кто доставил текст Достоевскому. Трудно предположить, что Плещеев доверил подобную комиссию почте.

ев вновь пишет о царской фамилии: наконец он имел счастье видеть ее вблизи. Он спешит сообщить своему таинственному адресату, что государь был «очень весел». Не довольствуясь этой существенной информацией, автор письма как бы в раздумье присовокупляет, что монарх любит порой смотреть «Горе от ума». А это, безусловно, доказывает, что «государь гораздо лучше понимает, как вредят разные обветшалые предрассудки успехам общества, нежели многие думают об нем». (Что за неуклюжая фраза: куда девался легкий эпистолярный слог?) Поэт истинно огорчен тем, что «так называемые либералы» вовсе не понимают государя. А между тем он, государь, лучше всех остальных «видит все зло, которое делается в России». Он отнюдь не запрещает на театре ни «Горя от ума», ни даже «Ревизора»! У него, государя, первого явилась мысль об освобождении крестьян! «Столько превосходных вещей слышишь про него со всех сторон, что нужно удивляться», — так (опять же не слишком ловко) завершает Плещеев свой верноподданныческий трактат.

Нужно удивляться другому: наивности автора, который тешит себя надеждой, что этот эпистолярный спектакль будет иметь успех. Ибо для того, чтобы убедиться в *сценарности* текста, нужно лишь определить дату письма.

Письмо помечено 25 апреля. Прошло всего двое суток после петербургских арестов. Даже учитывая скорость фельдъегерских троек, трудно предположить, что в Москве уже знают об этом событии. Но тогда дата письма фиктивна.

Вечером 22 апреля старший адъютант штаба корпуса жандармов, гвардии ротмистр Коханов получил следующее распоряжение графа Орлова: «По Высочайшему повелению предписываю Вашему высокоблагородию, завтра в четыре часа пополудни, арестовать литератора *Плещеева*, живущего на Литейной, против артиллерийских казарм, в доме Пистоленкорса в 5-м этаже по парадной лестнице, в особых покоях от матери, опечатать все его бумаги и книги и оные вместе с *Плещеевым* доставить в III Отделение Собственной Его Величества канцелярии».

Утром 23 апреля ротмистр Коханов рапортует начальству: «...Имею честь доложить, что литератор Плещеев еще не возвратился из Москвы...»

В тот же день на имя московского военного губернатора генерал-адъютанта графа А. А. Закревского направляется (за подписью другого графа и генерал-адъютанта) срочная депеша: «По Высочайшему повелению, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство приказать немедленно и внезапно арестовать Плещеева, вместе с его бумагами, и как его самого, так и бумаги, опечатав последние, отправить в С.-Петербург в III Отделение Собственной Его Импер. Величества канцелярии».

Закревский ответит Орлову 28 апреля: «Получив сего числа в 2 часа пополудни, объявленное мне Вашим Сиятельством ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление, о немедленном и внезапном арестовании, находящегося в Москве С.Петербургскаго литератора *Плещеева*, и приведя эту МОНАРШУЮ волю в точное исполнение, я поспеваю уведомить Вас, Милостивый Государь, что Плещеев, в сопровождении Жандармского Офицера, ныне же отправлен в III Отделение Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии со всеми найденными у него запечатанными бумагами».

Итак, приказ об аресте Плещеева был получен в Москве в четверг 28 апреля в два часа пополудни. Сопоставив этот факт с датой и содержанием плещеевского письма, уместно предположить следующее:

1. Либо о том, что произошло в Петербурге, Плещеев узнал ранее 28 апреля. (А это не исключено, поскольку тому же Закревскому была послана особая срочная депеша, извещавшая его о последних происшествиях.)

2. Либо в тот же день, 28-го, Плещеев, благодаря своим московским знакомствам, узнал о полученном здесь высочайшем повелении, и у него еще оставался час-другой, чтобы привести свои бумаги в более или менее пристойный вид. «Немедленно и внезапно» у власти не получилось.

В любом случае он пометил свое письмо (которое скорее всего написано

26—28 апреля) задним числом. И не приходится сомневаться, что оно предназначено было исключительно для одной цели: чтобы его непременно *нашли*.

«Письмо» обрывается буквально на полуслове: «Но довольно об этом. Скажу тебе несколько слов о здешних женщ.» Это должно было выглядеть очень правдоподобно. Ибо «о здешних женщ.» Плещеев упоминал и раньше. Правда, не в письмах к Достоевскому (тут, надо признать, он достаточно скромно), а в послании к другому лицу — их общему приятелю С. Ф. Дурову.

Женщины — тема, не возбуждаемая начальством.

### «Когда из мрака заблужденья...»

Сообщая о своей московской хандре, Плещеев добавляет, что его могло бы, пожалуй, немного развлечь одно лишь женское общество. «Но я еще с приезда не видал женского лица (если я говорю женского, разумею, во-первых — молодое, а во-вторых — не б...)». Состоящие в браке знакомые не показывают своих жен: «должно быть, или слишком хороши, или, напротив, только для домашнего обихода годятся». Мужские лица не радуют глаз. И вообще автор письма находит, что уличной публичной жизни в Москве несравненно меньше, чем в Петербурге. «Одни старые салопницы шмыгают к вечерне да к всеночной». Отсюда является подозрение, что здесь «любят развратничать тайно, келейным образом».

Чтобы развлечь своих петербургских друзей, Плещеев сообщает две романтические истории. И хотя эти новеллы, в отличие от письма Белинского к Гоголю, не стали предметом государственного дознания, они были тоже приобщены к делу.

Первая история в силу своих этнографических достоинств заслуживает того, чтобы привести ее целиком.

«Один гусар-офицер волочился за женой красильщика. Муж, возвратясь однажды из клуба ранее обыкновенного, застаёт его у себя, пьющего чай с его женой и облаченного в его халат; красильщик не отвечал ни слова на сказку, выдуманную офицером для истолкования такого пассажа, и сам присоединился к чаю. Часа два спустя красильщик зовет офицера посмотреть его фабрику. Офицер, обрадованный, что муж ничего не подозревает, согласился. В красильной в это время стоял огромный чан с *синей* краской, на изобретение которой красильщик только что получил привилегию. Когда они подошли к чану, оскорбленный супруг схватил офицера за шею и трижды окунул его лицом в краску. По окончании этого процесса офицер был совершенно *небесный*. «Ну, давайте я вас вытру», — сказал, рассмеявшись, красильщик и, помочив тряпку в какую-то жидкость, стоявшую на окне в миске, стал вытирать ею лицо офицера. Но это была не вода, а такой состав, после которого краска уже не могла никогда сойти. Офицер в отчаянии бросился в клинику, но, что ни делали доктора, все напрасно. Призвали красильщика, он отвечал, что получил привилегию и не откроеет своего секрета никому, но что перекрасить в черную краску может. Теперь бедный офицер лежит облепленный шпанскими мухами и не имея довольно денег, чтобы заплатить красильщику за открытие секрета. Красильщик — французский подданный, и наказать его нельзя. Не правда ли, славная история?»

Помимо почти не скрываемого сочувствия к наглomu торжеству третьего сословия (хотя и представленного здесь изобретательным чужеземцем), в плещеевском анекдоте можно при желании усмотреть и некий политический смысл. Автор говорит о «совершенно *небесном*» по окончании экзекуции офицере: эпитет, часто прилагаемый к форменной одежде известного ведомства («И вы, мундиры голубые...»). К счастью, обычно проницательная Комиссия не смогла или не захотела уловить столь тонкий намек...

В послании Плещеева Достоевскому от 14 марта после вызвавших законное подозрение слов «salut et fraternité» следует текст, который никаких вопросов у членов Комиссии не вызвал. Но и позднейшие комментаторы тоже стыдливо обошли его стороной.

Плещеев пишет: «Теперь несколько слов об известном члене общества, даром тяготящем землю, а именно о Ваньке (Насте, Типке тоже). Что она поделывает, как живет? Пожалуйста, напишите поподробнее, есть ли у ней деньги; не достали ли вы сколько-нибудь от Дурова? Поцелуйте ее от меня».

Слава Богу: у следователей хватило ума догадаться, что «известным членом общества» именуется отнюдь не лицо, посещавшее Петрашевского или Дурова. Ибо, как можно понять из дальнейшего, упомянутая «Ванька» (Настя, Типка тож) относится к категории женщин, которые занимаются совсем другим ремеслом. Плещеев, очевидно, попытался добиться того, чем на его месте озаботился бы любой мечтатель: вывести падшую «из мрака заблуждения».

Поэтом движет не только высокий альтруизм. Будучи знаком с предметом своих забот не первый день, он руководствуется и более интимными чувствами. И, судя по тексту письма, вся эта история прекрасно известна Достоевскому.

«Я бы дорого дал,— продолжает Плещеев,— чтобы она была в эту минуту подле меня. В последнее время я ее полюбил еще больше, мне грустно ужасно, что ее нельзя перевоспитать... или если можно, то нужны для этого деньги; признаюсь вам, что это была главная причина моей хандры перед отъездом».

Итак, можно заключить: в начале 1849 года (но, очевидно, и раньше), и вплоть до самого своего ареста, Достоевский был наперсником той, чьи черты, возможно, скажутся в его героинях 60-х годов и кого пытался спасти и «перевоспитать» его возвышенный друг. В их доме (только в каком? Плещеев, как мы знаем, жительствоует с матерью, хотя и «в особых покоях»: вряд ли та бы одобрила явление Насти) он — свой человек. Часто ли оставлял поэт свою ветреную подругу на попечение автора «Белых ночей», героиня которых, кстати, носит такое же имя?

Впрочем, подобные попечения нередки в этом кругу.

В следственном деле Пальма сохранилось его послание к Дурову, относящееся к лету 1848 года. В нем упоминается их общий товарищ, тоже усердный посетитель «пятниц», поляк Ястржембский, с дружеской фамильярностью именуемый Паном. Обращаясь к последнему, Пальм не без игривости вопрошает: «Пан!.. Смотрите ли вы за Наденькой? Шалит она или нет? Я слышал, что вы, безбожник, разрушили ее живое намерение написать ко мне письмо... Грех вам!»

Общественное положение Наденьки не очень понятно. Оно необязательно аналогично тому, в каком пребывает лицо, опекаемое Достоевским. Но некоторая двусмысленность тона («шалит ли она?» и т. д.) заставляет предполагать худшее. Вряд ли поручения такого рода давались применительно к светским дамам.

«Наденька! О, Наденька! слышал я про тебя многое; смотри будь умна, слушайся твоего наставника, Пана, и жди меня 1 августа», — отечески заключает Пальм. После чего безмятежно сообщает приятелям, что пишет «большую штуку» — роман «Отцы и Дети». С последним ему следовало бы поспешить.

Заметим, что в трогательные адюльтеры — с непременным участием в них ближайших друзей — вовлечены лица, причастные к изящной словесности.

Конечно, Настенька «Белых ночей» — это не Настя плещеевских писем. Да и Достоевский не обязательно влюблен в «чужую соседку». Однако сюжет наводит на размышления.

Ибо есть основания полагать: мотив «спасения падшей», возможно, заключает у Достоевского и некоторые автобиографические черты. Даже если автор «Белых ночей» сам не «спасал», то, во всяком случае, по мере сил старался спешествовать этому богоугодному делу.

И Лиза «Записок из подполья», и героиня «Преступления и наказания» — родные сестры плещеевской Насти.

«...Помню,— через тридцать с лишним лет скажет поделник Достоевского И. М. Дебу,— с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному «проценту», олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова».

«Кларушки, Минушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег», — тоном любимца публики жаловался он брату в 1846-м, «звездном» своем году. Возможно, впрочем, это чисто риторическая фигура.

«Я благодарен за наслаждение, которое она мне доставляла, — делится с Достоевским Плещеев мыслями о своей подруге, — и желал бы чем-нибудь воздать ей; а между тем я оставил ее почти ни с чем, если принять в соображение, какие ей нужны для первого обзаведения расходы. Да и сам-то поехал я без гроша почти. У меня остается теперь всего 8 рублей сер. Что будет, то будет».

Дурову, который «тоже поэт» и которого Плещеев тоже числит среди своих близких друзей, о Насте не молвлено ни слова. Эта материя доверяется только опытному сердцеведу.

«До ссылки Федора Михайловича в Сибирь, — пишет доктор Яновский, — я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер какой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири, составляло одно из любимых его развлечений».

Знакомые «дамы и девицы», о которых упоминает Яновский, принадлежат, разумеется, к приличному кругу. Но, может быть, изобразитель петербургского дна (или, как остроумно выразился один философ, «преддна») совершал свой «психологический практикум» в той среде, которая была недоступна наблюдениям добропорядочного мемуариста?

В «Записках из подполья» главный герой, которого трудно почесть за образец благородства, обращает к Лизе свои высокочувственные монологи. Указуя на градус ее падения, он рисует одновременно умилительные картины возможного семейного счастья. Сокрушительную пошлость этих воззваний автор старается подчеркнуть эпиграфом — «из поэзии Некрасова»:

Когда из мрака заблужденья,  
Горячим словом убежденья,  
Я душу падшую извлек...

Цитата довольно пространна. Достоевский обрывает ее самым немилосердным образом:

И вдруг, закрыв лицо руками,  
Стыдом и ужасом полна,  
Ты разрешилася слезами,  
Возмущена, потрясена...  
И т. д., и т. д., и т. д.

Своими нравоучительными речами герой «Записок из подполья» предполагает вызвать именно такой педагогический результат.

Впрочем, подобные стихи мог бы написать и Плещеев. (Хотя, разумеется, без неповторимого рыдающего некрасовского звука.)

« — Любишь ли ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю, — говорит подпольный (которому, заметим, всего двадцать четыре года: столько в 1849 году было Плещееву). — Знаешь — розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит!»

« — Что-то вы... точно по книге, — отвечает герою бедная Лиза, — и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе».

Тут, как выразился бы другой писатель, герой понимает, что он открыт. «Больно укололо меня это замечанье», — нехотя признается он.

Меж тем Лиза не хотела обидеть героя. Она лишь случайно отметила литературность подхода. Она не догадывается о том, что ее ночной собеседник — тоже мечтатель.

«Прощайте, жду Вашего письма скоро, — заканчивает свое послание автору «Белых ночей» Плещеев. — Не забудьте мне сообщить сведения о Насте». Но адресат письма, погруженный, как мы помним, в другие заботы, очевидно,

замедлит с ответом<sup>1</sup>. И пребывающий в неизвестности и тревоге Плещеев спешит напомнить о своей просьбе особым письмом. «Напишите мне, прошу Вас, что-нибудь о Н<асте>. Мне очень хочется знать, что с ней», — настоятельно требует он. Засим на автора «Бедных людей» возлагаются новые комиссии — очевидно, в виду их деликатности изъясненные на французском языке: «Если у вас будут деньги, не забудьте о ней, дорогой. Вы мне должны немного, отдайте ей этот пустяк. Я тоже постараюсь послать ей что-нибудь, но нет ничего верного в этом низком мире. Я и сам без денег, совсем растратился». У «неслужащего дворянина» Плещеева практически нет средств.

В самом конце 50-х, после каторги, автор «Бедных людей» займет у получившего наследство поэта огромную сумму — тысячу рублей. Он будет выплачивать долг до конца своих дней. (Остаток вернет уже Анна Григорьевна.) Но сейчас, мучимый жестоким безденежьем (и неотданным долгом Спешневу!), успел ли он возратить *этот* заем?

«Если бы вы только знали,— заканчивает Плещеев,— как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему. Дорогой друг, постарайтесь так устроить, чтобы она до моего приезда не ушла бы из дому. Это было бы самое большое одолжение с вашей стороны».

Как видно, корреспондент Достоевского начинает сомневаться в непогрешимости умозрительных схем. Ибо объект перевоспитания с трудом поддается «горячему слову убежденья». («Мне ужасно грустно, что ее нельзя перевоспитать... или если можно, то нужны для этого деньги».) А ведь вполне допустимо, что оба юных романтика не исключали и такой вариант:

И в дом мой смело и свободно  
Хозяйкой полною войди!

«Из той же поэзии», — жестко пометит автор «Записок из подполья», избрав вышеприведенные строки в качестве эпиграфа к одной из очередных глав.

«Как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему...» — говорит Плещеев. Он понимает, что одними увещеваниями тут не помочь. Свидригайлов избавит Сонечку Мармеладову от рецидивов панели более положительным способом — обеспечив ее сводных брата и сестер. Не был ли при этом учтен горький плещеевский опыт? И еще: не объясняются ли издерганность Достоевского накануне ареста и его судорожные попытки раздобыть у Краевского денег, помимо прочего, еще и возложенным на него поручением?

Плещеев меж тем беспокоился не напрасно. И если Настя стараниями Достоевского «не ушла из дому» до приезда поэта, то скорее всего она сделает это несколько позже. Ибо сам поэт домой уже не вернется...

Каковы, однако, сердечные склонности у остальных?

### «Сколько чувства и огня...»

К чести следователей, надо заметить: ни плещеевская Настя, ни пальмовская Наденька не призывались к допросу. (Во всяком случае, такие документы нам неизвестны.) Не заинтересовали Комиссию и другие, крайне немногочисленные, женские имена, мелькнувшие в аналогичной связи. Например, в изученных проницательными читателями дневниковых записях Момбелли: записи эти доказывают, что интимные предпочтения злоумышленников были весьма широки.

Белой июньской ночью 1844 года автор дневника, поспешая домой из Александринского театра, вдруг обнаружил, что впереди него в том же направлении движется актриса Ольгина, которая в этот день дебютировала в роли Карла II Испанского, *пятнадцатилетнего короля*, в пьесе с одноименным на-

<sup>1</sup> В бумагах Плещеева не были найдены ответные письма Достоевского. Их либо не было вовсе, либо, как уже говорилось, Плещееву удалось в числе прочих бумаг уничтожить их перед самым арестом.

званием. Актриса, как с горестью убедился Момбелли, находилась в положении затруднительном. «Она шла одна по набережной Фонтанки и, по-видимому, приходила в отчаяние от нескромного любопытства обгоняющих и встречающихся мужчин. Как истинный рыцарь по духу, как защитник невинности, я почел себя обязанным предложить ей свои услуги, довести до места жительства, избавить от нескромных взглядов. Она приняла благосклонно предложение и подала ручку, щегольски обтянутую лайковой перчаткою. С большим удовольствием провел ее до самой квартиры ее, находящейся на Фонтанке, между Семеновским и Обуховским мостами».

«Защитник невинности» случился как нельзя кстати. Когда 21-летний лейб-гвардеец и его спутница шествовали мимо казарм, где, как можно понять, размещался полк, в котором служил провожающий, один высунувшийся из окна офицер «бог знает вследствие каких побуждений и соображений вздумал хлопать, аплодировать мне». К шутнику немедленно присоединились несколько его коллег, движимых, очевидно, все теми же, не вполне ясными для автора дневника побуждениями. «Таким образом площадка огласилась неистовым аплодисментом 8 здоровых рук».

Найдя беседу молодой актрисы приятною, Момбелли «просил позволения войти к ней». Провожаемая, однако, вежливо отклонила эту робкую просьбу — под тем предлогом, что у нее гостит приехавшая из Петербурга сестра. Однако была при этом любезна и в дальнейшем просила бывать. «Вот начало моего непродолжительного знакомства с Ольгиною, женщиною во многих отношениях чрезвычайно замечательною», — скромно заключает будущий заговорщик.

Уместно было также знакомиться на маскарадах.

В январе 1845-го автору дневника вновь повезло: ему назначают randevu две милые маски. Свидание (к тому же двойное) назначается не в уединенном гроте, а в месте публичном и в высшей мере благопристойном: а именно — в полковой церкви. Во время воскресной обедни молодой офицер замечает на хорах двух дам, поглядывавших на него с особенным интересом. «Они были в трауре, в черных шляпках и в бурых лисьих салопах, покрытых черным атласом». Разумеется, это не высший свет (о котором всякий поручик втайне мечтает), но, судя по всему, дамы принадлежали к приличному кругу.

По окончании службы заинтригованный Момбелли, естественно, пустился вслед двум таинственным незнакомкам. На улице он решился заговорить с ними. Хотя на сей раз его отвага не удостоилась завистливо-дружеских рукоплесканий, наш хроникер вновь попал в положение затруднительное.

Момбелли излагает диспозицию так: «Шедший за нами барон Герздорф, вероятно, заметил странность начала нашего разговора и как отчаянный волокита, кажется, решился преследовать дам и узнать их квартиру. Я с дамами бродил по разным улицам, Герздорф не отставал от нас. Мы хотели нанять экипаж, чтобы уехать от него, но он, видя наш маневр, тоже нанял извозчика. Мы отказали своему извозчику, и он тоже отказал своему и продолжал преследовать дам. Дамы были решительно в отчаянии. Наконец, выдя из терпения, я подошел к барону и шутя по-товарищески просил прекратить преследование. Герздорф тотчас же исполнил мою просьбу».

Оставив таким образом за собой поле боя, Момбелли провожает дам до квартиры. Но, как и год назад, его не пускают немедля (снова отговариваясь гостями). У дворника, однако, удается узнать, «что старшая из дам Марья Афанасьевна Казелло, недавно овдовевшая». (В этом обилии звучных иностранных имен — Антонелли! Момбелли! Казелло! Липранди! — чудится что-то усмешливое: вот-вот из-за кулис явится сам граф Калиостро.) «Она очень недурна, — продолжает Момбелли свой бюллетень, — черты лица необыкновенно нежны и приятны. Таких блондинок немного в этом мире. Другая же, брюнетка с большими огненными, черными глазами, младшая сестра ее...»

Все это происходит в воскресный день. Во вторник сюжет продолжает развиваться.

«В карауле у Московских ворот. Согласно с маскарадными обещаниями, к платформе подъехали и меня вызвали хорошенькая вдова Казелло и ее хорошенькая сестра. В четверг они позволили мне сделать им первый визит». Как и Петрашевский (вспомним его первую встречу с автором «Бедных людей»), Момбелли позволяет себе заводить знакомства прямо на улице; при этом, правда, объекты их интереса весьма различны.

Достоевский не обладает такой развязностью и сноровкой: представить его в подобной роли вряд ли возможно. «...Молодые люди в своих двадцатых годах, — говорит близко наблюдавший его как раз в эти годы А. Е. Ризенкампф, — обыкновенно гонятся за женскими идеалами, привязываются к хорошеньким женщинам. Замечательно, что у Федора Михайловича ничего подобного не было заметно. К женскому обществу он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию... может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что». Мемуариста, в частности, настораживает то обстоятельство, что Достоевский при этом «особенно любил романс «Прости меня, прелестное созданье», который он то и дело тихо распевал про себя».

«Прелестное созданье» может иметь множество ипостасей. Но, кажется, автор «Белых ночей» предпочитает *соседок*.

Момбелли, однако, живет в реальном пространстве. Он — кто посмеет его осудить? — подходит к такого рода знакомствам с сугубо практической стороны. По прошествии месяца поручик записывает в дневнике: «Сегодня М. А. Казелло застал одну без сестры; последняя уехала на Петербургскую сторону гостить к брату, имеющему там свой дом. В последнее время я часто бывал у Казелло, и сначала ухаживалось за младшею сестрою (замечательна эта безличная фатальность глагола! — *И. В.*), но брюнетка осталась непреклонною и, при всей благосклонности к моим ласкам, заметила, что только одним путем можно получить право на ее дружбу, а именно путем брака. А к законному соединению я не имею никакого расположения в настоящий момент. (Да, никому из них так и не доведется погулять ни на одной свадьбе.— *И. В.*) В то же время старшая сестра, опытная вдовушка, умела понемногу привлечь меня к себе. Однако ж до сих пор дело как-то не ладилось, всегда что-нибудь да мешало, за то сегодня все уладилось превосходно, потому что она была одна и никто нам не мешал, в особенности когда ее маленький сын улегся спать».

Строгий государственный карандаш — отдадим ему справедливость — не осквернит своими завистливыми пометами эту лирическую картину. Равно как и завершающее ее резюме: «Чудная женщина: что за формы! Что за тело! Сколько чувства и огня, хотя и блондинка. Сестрицы по происхождению еврейки».

Еще через пару месяцев Момбелли в почтовой бричке отбывает в Москву. (Кстати, он достигнет ее на четвертый день; фельдъегерские тройки скакали резвее.) «Последнюю ночь перед отъездом приятно провел у Марьи Афанасьевны. При прощании она мне дала на память золотое сердечко с своими волосами, а я оставил ей на память правый эполет».

Эта запись сделана 21 апреля 1845-го. Ровно через четыре года (почти день в день) автор будет взят вместе со своим дневником. Сорвут ли с него эполеты, перед тем как привязать его к смертному столбу?

Пора вернуться в их роковой год.

### *Суэта вокруг борделя*

В полицейском деле Плещеева сохранился документ:

«Квитанция. 2 мая 1849. Дана сия поручику Московскаго Жандармскаго Дивизиона *Потанову* в том, что литератор *Плещеев*, доставленный им <...> со всеми принадлежащими ему *Плещееву* бумагами в Санктпетербург, принят в III Отделение Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярии в должной исправности».

Он действительно будет доставлен «в должной исправности» и присоеди-



нен к остальным. Среди которых вот уже десять дней находился автор «Белых ночей».

Трудно, однако, предугадать, где, когда и при каких обстоятельствах может явить свою усмешку судьба. И что, например, деликатная тема, связавшая двух молодых друзей, вдруг зазвучит в совершенно неподходящем для этого месте: в мрачных стенах их крепостного узилища.

В тот самый день, 14 марта, когда Плещеев пишет свое письмо Достоевскому, один из агентов Липранди, В. М. Шапошников, тоже сочиняет некоторый текст. Он доносит начальству, что табачная лавка его однофамильца, П. Г. Шапошникова, служит пристанищем для самых отъявленных бунтовщиков. В качестве таковых называются студенты Катенев и Толстов. Сообщается о ведущихся разговорах — «кому из ми<нистров> какой конец» и о намерении истребить царя. Докладывается также, что злоумышленники — очевидно, желая вознаградить себя перед грядущими подвигами — прихватывают с собой другого агента — Наумова и отправляются «в один вольный дом содержательницы Блюм».

«Такое соседство подпольной революционной организации с публичным домом выглядит фантазмагорической комедией...» — справедливо замечает Б. Ф. Егоров.

Агент Наумов доносит: в указанном заведении Блюм Василий Катенев «провозглашал республику», причем делал это в присутствии многих лиц (среди которых, надо полагать, были и те, кто трудится в заведении: об их реакции на популистские призывы Катенева, впрочем, умалчивается). Обеспокоенные этой информацией члены Комиссии потребовали г-жу Блюм для объяснений, «но, — сообщает Б. Ф. Егоров, — она к этому времени уже умерла».

Есть подозрение (правда, вряд ли доказуемое), что г-жа Блюм умерла под впечатлением другого допроса, учиненного ей чиновниками III Отделения, в чьих архивах сохранился подлинник дела. Оно до сих пор не было известно. Между тем откровения г-жи Блюм представляют некоторый исторический интерес.

10 августа Дубельт по поручению секретной Следственной комиссии имеет честь покорнейше просить петербургского обер-полицмейстера А. П. Галахова «отыскать и доставить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии содержательницу публичного дома *Блюм*», об исполнении чего не оставить его, Дубельта, «благосклонным уведомлением». (ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 1849, д. 214, ч. 114, л. 2.)

Для городской полиции не составляло труда «отыскать и доставить»: заведения подобного профиля находились под ее неусыпным призором. Блюм допросили: ниже мы будем цитировать протокол.

«Вопросы, предложенные содержательнице публичного дома *Блюм*, и ее ответы» — так называется документ.

«Как ваши имя и фамилия, какого вы звания, чем вы занимаетесь и какие имеете средства для содержания себя?» Спрашиваемая кратко, но с достоинством отвечает: «Зовут меня Вильгельмина *Блюм*, рижская гражданка, вдова, отдаю в наем квартиры и от этого имею содержание».

Тут бы и оставить честную вдовицу в покое. Но бдительные чиновники III Отделения желают ведать подробности. «Справедливо ли, что вы содержите непотребных женщин, — без тени смущения осведомляются они у г-жи Блюм, — и если это справедливо, то не припоминаете ли вы двух молодых людей, купеческих сыновей, Василья *Пронина* и Василья *Катенева*?»

Г-жа Блюм, как женщина умная, понимает, что заpiresательство бесполезно, и соглашается сразу, нимало не настаивая на предыдущей (строчкой выше заявленной) версии: «Это справедливо; но не помню и не знаю ни Василья *Пронина*, ни Василья *Катенева*; быть может, они были у меня, и если бы я их увидела, то могла бы сказать, что они посещали или не посещали мою кварти-

ру; еще и то должна присовокупить, что означенные лица могли быть у меня в то время, когда я была в отсутствии и, следовательно, их не видела».

Впрочем, отвечая на первый вопрос, вдова не обязательно лжет. Не исключено, что, помимо основной своей деятельности, она действительно сдавала квартиры в наем (да и основной ее промысел можно квалифицировать как краткосрочную сдачу жилья). Но неужели г-жа Блюм запомнила, что в данном случае закон не на ее стороне?

В архивах III Отделения покоится весьма специфический документ, который, казалось бы, не имеет касательства к деятельности этого учреждения. Документ озаглавлен: «Правила содержательницам борделей (утвержден Министерством внутренних дел 29 мая 1844)». Очевидно, направляя копии «Правил» в распоряжение тайной полиции, Перовский мудро предвидел, что интересы обоих ведомств могут совместиться на означенном поприще.

Итак, первые три пункта «Правил» гласят:

«1. Бордели открывать не иначе как с разрешения полиции.

2. Разрешение открыть бордель может получить только женщина средних лет, от 30 до 60. (Разумное попечение о молодых девушках и престарелых; похвально также, что из числа потенциальных содержателей исключены мужчины.— *И. В.*)

3. Содержательница борделя, если имеет детей, не должна держать их при себе. (Тоже не лишнее гуманности правило.— *И. В.*) Равно не может иметь жилищ». (ГАРФ, ф. 109, оп. 1844, д. 111, л. 1.)

Г-же Блюм надлежало бы выбрать что-то одно: либо сдавать квартиры, либо содержать бордель.

Но удивляет не это. Реальная (официально задокументированная!) ситуация, в которую вовлечена почтенная уроженка города Риги, разительно напоминает другую: ту, которая спустя четверть века будет изображена в русской классической прозе.

Вглядимся в портрет: «...дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величинной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала». Хозяйка публичного дома явилась в полицейскую часть: ей приходится держать ответ за учиненный посетителями скандал.

« — Луиза Ивановна, вы бы сели, — сказал он (письмоводитель. — *И. В.*) мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.

— *Ich danke*<sup>1</sup>, — сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул».

Да, текст узнаваем. Луиза Ивановна из «Преступления и наказания», несмотря на понятную робость, имеет дело с полицией, надо полагать, не впервой. Можно, однако, представить степень ее смятения, если бы вдруг она, как и другая немка, ее товарка по ремеслу, оказалась перед всевидящим оком полиции тайной — в самом грозном присутственном месте империи.

Луиза Ивановна (как, впрочем, и Блюм, вряд ли знавшая, по какому поводу ее вытребовали в здание у Цепного моста) могла подозревать, что с нее взыщут за нарушение упомянутых «Правил». Выбор предлогов для этого был довольно широк:

«4. Содержательница борделя, при получении разрешения, обязывается подпискою в том, что будет соблюдать все относящиеся к здоровью женщин ее правила, которые будут установлены...

5. Чтобы в борделе промысел производился только теми женщинами, которые значатся по их спискам; посторонния же ни в каком случае к тому допускаемы не были...

8. В число женщин в борделях не принимать моложе 16-ти лет».

<sup>1</sup> Благодарю (*нем.*).

Луизу Ивановну призвали в полицию по другой статье. Темпераментный поручик Порох «всеми перунами» набрасывается на бедную немку. (Случившийся тут же Родион Раскольников с изумлением наблюдает сцену.)

Г-жу Блюм допрашивал, разумеется, не помощник квартального надзирателя, и обращение там, где она очутилась, было, как можно предположить, по-вежливее, чем в полицейском участке. Но сама г-жа Блюм — тот же психологический тип, что и романная героиня Достоевского. Это особенно видно в ответе *свидетельницы* на третий вопрос: он, по-видимому, должен был произвести на нее сильное впечатление.

«Если помните или быть может знаете, то объясните, с полной откровенностью, что они говорили бывши у вас в Апреле месяце сего года, и не имели ли какого-либо вольного против правительства разговора, а равно не произносили ли они слова: республика».

Г-жа Блюм — не лыком шита. Она немедля смекает, что дело нешуточное. И отвечает так, чтобы не только обезопасить лично себя, но и поддержать репутацию заведения: «Кто был у меня в Апреле месяце, решительно не помню, относительно же политических предметов не только в назначенное время, но никогда не слыхала, чтобы приходящие ко мне посетители говорили о подобных делах или о правительстве или произносили слово: «республика». Ручаться же не могу, быть может, в отсутствие мое из квартиры посетители и имели таковые рассуждения, и если правительству угодно дозволить, то я допрошу всех жительствующих у меня женщин, и донесу обо всем, что они объяснят мне по означенному предмету».

«Содержательница борделя» спешит заявить, что у нее не может быть никакого скандала, тем паче с оттенком политическим. Здесь она так же изобретательна, как и романная Луиза Ивановна, уверяющая поручика Пороха в собственных добродетелях.

В том месте упомянутого выше романа Ковалевского, где повествуется об апрельских арестах, замечено: «Понахватили женщин — обездолили даже приют Софьи Федоровны...» Не дальний ли отзвук это происшествий реальных? Романная «Софья Федоровна» должна корреспондировать, по-видимому, с реальной Вильгельминой Блюм. Но что стоит за словами — «понахватили женщин»? Не говорит ли это о том, что девушки из заведения были допрошены?

Сама Вильгельмина Блюм, в виду того, что интерес к ней тайной полицией обнаруживал явную политическую подкладку, очевидно, уже не опасалась административных кар за нарушение «Правил». Хотя некоторые из пунктов при желании могли быть обращены против нее. Например:

«21. На ответственности содержательницы лежит охранение в борделе тишины и возможной благопристойности...»

23. Мужчин несовершеннолетних, равно воспитанников учебных заведений ни в коем случае не допускать в бордели».

Следует отдать должное составителям. Понимая специфику предмета, они толкуют отнюдь не о соблюдении нравственного закона. Речь идет токмо об охранении тишины и *возможной* благопристойности, то есть внешних приличий. Произнесение слова «республика» может трактоваться как нарушение этих условий.

Что же касается «мужчин несовершеннолетних», 19-летний Василий Катенев подпадает под этот запрет. Правда, он не воспитанник учебного заведения: термин этот более приложим к учащимся закрытых военных или гражданских школ (таких, как Инженерное училище, Кадетский корпус, Училище Правоведения, и т. п.). Вольнолюбивых студентов труднее удержать от соблазна.

Разумихин сообщает Раскольникову об одном их общем знакомце: «Теперь приятели; чуть не ежедневно видимся... У Лавизы с ним два раза побывали. Лавизу-то помнишь, Лавизу Ивановну?»

Раскольников может помнить Лавизу Ивановну только в том случае, если

он состоял в числе ее обычных клиентов. (Кстати, и он, и Разумихин обучаются в том же университете, вольнослушателем которого состоял Василий Катенев.) Но только ли юный Катенев, никогда не бывавший в Коломне, посещал заведение Блюм? Не появлялись ли там (да простится нам это кощунство) и некоторые из завсегдатаев «пятниц»?

В том самом донесении Антонелли, где он повествует о своем блестящем дебюте у Петрашевского (в пятницу 11 марта), есть одно довольно туманное место. Антонелли говорит, что он вышел от Петрашевского вместе с Толлем и Львовым. При этом, заметив, что хозяин дома особенно расположен к Толлю, агент стал искать случай как-нибудь сблизиться с последним. «...Как вдруг он сам,— продолжает Антонелли,— предложил нам, т. е. мне и Толлю, провести где-нибудь вместе ночь. Львов сперва согласился, но потом потихоньку ушел. Проведши с Толлем целую ночь, утром он пил у меня чай, потом я был у него и, наконец, мы вместе в Пассаже завтракали».

Эпизод совершенно невинный, облагороженный сверх того внезапно вспыхнувшей дружбой. (Непонятно, правда, почему сбежал застенчивый Львов.) Однако имеется документ, где те же события зафиксированы повторно. Это — уже упоминавшиеся нами (неопубликованные) донесения Липранди министру внутренних дел.

Липранди, как сказано, не просто переписывает антонеллиевские отчеты. Он позволяет себе слегка дополнять и редактировать их. У Липранди фраза о совместном времяпровождении Антонелли и Толля выглядит так: «Проведя в одном из известных домов оставшуюся часть ночи...» и т. д.

Вряд ли Липранди возводит напраслину на своего целомудренного агента. Просто Антонелли в своих официальных письменных изъяснениях не столь откровенен. При устных же доношениях он не считает нужным скрывать от начальства некоторые пикантные подробности — тем более если их можно связать с необходимостью дополнительных расходов.

В каком же «известном доме» побывали Антонелли и Толль? Не воспользовались ли они гостеприимством все той же г-жи Блюм? Не будем распространять эти вопрошения на того, чьей творческой фантазией или опытом (одно, впрочем, не исключает другого) вызван к жизни незабываемый облик Луизы Ивановны. Заметим только: автор знает предмет.

Владимир Владимирович Набоков утверждал, что автор предмета *не* знает.

### ***Катков и Набоков против Сонечки Мармеладовой***

Правда, создатель «Лолиты» не простирает это свое утверждение на содержательниц публичных домов. Его негодование направлено преимущественно против *благородных проституток*, чьи образы представляются Набокову нестерпимо пошлыми. Касаясь известной сцены чтения Евангелия в «Преступлении и наказании» (сюжет о воскрешении Лазаря), Набоков цитирует фразу Достоевского, которая, по его мнению, не имеет «себе равных по глупости во всей мировой литературе»: «Огарок уже давно погас в кривом подсвечнике, тускло освещающая в этой нищей комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Набоков полагает, что это не только «ключевая фраза романа», но и «типично достоевский риторический выверт».

Согласимся, что приведенная Набоковым цитата — не самый удачный пример из достоевского. (Хотя в ней нет ничего страшного: в худшем случае она напоминает бойкое литературоведческое *наблюденьице*.) Но пассаж этот как раз «нетипичен» для Достоевского. Ибо в целомом, лишенном явных дидактических акцентов стилистическом поле романа сей «указующий перст» выглядит не очень уместно.

Вряд ли, читая свои лекции американским студентам (а комментарий к «достоевскому выверту» содержится именно там), Набоков мог помнить (или, допустим, знать), какие метаморфозы происходили с романом.

Летом 1866 года издатель «Русского вестника», где печаталось «Преступление и наказание», М. Н. Катков потребовал от Достоевского кардинальной переделки именно той сцены, которая привлекла негодующее внимание автора «Дара». И Достоевский *вынужден* был подчиниться.

«*Зло и доброе* в высшей степени разделено, и смешать и. и истолковать превратно уже никак нельзя будет», — пишет Достоевский одному из редакторов «Русского вестника» Н. А. Любимову. Сама интонация этих эпистолярных отчетов свидетельствует о том, что автором принесены немалые жертвы: «А теперь до Вас величайшая просьба моя: *ради Христа* — оставьте все остальное так, как есть теперь. Все то, что Вы говорили, я исполнил, все разделено, размежевано и ясно. (То есть нарушен существеннейший принцип художественной диалектики автора: взаимопроникновение противоположных стихий. — И. В.) *Чтению Евангелия* придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на Вас понадеяться: поберегите бедное произведение мое, добрейший Николай Алексеевич!»

По требованию редакции исправив главу (ее первоначальный вариант до нас не дошел), автор умоляет о снисхождении. И здесь, конечно, уместен вопрос: не является ли фраза, столь покоробившая Набокова, следствием *вынужденных* литературных усилий? И что этот (впрочем, не очень заметный) художественный диссонанс вызван редакторским вмешательством в текст?

Через несколько дней после своего *оправдательного* письма Достоевский сообщает А. П. Милюкову некоторые подробности. Он говорит, что Катков и Любимов были едины во мнении, что одну из представленных глав «*нельзя напечатать*»: «Я с ними с обоими объяснялся — стоят на своем! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасности за *нравственность*».

«Дело не в литературном достоинстве...» (То есть не в том, что важнее всего, скажем, тому же Набокову.) Тогда в чем же? Конечно, по причине отсутствия изначального текста трудно судить, что именно смутило высокоморальных редакторов «Русского вестника». Высказывалась даже смелая мысль, что в исключенном фрагменте Соня «стала возлюбленной» Раскольниковова. (Интересно: как бы воспринял чуткий Набоков этот *беспрюгрышный* сюжетный ход?)

Сам Достоевский был убежден, что он не преступал требований морали и законов художественности. «...Ничего не было против нравственности, — пишет он Милюкову, — и даже *чрезмерно напротив*, но они видят другое и, кроме того, видят следы *нигилизма*».

Публикуя это письмо в 1889 году, через восемь лет после смерти Достоевского и два года после смерти Каткова (Любимов был еще жив), редакция «Русского вестника» с запоздалым сочувствием присовокупила, что ее автору «не легко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшей самопожертвование до жертвы своим телом». Из этих слов становится ясно, почему автор «Преступления и наказания» уверяет, что в сцене чтения Евангелия не только не была попорана нравственность, но даже — «*чрезмерно напротив*». Ибо он, автор, в силу собственных художественных задач как раз и стремится к «утрированной идеализации» героини. И, надо думать, делает это совершенно сознательно. Трудно, правда, постичь, почему редакция «Русского вестника» обнаружила здесь признаки нигилизма. Не потому ли, что «падшей» приличнее выступать в традиционной роли спасаемой, нежели брать на себя функции социального педагога?

И тут мы вдруг замечаем удивительный парадокс. Сугубо идеологические претензии редакторов «Русского вестника» к своему не вполне удобному автору «рифмуются» с эстетическими недоумениями того писателя, который, как это очевидно любому, кто хоть раз заглядывал в его текст, на дух не переносит никаких идеологических предпочтений.

Набоков не может принять «добродетельных проституток» Достоевского

потому, что они далеки от *правды жизни*. «Что же касается Сони,— замечает автор «Лолиты»,— мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом. Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово».

Это, положим, зависит от характера *слова*.

«Добродетельны проститутки» Достоевского столь же нетипичны, сколь и Раскольников, которого, в свою очередь, тоже можно было бы поименовать «добродетельным убийцей». (Как, скажем, Свидригайлова — «добродетельным негодяем».) Творца «Преступления и наказания» не интересует *предметность* — в том смысле, в каком ее понимает (и гениально изображает) Набоков. Достоевского занимают не хищно подмеченные подробности, а, как сказал бы Иосиф Бродский, метафизика темы.

Теперь еще раз вернемся к той злополучной фразе, которая так возмутила автора «Дара»: о совместных чтениях «вечной книги» Раскольниковым и Соней. Говоря об исправленной им версии этого текста, Достоевский выказывает сильнейшее опасение — «удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли *сами?*» Автор как в воду глядел. Катков посылает Достоевскому «для просмотра» корректуру все той же главы. При этом деликатно сообщает: «...я позволил себе изменить некоторые из приписанных Вами разъяснительных строк относительно разговора и поведения Сони». Так, может, набоковские претензии уместнее было бы обратиться к непрошеному *соавтору?*

Мы забыли, однако, о г-же Блюм.

#### «В чем заключались сношения...»

Комментируя по просьбе Следственной комиссии некоторые материалы процесса, Липранди делает попутно одно профессиональное замечание.

В бумагах Комиссии сказано: «Гостиница Блум на Садовой улице против управы благочиния». (То есть напротив здания, где размещалась полиция!) «Это не гостиница, — снисходительно уточняет всезнающий Липранди, — а публичное заведение, как это и названо в донесении № 11, оно обратило мое внимание потому, что как некоторые члены общества Петрашевского, так и Петра Григорьева (так именуется владелец табачной лавки П. Г. Шапошников. — *И. В.*) преимущественно посещали это заведение публичных женщин, где я и устроил было надлежащее наблюдение».

Итак: Иван Петрович Липранди простер свое внимание до самых последних мелочей. Однако каким же образом осуществлялось устроенное им «надлежащее наблюдение»? Естественнее всего предположить, что были «задействованы» сотрудницы г-жи Блюм: к числу агентов-мужчин Липранди мог добавить одну-двух из наиболее смысленных девиц. Вряд ли, впрочем, они составляли *письменные* отчеты: следов последних мы не обнаружили в деле.

При этом наша (могущая показаться неосновательной, а то даже и фривольной) гипотеза находит косвенное подтверждение в одном забытом источнике. Это — «Конфиденциальная записка, составленная генерал-адъютантом графом Ридигером в августе 1855 г.». Говоря о новшествах, введенных в Министерстве внутренних дел при графе Перовском, генерал замечает, что «особенное внимание было употреблено на образование тюремной тайной полиции, подобно как некогда она существовала при Фуше». (То есть, очевидно, подразумевается система осведомителей и что-то вроде курирующих их «спецотделов» в пенитенциарных учреждениях России: традиция уходит глубже, чем можно было бы предположить.) И Ридигер добавляет: «Точно то же насчет женщин свободной жизни: многие из них в разных случаях были употребляемы с незаменимою пользою». Не имеет ли в виду осведомленный генерал успехи, достигнутые по этой части в заведении г-жи Блюм?

Но на этом совпадения не заканчиваются.

Заметим: у интересующего Следственную комиссию Василия Катенева имеется одно существенное достоинство. Он в некотором роде *литератор*. Он, как и Раскольников, печатается в газете: в данном случае в «Ведомостях СПб. полиции». Ему также принадлежит сочинение, не обнаруженное в его бумагах, но сохраненное для потомства цепкой памятью агента Наумова:

Прости, великий град Петра,  
Столица новая разврата,  
Приют цепей и топора,  
Мучений, ненависти, злата, и проч.

«Приютом *топора*» — так (разумеется, исходя из личного опыта) мог бы назвать Северную Пальмиру и Родион Раскольников. «Столица новая разврата», — гневно обличает Катенев, в то же время предаваясь таковому в заведении г-жи Блюм. (Хотя, возможно, он и преследует при этом высокие миссионерские цели.) Неужели идейный посетитель скрыл от хозяйки борделя, что сотрудничает в полицейских «Ведомостях» — обстоятельство, могущее обеспечить ему уважение *окружающих* и ряд связанных с этим мелких привилегий и льгот?

Но ведь и лицо, учинившее дебош в заведении Луизы Ивановны (этот, так сказать, внесценический персонаж «Преступления и наказания»), тоже причастно литературе. Ему, музицирующему на фортепьяно при помощи ног, подбившему глаз девушке «Генриет» и дворнику Карлу и даже дерзнувшему «пять раз» по щекам саму Луизу Ивановну, хватает ума заявить, что он напечатает про всех «большой сатир». Ибо, как излагает его угрозу напуганная Луиза Ивановна, «я во всех газет про вас все сочинил».

« — Из сочинителей значит? » — оживляется при этих словах поручик Порох. Собственно, на этой ноте и завершается сцена: «Вот они, сочинители! — И он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. — ...Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи... тьфу! А ты пошла! Я вот сам к тебе загляну... тогда берегись! Слышала?»

Луиза Ивановна с уторопленной любезностью пустилась приседать во все стороны и, приседая, дотянулась до дверей... и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы».

Трудно сказать, таким ли манером покинула другую «контору» Вильгельмина Блюм. Но если судить по ее ответу на заключительный последний вопрос («Если знаете что-либо еще предосудительное или противозаконное об этих лицах, то скажите все чистосердечно, под страхом строгой ответственности?»), то сделала она это с чувством совершенного долга: «С полной откровенностью, повторяю, что, кроме вышеозначенного, я ничего добавить не могу».

Самое забавное в «деле Блюм» — само существование этого *дела*. Думается, что в романе П. М. Ковалевского (он, кстати, был близок с Дуровым и Пальмом) косвенно отражен именно этот сюжет. Вернее — счастливое его решение.

«Благонадежные девицы Софьи Федоровны были возвращены по первому же ее слову к месту их служения, благодаря связям почтенной женщины в комиссии... (Не хочет ли автор намекнуть, что сами господа генералы пользовались услугами заведения? — *И. В.*) Пробовали было, для порядка, допросить и заговорщиц; но совершенно непосредственное хихиканье при первом заданном вопросе: в чем заключались их сношения с заговорщиками? и лаконичный ответ: «Занимались с ними», — заставили допустить в их пользу исключение».

Фантазмагория русской жизни тем и неодолима, что носит универсальный характер.

Нам, как уже сказано, не хотелось бы возвращаться к давнему спору — вел ли Достоевский в молодости рассеянный образ жизни, или же он и в самом деле жил «как святой». Это в конце концов ничего не меняет. Важно другое. В его прозе щедрой кистью изображены содержательницы и содержанки публичных

домов, сводни и их жертвы — короче, «панель» в разных ее ипостасях. История семейства Мармеладовых в «Преступлении и наказании», Лиза «Записок из подполья» (кстати, тоже рижская уроженка) и едва избежавшая этой участи Нелли Смит из «Униженных и оскорбленных» — все это разные стороны темы, которая обретает у Достоевского воистину метафизический смысл. Ни у одного из русских писателей XIX столетия нет ни этого направленного интереса, ни такого знания специальных подробностей. (Что бы ни говорил по этому поводу Владимир Набоков.) Будучи поверенным Плещеева и его вызволяемой «из мрака заблужденья» подруги, автор «Белых ночей» как бы собственным опытом изживает предрасположенность романтического сознания к высоким или сентиментальным развязкам. Что, как это ни парадоксально, неким загадочным образом связано и с преодолением социального романтизма.

Ибо часы петербургских мечтателей уже сочтены.

## Глава 5. АРЕСТОВАНИЕ НА РАССВЕТЕ

### *По высочайшему повелению*

10 апреля был *знак*. В маскараде, имевшем место в Дворянском собрании (тема маскарада является вновь, возвещая о скором финале), некая маска приблизится к Пальму и интимно шепнет ему о необходимости соблюдать осторожность. Петрашевский, в свою очередь, полагает, что все это вздор: попросту их решила разыграть *девка* Милютина (которую иные исследователи почему-то предпочитают именовать горничной: меж тем персонаж этот, возможно, соответствует плещеевской Насте). Хороший французский выговор таинственной незнакомки заставляет Пальма отвергнуть такое предположение.

15 апреля, на предпоследнем собрании в Коломне, Достоевский оглашает знаменитое Письмо.

В те же самые дни чтеца одолевают и другие заботы. Он в очередной раз умоляет Краевского прислать ему некоторую сумму (спешневские деньги, надо полагать, давно уже вышли): «Что Вам 15 руб.? А мне это будет много... Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в «Отчестственных» записках».

Наступает последний вечер: пятница, 22 апреля 1849 года. Антонелли аккуратно подсчитывает, что на сей раз собралось двенадцать человек — не считая хозяина. Засим перечисляются имена.

«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня».

«Послушайте, молодой человек! — якобы молвил однажды граф П. А. Пален (главное действующее лицо в заговоре, поведшем к умерщвлению государя) тезке убиенного императора, Пестелю Павлу Ивановичу. — Если вы хотите сделать что-нибудь путем тайного общества, то это глупости, потому что, если вас двенадцать, двенадцатый непременно окажется предателем...»

Антонелли оказался тринадцатым.

Но чем же занят в эти часы один из отсутствующих учеников?

В шесть часов пополудни Андрей Михайлович Достоевский, проходя по Загородному проспекту, неожиданно сталкивается с братом Федором. Брат жалуется на нездоровье; говорит, что хочет поехать на лето куда-нибудь подлечиться. Они условливаются сойтись послезавтра, в воскресенье, — у брата Михаила Михайловича.

Все, о чем было говорено, сбудется с некоторым перекосом. Один из беседующих действительно *переменил обстановку*: у него будет веселое лето. Сойдутся же они вновь даже чуть раньше, чем предполагали, — через какие-нибудь двенадцать часов, в здании у Цепного моста. (Лишь благодаря досадной случайности третий брат будет отсутствовать.)

Мы забыли упомянуть, что беседа братьев протекает на фоне церкви Семеновского полка. У режиссера хватило такта не втаскивать в кадр Семеновский плац.



Меж тем, множа грозные предвестья, не на шутку разыгрывается непогода. В семь часов вечера вымокший до нитки прохожий стучится в квартиру Яновского. Они пьют с доктором чай; у огня сушатся сапоги гостя. В девять Достоевский поднимается: пора в Коломну. Дождь продолжает лить, как бы заграждая дорогу. У Достоевского нет денег на извозчика — и из железной копилки, назначенной для вспомоществования нищим, извлекаются шесть серебряных пятаков. Вскоре на берегу Иртыша он получит первое свое подаяние: четверть медной копейки.

Судьба предпочитает косвенные намеки.

Итак, в девять он покидает Яновского. Он уходит в ночь, и следы его теряются во мраке. Не будем вычеркивать предыдущую фразу, ибо со следами действительно наблюдается известная путаница.

Принято считать, как нечто само собой разумеющееся, что Достоевский участвовал в последнем вечере у Петрашевского. Откуда это известно?

Яновский утверждает, что его гость прямо от него направился в Коломну к Петрашевскому. Допустим, что у гостя действительно было такое намерение. Однако до Петрашевского он не дошел.

Утром 23 апреля, донося о вчерашнем вечере (почти все участники которого уже находятся в III Отделении), Антонелли ни словом не упоминает о Достоевском. Зато он излагает речь Баласогло, который после ужина попросил у присутствующих позволения «излить желчь». Присутствующие охотно позволили, и тогда (повествует самый внимательный из них) почему-то досталось «бедным, несчастным литераторам» (в эпитетах Антонелли можно уловить ноту профессиональной солидарности: он как-никак тоже *пишет*). При этом Баласогло подверг персональному осуждению автора «Неточки Незвановой». Находись автор тут же, у него, надо думать, нашлись бы возражения, да и его обвинитель не был бы столь суров.

Достоевский — последняя из тем, обсуждаемых в Коломне: под занавес. Но прежде, чем занавес упадет и тьма поглотит действующих лиц, еще раз зададимся вопросом: где наш герой?

Михаил Михайлович известил следствие: «Мне крайне нужно было говорить с братом... В надежде увидеться с ним я пошел к г-ну Петрашевскому... Но брата там не было». (Присутствие самого Михаила Михайловича аккуратно зафиксировано ночным стенографом.)

И, наконец, решающее свидетельство. «Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева...» Это говорит сам Достоевский.

Итак, Достоевский был у Григорьева. Не совсем ясно, почему он пренебрег возможностью посетить собрание, где всего неделю назад так блистательно выступил в качестве чтеца. Впрочем, у него и Григорьева могли быть свои заботы. Достоевский, кстати, не утверждает, что он был единственный гость. Никто из членов спешневской «семерки» (кроме поручика Момбелли) не присутствует у Петрашевского в эту ночь. Вряд ли это случайность.

Очевидно, накануне ареста все, кто связан между собой замыслом типографии, проявляют повышенную нервозность (не этим ли объясняется возможный перенос печатного станка — или его частей — от Спешнева к Мордвинову: «за день, за два до ареста», как говорит Майков?). Может быть, до них доходят какие-то тревожные слухи? Во всяком случае, из всего круга петрашевцев ареста должны были в первую очередь опасаться именно они — те, кто был вовлечен в настоящий заговор.

Их взяли на рассвете.

### 23 апреля 1849: доклад министру

Этот архивный том насчитывает 221 лист и называется длинно: «Разные сведения по производимому делу о злоумышленных действиях Титулярного Советника Буташевича-Петрашевского и его сообщников. Донесения Действительного Статского Советника Липранди Господину Министру Внутренних

дел. С 24 Апреля по Декабря 1849 года и некоторые другие бумаги». (РГБ, ф. 203, п. 221, ед. хр. 2.)

Том открывается копией доклада Липранди Перовскому от 24 апреля 1849 года. Снятая скорее всего самим предусмотрительным автором, она помечена грифом «Конфиденциально» и датирована днем, следующим за тем, когда были арестованы Достоевский и его сотоварищи. Текст этот оставался доселе неизвестным<sup>1</sup>.

О чем же сообщает министру внутренних дел (только что за свои полицейские труды пожалованному в графы) усерднейший из чиновников его министерства?

«Вашему Сиятельству известно,— начина т Липранди, титулуя начальника в соответствии с его новым достоинством,— что арестование злоумышленников решено было произвести не во время собрания их у *Петрашевского* с соблюдением предложенных мною мер, но каждого порознь, на своей квартире сего числа в 5 часов утра».

Иван Петрович докладывает начальству, что на протяжении двух суток «денно и ночью» он трудился вместе с генерал-лейтенантом Дубельтом «для приведения некоторых обстоятельств в ясность и чтобы сдать ему дело, которое было ведено мною в течение 13 месяцев в глубочайшей и никем не проникнутой тайне и которое до того времени вовсе не было ему известно». Липранди не считает возможным утаить от министра, что первое (если не считать самого графа Орлова) лицо из «параллельного ведомства» было крайне уязвлено таким оборотом событий. «При всем желании его скрыть негодование, я в каждом слове видел оное». Иван Петрович не берется сказать, к чему собственно относится возмущение его бывшего сослуживца — к тому ли, что тот не мог проникнуть в злонамеренное общество и что оно «было следимо не людьми, ему подведомственными», или к тому, что он был оскорблен недоверием к нему графа Орлова. Неудобство усугублялось тем, что Липранди, как он говорит, знал Дубельта (своего «одноштабного с 1812 года») тридцать семь лет. Оба пролили кровь за отечество: Дубельт был ранен при Бородине; Липранди получил тяжелую контузию под Смоленском. Прошедшие после славной войны десятилетия могли бы служить порукой их взаимного доверия.

Во всяком случае, несмотря на такую весьма щекотливую для Липранди позицию, он полагает справедливым довести до сведения своего министра «о полном желании генерал-лейтенанта Дубельта содействовать успеху дела». У генерала «при всем оскорбленном самолюбии» хватило ума и такта поставить пользу государственную выше, как ныне принято выражаться, личных амбиций.

Тут мы вынуждены прервать мерное течение адресованного графу Перовскому рассказа и вновь обратиться к «Введению по делу Петрашевского», которое уже приводилось выше. В его неопубликованной части Липранди помимо прочего останавливается на событиях, случившихся несколькими сутками раньше. Описание это содержит ряд таких пикантных подробностей, которые, конечно, не могли попасть в предназначенный министру официальный отчет.

Как свидетельствует автор «Введения...», 20 апреля, то есть в среду, его потребовал к себе граф Перовский. В кабинете министра, как и год назад, Липранди застал графа Орлова. (Заметим, что начальник III Отделения по мере надобности сам заезжает к стоящему ниже его по негласной иерархии министру внутренних дел — запросто, не чинясь. Что как будто говорит в пользу их личной близости.) Орлов довел до сведения Липранди, что во исполнение высочайшей воли арестования должны быть произведены в ближайшую пятницу и поэтому «теперь необходимо будет действовать Дубельту». Граф Алексей Федорович велел Липранди явиться к нему в III Отделение в шесть часов пополудни. Точно в назначенный срок Иван Петрович явился.

<sup>1</sup> Следы знакомства с этими документами можно обнаружить в некоторых беллетристических сочинениях, посвященных делу петрашевцев, — без указания, однако, на источник.

### *Плачущий генерал*

«Я подъехал к крыльцу, — говорит Липранди, — в одно время с Дубельтом; он, в самом веселом расположении духа, удивился видеть меня в такое время у графа и, узнав, что я потребован, остался еще более озадаченным. Относительно к нему я был в самом неловком положении».

Положение это стало воистину драматическим, когда граф Орлов пригласил обоих приятелей в свой кабинет. Шеф жандармов кратко изъяснил своему начальнику штаба суть дела, не умолчав о годовых заботах Липранди и его полицейских трудах. Затем граф распорядился о принятии дел от Липранди и о скорейшей «по взаимном совещании нашем» подготовке к арестованиям, «повторяя несколько раз как громом пораженному Дубельту слова: «Чтоб в эти два дня была соблюдена тайна так (и указав на меня присовокупил), как он более года сохранил ее», и, усмехнувшись, прибавил: «и от тебя даже».

Надо думать, слова графа Орлова (в особенности его усмешка) сделали сильное впечатление на чувствительную натуру Дубельта, который, само собой, полагал, что у его непосредственного начальника не может быть от него никаких секретов служебного толка. И даже то обстоятельство, что граф в знак дружеского расположения (и одновременно как бы в уравнительном смысле) положил руки на плечи обоих генералов, повторив свой давний, тогда, правда, относящийся только к Липранди, отеческий жест, — даже это не внесло успокоения в смятенную душу Леонтия Васильевича. Ибо здесь была задета его профессиональная честь.

Липранди продолжает: «Дубельт, бледный во все время, не произнес ни одного слова и, выйдя на крыльцо, пригласил меня сесть с ним в карету, употребив для сего слово «вы», которого с 1812 года в употреблении между нами не было. Я очень хорошо понимал все, что он должен был чувствовать, и объяснил ему как все происходило...».

Именно так поступил смешавшийся поначалу Иван Петрович: внятно и с достоинством стал изъяснять управляющему III Отделением суть происшедшего. При этом им было замечено, что ежели бы министр внутренних дел приказал ему, Липранди, скрыть нечто от всеведущего Леонтия Васильевича, то он бы, пожалуй, и не исполнил бы этого приказания. Более того, он осмелился бы прибегнуть к Леонтию Васильевичу за бескорыстным советом. Он даже просил бы его содействия в деле, для него, Леонтия Васильевича, более привычном. Но поскольку приказ о сохранении тайны последовал от непосредственного начальника Леонтия Васильевича, то в настоящем случае он, Липранди, не смел нарушить данное этому начальнику слово.

Дубельт, если верить Липранди, был искренне тронут. «Слезы брызнули из глаз его: «Вполне сознаю, любезный друг, — сказал он мне, — твое положение, и верь, что я никак не сержусь на тебя: на твоём месте я поступил бы точно так же. Но согласись, что граф, с которым мы ежедневно говорим о делах высшей важности и о лицах высоко и очень высоко стоящих, <не> мог, в продолжение более года, скрывать от меня то, чем он руководил и что есть прямою моею обязанностью».

Сцена глубоко патетическая. Мужественная сдержанность Дубельта не уступает благородной искренности Липранди, чье перо нимало не дрогнуло, изображая жандармские слезы. Управляющий III Отделением великодушно принимает резоны своего удачливого собрата. Но пережитые потрясение и обида еще настолько свежи, что Леонтий Васильевич позволяет себе легкий укор в адрес обманувшего его надежды начальства. Действительно, если уж граф вполне откровенен с ним относительно дел «высшей важности», то тем досаднее скрытность графа по такому, казалось бы, ничтожному поводу. Тем более если Дубельт и сам проявлял похвальную бдительность, что можно заключить из сделанных им Ивану Петровичу горьких признаний: «Я тебе скажу более, присовокупил он, как-то, не помню теперь по какому случаю, я испрашивал графа разрешение вызвать в отделение Петрашевского и помыть ему голову за некоторые выходки, кажется, в купеческом клубе, но он приказал мне оставить эти дразги. Ты видишь сам, могу ли я быть равнодушным?»

Интуиция, таким образом, не подвела Леонтия Васильевича. И не охлади граф не вовремя его служебного рвения, он бы наверняка вышел на верный след. Липранди готов это признать — правда, не без некоторой ретроспективной усмешки.

Вернемся, однако, к донесению от 24 апреля. Его автор продолжает излагать графу Перовскому волнующие подробности позавчерашнего дня.

### **Конспирация по-русски: с точки зрения знатока**

22 апреля, в час пополудни, начальник III Отделения прибыл на место службы и объявил высочайшую волю: брать на квартирах. В каждую из каковых надлежало отправиться по одному жандармскому штаб-офицеру вместе с офицером городской полиции. (Так старались блюсти ведомственный паритет.) Неустрашимый Леонтий Васильевич лично вызвался арестовать Петрашевского.

В шесть часов пополудни 22 апреля Липранди спешает к своему министру — донести о приготовлениях к бою. Иван Петрович обещает Дубельту вернуться в III Отделение часа за два до начала арестов. «Хотя, — замечает он, — предпринятые уже доселе распоряжения к арестованию стольких лиц, по такому важному делу не совершенно согласовались с моими понятиями насчет соблюдения необходимой тайны...»

Меж тем уже с 10 часов вечера Дубельт начинает выказывать явные признаки беспокойства (может быть, повторяя при этом — разумеется, применительно к собственным нуждам — давнее пушкинское: «Где и что Липранди?»). «Трое посланных, — точно исчисляет Иван Петрович, — следовали один за другим». Наконец, в 11 часов незаменимый Липранди вновь направляется в III Отделение.

Далее в докладе следует изложение оперативной обстановки. Оно по-своему замечательно. «... Проезжая около церкви Пантелеймона, — пишет Липранди, — я увидел множество стоящих здесь экипажей, большую часть четырехместных извозчицких карет; не обратив на это внимание, полагал, что совершался какой-нибудь церковный обряд; но каково было мое удивление, когда, повернув у Цепного моста налево по Фонтанке, я заметил, что ряд экипажей продолжался еще далеко за дом, занимаемый III Отделением, а у самого крыльца оно стояло несколько также карет, дрожек и кабриолетов. Оба этажа дома были освещены, парадное крыльцо отворено настежь».

Автор записки не может скрыть от своего министра, что он был неприятно удивлен таким странным и отнюдь несогласным с видами государственной безопасности оживлением, тем более неуместным в преддверии белых ночей. Дальше, однако, автора доклада подстерегали еще большие неожиданности. «Тут с самого верха лестницы появилось множество жандармов и полицейских штаб- и обер-офицеров и нижних чинов. Не постигая причины сему, и в первую минуту вообразив, не последовало ли чего особенного, я спросил у встречных (так в тексте. — *И. В.*) мною знакомых, что это значит? Все в один голос отвечали, что они собраны для каких-то арестований и что Леонтий Васильевич ожидает только меня».

Пораженный увиденным, Липранди спешно направился в кабинет Дубельта, от которого не считал возможным скрыть свои опасения. Он позволил заметить благодушному Леонтию Васильевичу, что намеченные к арестованию лица жительствоуют в различных частях города, а поэтому резонно предположить, что, направляясь сегодня на собрание к Петрашевскому или возвращаясь с оно-го, они могут проехать мимо III Отделения. Последнее же между тем «с 11 до 4-х часов утра будет представлять что-то необыкновенное, как своим освещением, так равно множеством <эки>пажей и собранием стольких жандармских офицеров и со всех кварталов города надзирателей...». Естественно, подобное зрелище «может побудить каждого, знающего за собой грехи, принять меры и истребить все, что могло бы его компрометировать». Иными словами, старый опытный конспиратор тонко дал понять бывшему товарищу по оружию, что

тот как руководитель тайной полиции допускает непростительную беспечность. Кажется, автор записки весьма озабочен тем, чтобы предоставить своему вхожому к государю министру сильный «компромат» на коллег. Он обвиняет III Отделение не только в служебной оплошности; он почти открыто указывает на его достойный всяческого сожаления непрофессионализм. Иван Петрович также не прочь намекнуть, что именно он, Липранди, буде он облечен достаточной властью, исполнил бы возложенную на Дубельта миссию более положительным образом.

«Иван Липранди, — говорит Н. Я. Эйдельман, — был ценным работником: мог возглавить отряд лихих башибузуков и после написать толковый канцелярский отчет о действиях этого отряда...» Этой ночью ему не довелось «возглавить отряд»; «толковый отчет» тем не менее был составлен.

Выслушав резоны многоопытного, хотя и пребывающего всего лишь в звании генерал-майора Ивана Петровича (он получил этот чин в 1832 году и за минувшие семнадцать лет так и не поднялся на следующую ступень), генерал-лейтенант Дубельт мягко ответствовал ему, «что для арестования такого множества лиц более предосторожностей сделать нельзя и что каретам велел он поместиться во дворе». На что неугомонный Иван Петрович вновь возразил, что пятьдесят четыре «четвероместные» извозчичьи кареты, собранные из разных частей города, при всем желании во дворе III Отделения поместиться никак не могут, и такое чрезвычайное скопление транспортных средств выглядит в высшей степени подозрительно. «... Я начал было делать и другие с моей стороны замечания все отвергавшиеся», — с сердцем продолжает Липранди. Но в это время от графа Орлова и за его подписью были доставлены предписания «на имя каждого жандармского офицера и полицейского чиновника, числом более ста». Их появление повергло Ивана Петровича в еще пуще расстройство, ибо он тотчас же сообразил, что такое количество бумаг не могло быть изготовлено «в течение нескольких часов одною и даже пятью руками». А это, в свою очередь, тоже заключало потенциальный ущерб, ослабляя эффект внезапности. И уже в совершенном сокрушении действительный статский советник указывает на тот демаскирующий операцию факт, что «об аресте некоторых лиц, независимо всех писано было и прямо их ведомствам!»

Узрев таковые попускания чинов тайной полиции (причем, увы, не последних ее чинов!), Липранди осознает тщетность дальнейших с его стороны попечений и укоризн. Он решает предоставить все на волю Божию — даже под угрозой того, что злоумышленники успеют истребить изобличающие их бумаги. И тогда... «... И тогда место их в карете должен был занимать я, следивший в течение 13 месяцев за этим делом...» Смирив кипевшие в его груди чувства и стараясь соблюсти наружное спокойствие, Иван Петрович делает ряд важных наставлений тем, кто готовится выполнить свой служебный долг.

Но тут его постигает новый удар. Как выясняется, некоторые полицейские чины, первыми получившие на руки предписания графа Орлова, «давно уже отправились к себе домой с тем, чтобы в 4 часа ехать из своих квартир к месту назначения». Эти достойные ученики графа Алексея Федоровича (который, как помним, отличался изнеженностью нравов) предпочли ужин в кругу семьи и, может быть, даже краткий, но ободрятельный сон суровому бдению в здании у Цепного моста. «... Таким образом, — завершает Иван Петрович свой не лишённый оттенка государственной скорби отчет, — четвероместные кареты, с двумя жандармами в каждой, независимо офицеров, отправились по всем направлениям столицы на совершенном уже рассвете!»

Да: их возьмут на рассвете.

*(Продолжение следует.)*

## Два рассказа

### ПЕСНЬ ГЕНОКОДА

Раз в пять лет или даже реже Зотовы едут. Это недалеко — несколько часов от Москвы. Другая жизнь начинается на Казанском вокзале у касс, где на полу на газетах спит мужичонка, сняв сапоги, уложив их в изголовье. Рядом гора из узлов. На ней зареванные дети.

Поезд таков, что семейство Зотовых чувствует себя неловко. Юрий Петрович, тридцатидвухлетний здоровяк, чтобы спрятаться, достает книгу — он везде, где можно, «добирает» свой французский: в метро, в дороге, на автобусных остановках, — он готовится вступить в должность гувернера при одной высокопоставленной французской семье. Из дипкорпуса. По перестроечным временам — неплохо. Это выход! Зинаида Николаевна, его жена, хотя и склонна потолковать с соседями, но в этом поезде помалкивает. Выглядит она девчонкой — светло-русая, сероглазая, с мягкими, немного усталыми чертами и твердым взглядом. Юрий Петрович, когда подвыпьет, кричит: «Да она у меня коммунистка! Их трое, коммунистов, всего было: сначала этот, — кивает куда-то в даль истории, — затем Павка Корчагин, а теперь вот моя!» Он бывает возмущен женой. Та пашет и пашет в школе за гроши. «Говорит мне, сиди с дочерью на больничном. Да если я на больничном буду сидеть, они с голоду перемерут!»

Светланка, бледненькая тонюсенькая девятилетняя девочка, которую только в разгар лета оставляют бронхиты, вытаращилась в поезде по сторонам во все глаза, и на лице ее испуг.

В открытые, а частью просто разбитые окна врывается настоенный полями и лесами, нагретый зноем воздух. Пейзажи разворачивают и сворачивают свои тригонометрические функции, будто бытуют при дворе какого-то огромного циркуля. Беспокойство наконец отрывается от девочки, заглядевшейся в окно, и уносится в удаляющееся городское пространство. Поезд так разболтанно шатает, что клацанье и звяканье его старых суставов, скрип расползающихся фанерных гладких покатых сидений и вдруг отдельное, глухими толчками, биение одного колеса — прямо под ними, — одних сразу морит в сон, а других, в частности Зинаиду Николаевну, вынуждают искать проводника. Она находит его в соседнем вагоне в служебном купе. Проводник неохотно покидает теплую компанию. Ворчит. Услышав колесо, убегает.

На ближайшей станции поезд заводят на запасные пути. Стоят там три вагона. Потоптаны и сорваны луговые цветы. Произошло знакомство с лягушкой. Зачерпнута вода из сельского колодца.

— Вечно ты так! — упрекает жену Юрий Петрович. — Давно бы доехали. Если бы не лезла куда не след.

— Ага, доехали бы. На тот свет, — огрызается коммунистка.

Ближе к месту.

— Какой воздух! — Выйдя на своем полустанке, Зотовы пьют его, дегустируют, обоняют.

Зинаида Николаевна в очередной раз вспоминает, а она это делает каждый раз, когда сюда приезжает, как пили самогон в первый ее приезд — фиолетовый, страшный; выпьешь — за последствия не ручайся. Достала Авдотья из

подполья. И как потом пошли спать на сеновал. Ничего, никаких почечных коллик, похмельного синдрома, потому что воздух такой... Даже и не выразить какой, никто такого уже не знает. Иностранцев можно бы запускать — дегустировать. Большие деньги с них драть. А местные здесь живут за бесплатно, впитывают его, лучше даже сказать, проникаются им ежедневно. Будто в прошлые века. По нынешним временам прошлые века — роскошь.

— Думаете, раньше здесь так вот жили, как сейчас? При царе-батюшке здесь и каменные двухэтажные дома, по-нынешнему особняки, стояли. Все взорвали большевики! У нас, у деда моего, у его матери с отцом, у простых крестьян, такой дом был! Правда, и жили в нем три семьи, человек двадцать. Зато все свои, родня, дети одной порослью росли, воспитывались вместе. Яблоневый сад, который сейчас никому не нужен, тоже их был. Большой, целая роща. И земли у них своей много было. И жили хорошо, трудились. — Юрий Петрович разгорячился, размахивает руками. — А сейчас спились все! — сокрушенно замолкает.

— Да, века прошлые, в смысле воды, природы, земли... словно слитки чистого золота, — поддакивает Зинаида Николаевна.

— Тогда и Бог был, — очень серьезно говорит девочка.

Родители вдруг тушуются.

— И Бог был, и царь, и герой, — тоскливо говорит Юрий Петрович, заглядывая будто бы за горизонт.

Как во сне, перед дочкой Зотовых серый пакгауз, лавка «Хлеб» почему-то в заборе, клочья сена. Две-три старухи провожают их долгим взглядом. И воздух, густой и сильный, поддерживает девочку, вдруг обессилевшую и расслабившуюся, точно крепкосолоеное море, — ее клонит к земле, а воздух живой упругой плотностью своей ее не пускает.

Им на автобус, а потом еще километра три.

Такая же старуха, в таком же серо-черном неразличимом одеянии, глянет с земли. Сидит на обочине, в траве. Ноги вытянуты, рядом котомка. Девочке покажется, что родители вышагивают мимо, вытянув шеи, как страусы, мчатся по горизонтали.

— Каждый приезд сюда, — отдуваясь, скажет здоровяк Юрий Петрович, когда они минуют еще одну древнюю в выцветшей одежде фигуру с галошами на босу ногу, — меня сопровождает мучительное чувство вины. Но что, скажи, что могу я для них тут поделывать?!

В селе только за последние двадцать лет отделились от скота. Разноцветные паневы, шали и полусапожки — все ушло в прошлое, люди жили в двадцатом веке скученно, как в бараке, как животные...

— Как это? — не поймет дочка Зотовых.

Юрий Петрович с терпеливой нервностью объяснит:

— И овцы, и коровы, и люди жили под одной крышей.

— Под одной крышей, но в разных помещениях, — невозмутимо поправит Зинаида Николаевна. — С точки зрения экологической что здесь к чему — еще надо разобраться.

— Да что тут разбираться! — воскликнет досадливо Юрий Петрович. — Тебе бы тут пожить! Ты-то в городе выросла. Мы-то у нас городски-я! Сытый-та голодного не разумеет!

— Но, папа, мы тоже живем с Альмой и Кузей в одной квартире, — вступит за мать очень внимательно вникающая в спор Светланка.

— Это другое, — отмахнется Юрий Петрович. — Меня потому, конечно, берет за живое, что я родом отсюда, из этой дыры, как ее ни верти!

— Ты об этом твердишь мне все годы. Как только не устанешь, — досадливо ответит Зинаида Николаевна. — И все равно я эти твои комплексы не пойму!

— Ага, ты бы гордилась.

Возле домов на светлой пыли длинные потеки — ручьи.

Смущенно хохотнет Юрий Петрович:

— Ночью выбегут и — чего далеко ходить.

— Какой воздух! Да, какой воздух! — потянет всем существом своим Зинаида Николаевна, будто привстав на цыпочки, готовясь взлететь. Обмахнув возмущенным взглядом раскрасневшегося мужа, очередным основательным экологическим доводом еще сильнее нарастит в себе силу в плечах — чувствуя, как пробиваются на волю, расправляются совсем сникшие, совсем истрепанные за учебный год крылышки. — Чем меньше цивилизации, — скажет она непримиримо, — тем для жизни лучше. Сейчас на Западе на одежду внимания не обращают. Завалились уже. И вещи будут как одежда — никто внимания не станет обращать. Есть они, нет. Только цепляются...

Зотовы минуют хатку, крытую темной соломой: вросла в землю — однако видно, что за оконцем живут. От такой сказочной нищеты Светлана, сжавшись, теснится к родителям. Малышка готова уже расплакаться: так ей кого-то жаль, кто живет за кривым оконцем. Родителям приходится объяснять, что все относительно: эти люди, возможно, не беднее нас, хотя внешне кажется, что так. Многие, пожалуй, побогаче, переглядываются между собой взрослые. Но — они деньги держат в кубышке, в чулке. Другие нравы... Если, конечно, не пропивают.

На крыльце, завалинках, лавках у каждого дома люди. Замолкают, когда Зотовы проходят.

Трудный отрезок пути.

Но вот Зотовы на высокой веранде крепкого просторного дома, обнесенного плотным забором. Пьют с дороги чай: варенье и мед, банка за банкой, выстраиваются перед ними. Вокруг заваривается кутерьма. Дядя Петр еще не пришел с работы. Его жена Авдотья дома. Она прячет городские сласти в холодильник и бежит до сыновьего двора, двоюродного брата Юрия Петровича — Антошки, сообщить.

Зотовы выходят в сад, остерегаясь пчел. В саду, в заборе, теперь пролом, за которым овраг с повисшими ивами. Точнее, овраг подкосил забор, отчего тот и провалился некоторой своей частью.

— Он его подставил, — говорит Светлана.

— ?

— Овраг — забора.

Для дочки Зотовых все знакомо и незнакомо одновременно. Сюда ее уже привозили, когда ей было пять лет. И лунку в подоконнике летней кухни, где она с Виталькой колола грецкие орехи молотком, она даже видела во сне. Конечно, дело не в орехах. В ожидании Витальки ей скучно в саду. Сказать, что она томится увидеть мальчишку, невозможно. Но зато возможно, что он все-таки придет. Если только никуда не уехал. Он ей родственник, внук Авдотьи и Петра. Вот только вспомнит ли ее, Светланку, как она помнит тут почему-то все и вся?

И все, особенно для молодца Юрия Петровича, с накаченными на брусках и кольцах мышцами, с тренированной фигурой мастера спорта, дипломом инженера и французским языком будущего гувернера, затевается ради ночного часа, когда к столу слетятся мотыльки, угаснет полоса на горизонте, догорят самоварные угли. Час будет подходить долго, тянуться весь день, а потом вдруг не замедлит наступить. Но будет ли откровенен Петр? Или, захмелев, помрачнеет настолько, что стиснет челюсти. Молчаливый Петр всегда ходит с замкнутым ртом. Смиляется ли ради приезда городских гостей? Или подумает: хоть бы и век не приезжали.

— Только, ради Бога, не проговорись про свое гувернерство, — шепчет вдруг Зинаида Николаевна мужу.

— Я пока еще в своем уме.

На веранде накурено. В доме полно людей. Юрий Петрович, как и Зинаида Николаевна, как и играющая за сундуком в деревенские лоскутки Светлана, привлекают внимание, однако в центре — дед Петр. Он могуч. От самогона взгляд его светло течет, струится по клеенке. Он пьет, хотя завтра рано вставать. И — на весь день. Ему за семьдесят. Он привык работать.

Совсем паршивый мужичонка, сосед, который и не тщится взойти на ве-



ранду в дом, на приступках крылечка вертит сигарку. Значит, и ему, такой шушере, что-то здесь хочется, что-то важно еще услышать.

Петр начинает рассказ.

Дочке Зотовых потом для наглядности дадут потрогать лысый его череп с вмятиной в кости. Ее ручку возьмут и приложат к ямке, похожей на лунку на подоконнике в летней кухне. Петр чуть склонит голову. Трое суток сюда капала вода в каменном мешке. Капля точит не только камень. Однако Петр, единственный из всей смены, отказался подписать, что он враг народа.

— Подписал бы, не сидел бы теперяча тута, — вякнет жалкий мужичонка с крыльца.

Не все из пришедших подсаживаются к столу, не всем поднесут самогона, иные, чужие, пришли только послушать былину прошлого. Извинившись, они присаживаются во дворе поближе к текущему поверху слову.

Петр вдруг утирает слезу. Он делает это неловко, костяшками кулака. Он потому и редко говорит, что боится этой немужской прилюдной слезы.

— Петр всегда плачет, когда вспоминает, — словно откуда-то из глубин памяти доносится бегущими буквами фраза в Светланкиной сонно-возбужденной головке.

Сбился Петр, не может говорить.

— Скинули царя-батюшку, заступника нашего, не нужен оказался, так и кайтесь теперь всем миром. И чего жаловаться, коли грех-то на всех такой лежит, — нервно зашуршит шершавым краем ладони по клеенке Авдотья, стирая невидимые пятна, и вдруг размашисто встанет, заслоня мужа.

— Если он сильно заплачет, то не станет рассказывать, уйдет, — слышит Светланка.

Заслонив Петра собой, чтобы сумел он справиться и продолжить, Авдотья запекает:

— Царица моя преблагая...

Из всей смены, что забрали тогда, вернулся только ее муж. Жена о нем молилась с первого дня до последнего.

— Надеждо моя Богородице...

Но и потом намучилась же с ним, когда стал уходить к другой.

— Зриши мою-уу беду, зри-и-ши мою-уу скорбь...

Подпевают женщины. Молитва-песнь передается с веранды на крыльцо, с крыльца во двор, даже сидящие на перекладине открытых ворот — в темноте пыхают папиросные огоньки — подхватывают низко и сильно:

— Помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши...

Светланка, прижавшаяся щекой к пестрядевой дорожке на сундуке, вдруг ощущает, что кто-то чуть слышно гладит ее, подергивая косичку.

— Яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы... — рыдающими, но и вытягивающими из рыдания голосами поют женщины. Мужчины им потихонечку вторят.

И оттого — кто это! — жмурится, прячась под ладошкой.

### *ГОСПОДИН ГРУ-ГРУ*

— Приехали ко мне прямо в райком комсомола на черном вороне...

Светланка беззвучно играет в куклы. Здесь, на даче, поскрипывает широкая половица, которую, если подпереть ножом, можно приподнять над темным подполом. В подполе стоят трехлитровые банки с вареньем. Половица отзывается на все шаги. Рядом печная стена, возле которой играет девочка. И печь, и половица, и подпол — что-то особенное в доме, мимо чего девочка ходит, как бы постоянно держа в уме, как и вторую половину веранды, замкнутую, отгороженную пыльными стеклами. В доме такой покой, тишина такая, что слышно, как стучат часы на кухне. И стучат коклюшки — это гостья Артемовна учит Светину бабушку плести кружева, а бабушка тете Люде Артемовне что-то вполголоса говорит.

— Одеты в штатское, но чувствуется, что военные,— почти шепчет бабушка, наверное, боится разбудить Светкиного братика Никитку, который спит за решеткой в деревянной кровати, разбросав ручки и ножки. Одна ручка у него пролезла в деревянные прутья и свесилась вниз. Ей он держал соску, и соска теперь на полу.— Я была в кабинете,— приглушенный бабушкин голос,— один сел на стул против моего стола и говорит: «Собирайтесь. Велено вас доставить по назначению».

Спрашиваю, кто он и откуда, отвечает: через час или два вновь привезет на место. Мне надо было закрыть кабинет, а ключ отнести в приемную горкома партии. В коридоре мне навстречу Василий Трофимович, секретарь горкома партии. Ни о чем не спрашивая, сказал: «Едешь?» — и мимо прошел.

Приехали в помещение НКВД, этот дом я знала еще с 38-го года, когда арестовали моего брата Владимира, это здание деревянное такое, на углу, обнесено забором, когда-то в нем давно жил врач, еще до революции, ну, видно, его достроили, перестроили, ну вот, выходим мы из машины... Я оглянулась, думаю, в последний раз... идем по темному коридору, лампочка где-то впереди... Провожатый открыл дверь, пригласил пройти и обождать.

Вот сижу пять, десять, пятнадцать минут... В кабинете два открытых сейфа, большой стол письменный, и на нем тоже открыты папки, какие-то листы, ручки, карандаши. А я села на край кожаного дивана, изрядно потертого, — такое впечатление, что кто-то только что работал и внезапно вышел,— сижу, в окно смотрю, вижу только двор пустой и больше ничего, и показалось мне очень уж долго... тяжело стало сидеть, ноги замерзли, я взяла туфли сняла и ноги под себя поджала, и вдруг является уже в форме мужчина.

«Заждались?» — он мне говорит. И совсем, главное, из другой двери вошел, а я и не заметила, что там другая дверь была.

Ну и начал... фамилия, имя, отчество... и спрашивает так, будто я виновата в чем-то, а не сознаюсь.

«Так вот,— говорит,— товарищ секретарь, нет, уважаемый секретарь, автобиографию вы сами писали?»

«Сама писала».

«Вы всю свою биографию написали?»

«Да, всю».

И пошло-поехало.

«Значит, вы из рабоче-крестьянской семьи... Ладно... Родственники все живы?»

«Все живы».

«Сколько их?»

«У меня,— говорю,— три брата... три сестры. Я последняя».

«Так-так,— говорит,— значит, вы из рабоче-крестьянской?.. Лжете, вашу семью раскулачили и к нам сослали! Почему вы, будучи работником райкома, ничего не отразили при своем поступлении? Почему вы скрыли, что ваш отец, кулак, был в плену?»

«Он был в плену до революции, а потом его разменяли. Он в Австрии был в плену, а когда вернулся, организовал комитет бедноты! Жили мы бедно... и никаких реликвий, кроме икон маминых... Я знаю, что когда покупали наш дом, то деньги отец занимал у товарищей... А о том, что нас в России раскулачивали,— я говорю,— не знаю, никогда у нас такого разговора не велось».

«Зато мы знаем, что вы дочь кулака. Ваша семья владела двухэтажным домом, мельницей и пчельником!»

«Дело в том, что я там не жила. Я родилась в Сибири».

«Перечислите-ка, где работают и находятся ваши братья и сестры».

Я начинаю перечислять:

«Один брат учится... нет, уже закончил... в Новосибирске работает, другой, старший, на вагоноремонтном заводе здесь, третий шофером... где точно, не знаю, уехал в деревню и пока не пишет...»

А он в общем-то меня не очень и слушает.

«Во-от,— говорит,— и еще этот факт из вашей биографии пропущен, как специально? Еще один обман. У вас же один брат враг народа».

«Его же, — я говорю, — реабилити... десять лет отсидел, но выпустили же его, и никогда никаким врагом народа он не был, какой же он враг народа, когда он... он же домой вернулся!»

«Если осудили на десять лет, значит, был. Просто так не осудят».

Я пыталась рассказать, каким он был начальником смены, какая смена у него была хорошая, как он только накануне получил награду, а утром его и забрали, вместе со всей сменой... Ну, неправильный был арест, ошибочный.

«Не-ет, ошиблись, что наградили. Врага народа. Десять лет отсидел, а на производство его старое не взяли, никуда его в нашем городе не взяли, и вам это должно быть отлично известно. А не взяли, потому что не доверяют врагу народа. Вот и уехал».

«Но он уехал в деревню...»

«Вот видите, еще и в деревню. Вот ему только теперь в деревне и жить, в глуши. Правильно! — Он засмеялся. — Вы скрыли очень важные факты. И как смели вы пойти работать в райком комсомола?»

«Я не смела, меня выбрали, — говорю, — я не очень-то и хотела на эту работу, а уж выбрали на конференции, так выбрали, куда ж денешься, вот и пошла...»

«А что это вы со студентами ленинградскими возитесь, что у вас за работа такая общая объявилась, без этих студентов, что ли, некому у нас политзанятия вести и лекции проводить, что вы их зачислили в свой штат?»

«Просто ребята очень активные, развитые», — говорю.

«А вы их хорошо ли знаете, или они, может, вот такие же, как вы сама...»

Тут я совсем испугалась.

«Ну так вот, видите, почему мы вас вызвали сюда, какие факты вы скрыли, обманули Советскую власть. Вам теперь надо чем-то, какой-то другой работой, долго доказывать, что вы честный человек. Ни к молодежи, ни к ученикам вас подпускать нельзя. Прежде чем доверить вам работу с молодежью, мы должны убедиться, что вы заслуживаете этого доверия».

Я растерялась:

«А чем же... как я должна доказывать, что я человек честный и неумышленно написала? Уже три года, как брата выпустили, а что я дочь кулака, я не знала, вот приду домой, папу с мамой расспрошу...»

«Вы не замужем?»

«Нет, не замужем».

«Жених есть?»

«Никакого жениха у меня нет».

«Так... ладно... хотя мы знаем, что вы переписываетесь со своим одноклассником, который сейчас служит во Владивостоке».

«Но он мне не жених».

«Ладно... Дело в том, что мы должны вас послать в нужную нам спецшколу, чтобы проверить, что вы любите свою страну, что готовы ради нее на любую работу, куда бы Родина ни послала, везде бы вы оставались такой...»

«Как такой... как такой... я не могу... я же ведь дочь кулака, — говорю, — да еще сестра врага народа, куда же меня можно посылать?»

«Ну, это наше дело, наше дело, куда. Какой язык изучали?»

«Немецкий».

«Ну, будете другой изучать. И поедете не одна. Мы решим, кто поедет. Как поедете. Единственное скажу: никаких самостоятельных замужеств. Мы сами найдем, если нужно будет, жениха, и поедете, куда пошлют».

Сидит, на меня смотрит, а я не знаю, что спрашивать, что говорить, что отвечать, мне ведь еще и двадцати не было. Чуть не плачу. И забыла я, что сижу без туфель, ноги опустила...

А он говорит: «Надевайте свои туфли и идите домой. Выясните с отцом. И через два часа снова сюда».

Я на улицу вышла в таком состоянии... Там аллея у нас, центральная, иду по ней, аллея из тополей, плачу, стараюсь слезы скрыть, а они сами бегут. Пришла домой, перед порогом в руки себя взяла, отец болен был, последние дни уже были... Захожу, он лежит, а мама в ногах у него сидит. Разговаривают.

Что такое? Сразу ко мне.

«Да ничего,— говорю,— ничего особенного».

Села с ними рядом. И отец в постели сел, хотя не вставал уже. Сижу между ними и говорю:

«Что же вы со своими детьми, родители, делаете-то? Вы почему ничего не говорите? Вот, папа, ты почему мне ни разу не сказал, что ты, оказывается, кулак? Ни разу, за всю жизнь?!»

«Да какой я кулак? Откуда же я кулак? Где же я кулак-то какой? Это ошибочно было. У нас справка есть!»

И тут он, больной смертельно человек, с постели встает, к столу бросился, выдвинул ящик, достал свои грамоты, одна у него прекрасная грамота была с портретом, а из-под них документы, в том числе бумажку достает, подает мне.

И на этой бумажке я читаю, что дана была Ивану Григорьевичу в том, что его семья была ошибочно раскулачена, возвращается семье корова и еще какой-то инвентарь, отобранный неправильно.

«Вот эта справка»,— говорит.

«А мельница?» — спрашиваю.

«Какая мельница? Да мельница у деда твоего покойного была, а у него детей сколько!»

«А дом двухэтажный каменный?»

«А сколько нас в этом доме жило-то? Двадцать человек! Все дети, внуки, невестки, золовки, зятья».

«Нет, ты давай теперь мне рассказывай все,— говорю,— где ты был, какой ты был... когда вы с мамой поженились и как».

Он говорит:

«В тыща девятисотом году мы с мамой обвенчались. Мама кто была? У мамы-то да... мама была все-таки... побогаче. Я-то совсем был деревня, из бедной семьи, наверху жил, а мама внизу села. А мама-то что? У маминого отца была фабрика, за год до моей женитьбы купил. А мама росла сироткой, девяти лет осталась без своей матери, отец ее погоревал-погоревал, сколько-то годовиков покуковал да женился, а у женщины той еще трое детей было, конечно, маме твоей досталось. Ну вот и венчались мы. Тесть нам помог. Ну а после революции отобрали фабрику, конечно, у него... отобрали, разрушили его фабрику к лешему! Разломали все!.. И вот... У нас-то семья стала большая. Его вон семья была, отца материнного, мы их приняли. Моя семья была. У меня старший брат женился. Вот, человек двадцать — двадцать пять, не помню уж точно. Вон какая семья была! И все в одном доме жили, одной семьей. Он, дом-то, впрямь большой был, каждому отделили...»

Помню, в тыща девятьсот пятом поехал я в Москву на зиму. Летом собрали урожай, а и поехал я. Там и оказался среди тех, с иконой мы вместе шли, и всех нас забрали, и выслали меня. Но выслали не туда, куда Макар телят не гонял, а в свое село же и выслали да и приказали, больше чтоб не приезжал.

В четырнадцатом в армию воевать... Я попал в какой-то такой вот полк, у нас там все были — ну, не соглашались никак, и солдаты такие все против войны, и командиры такие же, да еще в среде солдатской агитация: да что вы, братцы, разве можно воевать? Мы полком и сдались в плен. И попали в Австрию. В Австрию нас направили, значит, всех вместе с командирами, с кухней даже, отвели большую зону, загорожена она была, зона, никуда не ходили мы, зато нас там грамоте выучили, кто неграмотный был. Меня музыке выучили, и всех так... Мы работали, кормили нас, учили, вот так и до семнадцатого года, а после семнадцатого нас уж обменяли. Приехал, тут комбеды образуются, я тоже комбед организовывать, все свое туда оттащил, да в нашем-то селе не много было бедных, семей пять — семь, потому как никогда под помещиками не жили, а на государственных землях.

Вот, приехал я, начал комитет бедноты сбивать, а семей-то у нас таких мало, меня в область направляют, распался комитет бедноты, а мне знакомый из облволости говорит: «Переходи к нам или езжай в Москву, я тебя отправлю, там подучишься немного», а тут дядя из Сибири нашей, значит, пишет: «Приезжай, у нас тут рабочие нужны, будешь работать, каждый месяц зарплату полу-

чать и бросай ты свою деревню». Я собрался и уехал, а мама с детьми оставались, так и стал я работать осмотрщиком вагонов, плохо ли — зарплата каждый месяц, зарплату я отсылал матери, мать получала все-таки за меня, когда я был в плену. По этим вехам и дети рождались, дома я — глядь трое, потом опять куда — мама отдыхает, вернусь лет через пять — такая разница все время, — опять родятся, вот и ты так. А пока я там не был, их и раскулачили ни за что ни про что, потому что был такой, у которого мы лошадь забрали в комитет бедноты, а она у нас возьми да сдохни, а мы ему не выплатили, он говорит, я, говорит, это тебе припомню, нашел момент, написал, что такой-растакой я кулак».

Валентина Ивановна перемолчала, вздохнула горестно:

— Прихожу я, говорю часовому: «Велено мне прийти через два часа».

Он куда-то позвонил, передал, за мной приходит тот, который допрашивал. Опять заходим мы в комнату, сажусь на диван, он говорит:

«Ну что?»

Я ему ничего не говорю, кладу на стол справку.

Он говорит:

«Да, вижу. Бумажка. И что?»

И вдруг из «дела» раскрытого в точности такую справку рядом кладет.

Я говорю:

«Как же так? У вас копия была, а вы?»

«Ну что вы, еще надо разобраться, какая там бумажка, еще неизвестно, кто что написал. Раскулаченные? Зря не раскулачат. Значит, так и запомните: писать надо — дочь кулака, но есть справка, в которой значит, что раскулачены ошибочно. Дочь кулака и сестра врага народа... Вы с какой целью недавно посещали Н.?»

И вот он в вину мне еще поставил, что я ходила в лагерь, куда были переселены эстонцы, выселены после войны, у нас там километрах в пяти от города стекольный завод, и около завода этого отвели им место, загородили в три ряда проволокой, за этой проволокой они там все жили, бараки себе построили, а мне сказали, что у них очень хороший врач есть и туда нужно, чтобы пройти, иметь пропуск. Я пропуск этот выписала по своему удостоверению секретаря райкома комсомола и пошла туда, к этому человеку, взяла с собой историю болезни отца, прошла через всю эту колючую проволоку, зашла в барак, нашла кабинет, рассказала, он посмотрел историю болезни и рентгеновские снимки и говорит, болезнь запущена, единственное, что он может, это продлить жизнь больного на два-три месяца, а для этого должен взять у меня кровь и ввести ему пункцию, однако дни его будут мучительны, боли усилятся. Я пришла домой и папе говорю, что ничего страшного нет, как мы всегда не говорим правды, когда знаем, что человек при смерти, а маме рассказала, что так и так, надо будет сделать...

Ну вот так и отпустили меня, сказав, что через два-три дня встречаемся вновь:

«Даем вам несколько дней, чтобы вы смогли дать нам окончательный ответ».

С этим я и ушла и сразу — к секретарю горкома партии, Василию Трофимовичу, он, когда работал на железной дороге инженером, то отец мой непосредственно ему подчинялся, потому хорошо знал нашу семью.

«Оказывается, я автобиографию неправильно написала, надо мне ее переделать», — говорю ему.

А он мне:

«Не волнуйся, я знаю, где ты была. Ну, что решила? Дала согласие?»

«Как я могла дать согласие? Папа же болен!»

«Вот что, ты должна сейчас же решить. Хочешь ты туда ехать или нет, куда тебе предлагают?»

«Да нет же!» — я говорю.

«А если бы отец не был болен...»

«Не хочу я никуда!»

«Так не хочешь? — Он мне говорит и сейф открывает, достает листок ка-

кой-то и кладет на стол.— Я вот тебе сейчас что-то покажу,— говорит,— но с условием, что ты никому это не расскажешь... Вот посмотри, что я должен сейчас делать... Вот смотри, где мне взять этих семьдесят человек... и все разных специальностей... Та-ак, ты вот у нас по какому тут разряду подходишь?»

«Что это? Куда это семьдесят человек?»

«А туда же, куда и брата твоего в свое время... Вот смотри, сколько мне придется инженеров... сколько слесарей такого-то разряда... сколько токарей... сколько чернорабочих... Столько-то из интеллигенции. Такая вот разрядка мне пришла. Ты мне теперь посоветуй: что я буду делать? Где я их буду брать? Я уж и не знаю, где их брать, кого брать, откуда брать. Откажешься — я тебя туда затолкаю, в этот список. А что, ты подходишь. Ты у меня, смотри, по какому разряду пройдешь, ты у меня...— И тут он карандаш отыскал и стал фамилию мою вписывать.— Все на одного меньше... Так едешь ты или нет?! — Я молчу.— Все равно не согласна, ишь ты... Так вот тебе лист бумаги, при мне сейчас пиши заявление сегодняшним числом, иди на вокзал, бери билет, деньги с собой есть? Нет? Я дам, сейчас же бери билет и уезжай, хочешь к брату, хочешь еще куда, а то к тетке моей езжай в Орехово-Зуево, одна она живет, тебя примет, я ей письмо уже написал, с собой возьмешь, и с твоими в райкоме переговорю, потому объяснять тебе никому ничего не придется. Трудовую тебе отдадим, я сам в отделе кадров заберу, с комсомольского учета снимешься потом, а лучше,— говорит,— какое-то время никаких вестей о себе не подавай, молчи, потом напиши, что замуж вышла или еще что-нибудь придумай».

Я все сделала, как он сказал, но домой прихожу, и билет у меня на руках, прихожу, а ничего не говорю и никуда не собираюсь.

«Что такое? Что случилось? Где ты была?!»

Я ничего не говорю.

«Так,— говорит отец,— понятно, значит, не велено рассказывать. А ну-ка позови сюда мать. А сама ступай. Вон,— кричит,— ступай!»

О чем-то они пошептались, посоветовались, смотрю, мама куда-то собирается.

«Куда ты,— говорю,— мама?»

«А,— отмахивается,— да к тете Нюре Сенечкиной...»

Это подружка у мамы была, богомолка, вместе в церковь ходили.

Вечером, смотрю, тетя Нюра пришла да у нас ночевать осталась, а утром, еще пяти не было, меня будят:

«Валя, Валя, вставай! Отец прощается...»

Все вокруг него собрались. Со всеми нами он попрощался, я у него любимая дочь была, потому что младшая, так он руку мою в своей держал. И при нас и отошел. Тихо так, словно уснул.

Через два дня мы папу хоронили. Василий Трофимович на похоронах был. И райком, и обком помог. А наутро я уехала. Потом, когда написала в райком своим, чтобы с комсомольского учета меня сняли, они мне сообщили в ответном письме, что дней через десять после моего отъезда Василий Трофимович застрелился. Причин они не знают. Нового секретаря горкома партии назначили. А вместо меня пока никого. Тех студентов ленинградских, что на практику приехали, всех забрали.

Наигравшись в куклы, Светланка подходит к окну. Там слышен крик журавлей. Господин Гру-Гру, как его называет папа, свил гнездо на тележном колесе. Она ждет вслед за криком полета чудесной птицы. Стоит долго и терпеливо.

И видит, как по небу огромный черный ворон пролетает, словно низко бороздит тучи толстобрюхий самолет.



# Из литературного наследия

К десятилетию кончины А. Ф. Лосева

## «До этой простоты надо дорасти»

Незадолго до смерти, в 1983 году, Алексей Федорович Лосев (1893—1988) был принят в Союз писателей как критик. То, что Лосев имел к писательству более прямое отношение, что его перу принадлежат не только объемные научные труды, каждое слово в которых ярко, точно, блестяще отточено, как, например, в его знаменитой «Диалектике мифа», узнали только после его кончины. В печати стали появляться лосевские рассказы — «Жизнь», «Театрал», «Из разговоров на Беломоро-Балтийском канале», повести — «Встреча», «Трио Чайковского», «Метеор», роман «Женщина-мыслитель». Все эти произведения, как и рассказ «Мне было 19 лет...» (1932), создавались в один из самых трудных периодов жизни Лосева — с начала 30-х до начала 40-х годов. В 1929 году Лосев и его жена Валентина Михайловна приняли монашеский постриг. В 1930-м за свои религиозные и политические убеждения они были арестованы и отправлены в лагерь: он — на Беломоро-Балтийский канал, она — в Сибирь. Именно там, в лагере, Лосев обращается к прозе. Пишет он и после освобождения, когда на исходе 1933 года был активирован по инвалидности. Пишет в невыносимых условиях, стремясь высказать дорогие ему идеи, хотя бы в метафорической, в беллетристической форме. Пишет безо всякой надежды опубликовать, а следовательно, безо всякой надежды найти своего читателя.

На читателя действительно не приходилось рассчитывать. Правда, в начале 1934 года была попытка найти оного: Алексей Федорович устраивает чтение первой главы из «Женщины-мыслителя» в кругу близких людей, дает читать роман замечательной пианистке М. В. Юдиной. Однако опыт заканчивается неудачей. Лосевского романа Юдина не поняла. Она не только усмотрела в нем карикатуру на самого себя (героиня романа — гениальная пианистка Радина, потерявшаяся и гибнущая в пошлости жизни), но и обвинила Лосева... в порнографии. Изумленному автору ничего не оставалось, как попытаться восстановить истину. Он писал Юдиной: «Я встречал завитых, напомаженных, напудренных, надушенных дам с голыми руками, ногами, шеей и грудью, которые пытались читать мне лекции нравственности и учить философии. Вам хочется войти в их число?»; «Ага! — придираетесь Вы, — Л<осев> анализирует разврат. Значит, Л<осев> сам развратник! Ну-ка, вспомните, как называется в логике такая ошибка! Вы постыдным образом пропустили <...> всю трагедию и смысл... Скажите же после всего этого, кто больше смаковал «гадости» и «пакости», — Я, у которого они только жизненный материал для философских идей, или Вы, которая их только и увидела среди этих идей?»; «...самую отрицательную и самую принципиальную оценку порока Вы слепо приняли за «смакование»; «Так же мог бы и я, взявши две-три сцены из «Карамазовых» и зачеркнувши весь остальной роман и всего автора, обвинить Достоевского в «смаковании» «гадостей» и в антихудожественном нагромождении разных «ненужностей»; «Могу в компании к Вам предложить еще покойного Андрея Белого, который, помня, что когда-то 20—25 лет назад Флоренский выступал с докладом о Розанове и мистике пола <...>, написал вдруг недавно в своих воспоминаниях «Начала века» о Флоренском, что он рисуется ему с кадилом около картины с голой женщиной. Кого, скажите, характеризует больше это «воспоминание», Флоренского или самого Андрея Белого?»; «Самое лучшее, если Вы постараетесь скорее забыть это мое злосчастное сочинение и заодно уж! — меня самого. Не вспоминайте этого скверного и паршивого анекдота, к тому же очень подействовавшего Вам на нервы, как старый русский философ-идеалист — к тому же, кажется, последний — превратился после неоплатонизма и византийской мистики в бездарного порнографа Вербицкого».

Опасность, что «жизненный материал» помешает читателю увидеть в лосевской прозе ее философский смысл, не стала меньше по прошествии времени. И рассказ «Мне было 19 лет...» в этом отношении самый «соблазнительный» из всего,

написанного Лосевым. Зачем русский философ-идеалист, да еще и монах, избирает столь странный, «скользкий» сюжет, к чему этот натурализм и «смакование гадостей»? — какой простор для психоаналитика! Но сам Лосев избавляет нас от необходимости объясняться. Он стремится продумывать любую проблему до конца, до ее поднаготной потому, что «мистически голоден» («Я же под грудой бесчисленных теорий, построений и систем ощущаю всегда тревогу за смысл своей жизни, беспокоюсь слежу за мистической судьбой своего духа, чувствую себя голодным до смысла, дрожу за свое внутреннее существование»). Все происходящее в рассказе, несомненно, сродни первому сну Вершинина из романа «Женщина-мыслитель». «В этом рассказе из жития святых,— писал Лосев Юдиной по поводу сна Вершинина,— Вы увидели только фрейдизм и постыдное смакование», в то время как в нем дано «изображение чисто монашеского искушения, когда прекрасная и светлая монахиня превращается в похотливую блудницу». В рассказе «Мне было 19 лет...» «похотливой блудницей» оказывается певица Потоцкая, а сам герой находится в состоянии, подобном сну.

Тонкий, впечатлительный юноша, влюбленный и донельзя возбужденный своими надеждами на знакомство с предметом своей страсти — певицей Потоцкой, герой полностью теряет ощущение реальности на концерте в Благородном Собрании после увертюры Чайковского «Франческа да Римини». Как в кошмарном сновидении обращается он «в сомнамбулу, в лунатика, творящего чужую волю (чью же?) и выполнявшего невероятные предприятия — вопреки всяким правилам, законам и обычаям». «Разумеется, все дело заключается в контексте и фоне,— писал Лосев в 1916 году в статье «Два мироощущения». — Когда в увертюре-фантазии «Франческа да Римини» Чайковского тень Франчески, после казни сладострастных людей, среди клубящихся багровых облаков ада, рассказывает свою историю в мелодии, то эта мелодия так давит душу, что у нервного слушателя иной раз захватывает дыхание». У героя рассказа «Мне было 19 лет...» не просто захватывает дыхание. Ему мерещится, что в Благородном Собрании меркнет свет, а сам он попадает в смрадный ад человеческой пошлости и вожделия. В его кошмаре-искушении сливаются воедино и реальные приметы дореволюционной Москвы, и элементы русского фольклора (лес, избушка с горницей, полной странных гостей, хозяйка-оборотень — это она гонится волчицей за героем, причем сам герой засыпает не каким-нибудь, а богатырским сном), и апокалиптические образы (Потоцкая на спине «тысячелового чудовища», как великая блудница на звере багряном из Откровения св. Иоанна Богослова). В своих смутных видениях герой переживает ту же казнь сладострастных людей, о которой повествовала музыка,— убийство Баландина и Потоцкой, таким странным образом воплотив «эту музыку в свое повседневное существование».

Сюжет рассказа — встреча склонного к философствованию героя с женщиной-артисткой — один из излюбленных сюжетов лосевской прозы. Чаще всего эта артистка — пианистка-исполнительница: Радина из «Женщины-мыслителя», Томила из «Трио Чайковского», Дориак из «Метеора» и т. д. В рассказе «Мне было 19 лет...» это певица Клавдия Ивановна Потоцкая. В какой-то мере подобный сюжет — отражение биографии самого Лосева. Встреча с Юдиной — значительная веха его жизни. Еще раньше произвела на него не меньшее впечатление другая гениальная женщина — певица А. В. Нежданова. Именно ей посвящена упомянутая нами статья «Два мироощущения» — «Далекой и светлой звезде, дивным блеском искусства освещающей наш темный и трудный путь, чаровнице и вдохновительнице, артистке А. В. Неждановой посвящает автор свой скромный лавр в венок славы». И все же для понимания лосевской прозы подобные автобиографические детали не столь существенны; они — только штрихи к целому, «жизненный материал». Лосев пишет о другом: о том, что всякая идея должна обрести свою плоть.

Способна ли плоть воплотить идею и как воплотить? Возможно ли тут полное слияние и при каких условиях? К каким последствиям оно может привести? Где та тонкая, ажурная, гениальная женственность плоти, готовая воспринять мужественность идеи?.. Из рассказа в рассказ, из повести в повесть задается Лосев этими вопросами, пытаясь разрешить философские проблемы с помощью средств сугубо литературных: фабулы, системы действующих лиц и т. п. Он достаточно умело пользуется всеми этими художественными аксессуарами. Опыт прозы Достоевского не прошел для него бесследно. От Достоевского детективная завкаса многих его вещей; стремительно-напряженное развитие событий, укладывающихся в короткий, строго хронометрированный временной отрезок; особое многоголосье. Памятует Лосев-прозаик и об Эдгаре По (в чем признается



жене в письмах из лагеря). От Эдгара По ведут свое происхождение нерасторжимые переплетения сна и реальности, действительности и фантазии в лосевской беллетристике, а также странные мономании многих его персонажей — Пети из «Театрала», жаждущего уничтожения когда-то любимого театра; героя рассказа «Мне было 19 лет...», одержимого идеей обладания Потоцкой. Но и литературные традиции для Лосева как автора — только «жизненный материал», только одна из отправных точек.

В чем же смысл рассказа «Мне было 19 лет...»? В том, что чистая и высокая идея любви способна превратиться в человеческой жизни в нечто кардинально противоположное, низменное, отвратительное, подобное жуткому сновидению. Великая тайна причащения любви, с ее жертвенностью, с ее мистическим восстановлением цельности бытия — порождающего и порожденного, с циничной жестокостью оборачивается похотью, «чесательной философией», обесценивающей, опустошающей, лишающей любовь самой ее изначальной сути.

Казалось бы, что в этом выводе нового, какое откровение?.. Старая истина, о которой говорилось и не раз... Да, действительно эта истина очевидна и проста, но, как писал Лосев, «до этой простоты надо дорасти». До тех пор, пока она не выстрадана человеком, его «опять давит эта сложность, эти темные порывы, этот самоанализ, этот мировой Мрак!»

Елена ТАХО-ГОДИ

А. Ф. ЛОСЕВ

## Мне было 19 лет...

РАССКАЗ

1

**М**не было 19 лет. Ей — самое большее 30. Я был студентом второго курса. Она — певицей и актрисой, имевшей большую известность в России и Европе. В течение целого сезона я не пропускал ни одного ее выступления и в деталях изучил ее манеру петь и держаться на сцене. Я был, как говорится, влюблен в нее и, как водится среди молодежи в этом положении, искал случая с ней познакомиться. Но как это было сделать? Она — известная актриса, редкий сценический талант, любимец и баловень публики, я же — скромный студент, к тому же занимавшийся своими науками гораздо больше того, что требовалось от студента. Я долго думал, что мне предпринять. Она мучительно волновала меня, и я решительно терял голову, с каждым днем все больше и больше ожидая — чего? Никто мне не мог бы объяснить, чего я, собственно, ждал. Нужно было что-то делать, но я не знал, как приступить к этому важному делу.

Скоро, однако, подобный случай представился. В Москве, где я учился, был устроен в Благородном Собрании какой-то благотворительный вечер, на котором должна была выступать Потоцкая (фамилия моей любви) и на котором предполагались танцы, где возможно было ее участие. О, эти чудесные колонны большого зала Благородного Собрания! Сколько вы слушали чудной музыки и какую только красоту вы не лицезрели! Случай был прекрасный. В самом деле, вечер был «благотворительный». Значит, там не могло быть той строгости и холодности, которая обычно царила там во время симфонических концертов. Кто бывал в старину на этих благотворительных концертах, тот помнит эту непринужденность, эту простоту, семейственность и даже какой-то интимно-провинциальный характер, действовавшие на публику, которая, кста-

ти сказать, и собиралась уже по определенной симпатии к целям данного вечера. С другой стороны, эти концерты имели все свойства больших столичных концертов. Тут выступали виднейшие солисты, связанные так или иначе с данными благотворительными организациями, и можно было получить настоящее художественное удовольствие. Что уже совсем придавало провинциальный характер этим вечерам, это то, что после концерта обычно устраивались танцы, в которых мог всякий принять участие, но которые возглавлялись какими-нибудь важными чинами или известными людьми и в которых нередко участвовали и выступавшие перед этим исполнители.

Вот один из таких вечеров и был объявлен однажды к полной моей неожиданности, и он сулил мне огромные возможности в смысле сближения с Поточкой.

Однако все это надо было заранее обдумать, чтобы не попасть впросак; я же находился все время в полупьяном состоянии и с трудом собирал свои мысли.

Стояла дождливая и гнилая осень. Резкий ветер и дождь делали мое существование совершенно невозможным, отвлекая от всего внешнего и насильно погружая в мутную и мучительную стихию напивших и бушевавших чувств. Я вставал поздно, с единственной мечтой дожидаться вечера, чтобы можно было идти в театр или на концерт, а день, этот дождливый, серый, слякотный день, с нависшими тучами и непрерывными сумерками, шел неимоверно медленно, вытягивал душу в какую-то бесконечную нудную нитку.

Потоцкая выступала не часто. Но нечего и говорить о том, что ее образ окутывал в мучительно-сладкое марево всякую музыку, всякое театральное представление, где ее не было среди исполнителей, но где были хоть какие-нибудь намеки на подлинное искусство. Это невыносимое томление чем-то должно было кончиться, но оно ничем не кончалось и не кончалось.

Я стал готовиться к назначенному благотворительному концерту и обдумывать план своего поведения. Во-первых, надо было хорошо одеться. Я вообще любил хорошо и изящно одеваться, хотя, вспоминая свою жизнь, вижу, что это почти всегда оставалось только голой теорией. На этот раз, однако, дело обстояло весьма удачно. Недавно перед этим я заказал себе визитку, которая, по отзывам моих товарищей, сидела на мне исключительно хорошо, и я успел ее надеть перед этим только один раз. У меня были и другие костюмы, вполне подходившие под мой стиль, но не было ничего равного этой визитке. Надевая ее у себя дома перед зеркалом, я чувствовал, что сам становлюсь гораздо изящнее, артистичнее, и я начинал кого-то заочно любить, испытывая тонкую и ажурную музыку своего обновленного существования. К этой визитке полагались черные с серой полоской брюки, а черный жилет имел в разрезе белую пушистую оторочку, придававшую мне богато-избалованный вид.

Я любил свои костюмы бескорыстно, чистою, счастливою любовью. Я их менял в связи с своими настроениями. В те редкие минуты, когда из темного хаоса человеческого бытия всплывали чьи-то страдающие и зовущие глаза и я начинал ощущать неизъяснимо-трепещущий артистизм мира, я надевал какой-нибудь лучший костюм и брызгал себя тончайшими духами, сберегавшимися мною на этот случай. Я никуда не шел, а садился за фортепиано или брал стихи и прозу великих художников и погружался в общение с их гением. Часто, просыпаясь поздно утром в дождливую скверную осень и чувствуя в душе холодный погреб одиноких бессильных порывов, я надевал старые засаленные пиджаки, стоптанные и непочиненные ботинки и садился за какую-нибудь скучную и деловую работу.

Так вот, новая визитка и черные с полоской брюки были вне сомнения. Также не было сомнения и относительно обуви. Последней модой тогда были

ботинки с широчайшими носками, и они у меня имелись. Много заботы и рассуждения вызвал вопрос о воротничках и о цепочке для часов. Тут легко было впасть в вульгарность, и я решил совсем не надевать часовой цепочки и прочих украшений, но вопрос о воротничках мучил меня очень долго. Странная вещь! Какое все это могло иметь значение для меня? Если рассудить здраво, то все эти приготовления и рассуждения были просто глупы. Ну, надо было прилично одеться. Однако что это значило перед трудностями знакомства с Потоцкой и хотя бы минимальным сближением с нею? Я же все думал и думал и мучительно долго выбирал фасон воротничков и цвет галстука. Наконец я решил надеть отложные стоячие воротнички, отклонивши просто стоячие, стоячие с отвернутыми углами и пр. Цвет галстука также оказался в конце концов довольно простой — самый обыкновенный черный, потому что и\* уводящая вдаль темная синь, и\* равнодушно-равновесная легкая зелень, не говоря уже о прочих, нелюбимых мною цветах, были отброшены с самого начала, найти же какой-нибудь другой цвет я не сумел, несмотря на большие усилия. Я допустил только один момент в цвет галстука: я решил взять не матовый черный, но атласный черный, так что чувствовался едва заметный и очень деликатный глянец, придававший более роскошное и слегка играющее впечатление.

После долгих мучительных исканий костюм был обдуман, и я с трепетом ждал назначенного концерта.

## 2

У меня было несколько вариантов возможного знакомства с Потоцкой.

Проще всего мне казалось, что после концерта, когда начнутся танцы, кто-нибудь из моих знакомых представит меня Потоцкой и оставит с нею хотя бы на несколько минут. Это было тоже, собственно говоря, глупо. У меня не было ровно никаких общих знакомых с нею. Странное дело, этот простой факт совсем не приходил мне в голову, и я всерьез считал такой вариант одним из самых удачных и естественных.

Другой вариант казался мне тогда более глупым, хотя теперь он мне кажется в той же мере «основательным», что и первый. Он заключался в том, что в антракте или после концерта я пойду в артистическую и передам ей благодарность за выступление на вечере — от кого? Ни этот вопрос «от кого?», ни вопрос о том, как объединить это официальное приветствие с чисто личным знакомством (а меня, конечно, интересовало главным образом последнее), — никаких подобных вопросов у меня и не возникало, и я считал этот второй вариант также весьма подходящим, хотя и менее естественным.

Все случилось совершенно иначе, чем я ожидал и предполагал; да, размышляя о прошедшем теперь, после многих лет, я думаю, что я и сам не отдавал себе отчет, чего я, собственно, ждал и к чему стремился.

День рокового концерта оказался все таким же отвратительным дождливым днем, с холодным пронизывающим ветром, с каким-то тяжелым не то туманом, не то какой-то изморосью. Густые свинцовые тучи ходили над самой головой; и хотелось сидеть у камина, в теплом и светлом месте, и не думать об этой холодной злобе надрывно плачущей поздней осени.

Концерт был назначен в 8 1/2 час. вечера. Ровно в 8 часов я вышел, чтобы сесть в трамвайный вагон, и приехал в Благородное Собрание задолго до начала. Вопреки обыкновению, с утра я почувствовал какую-то спокойную холодноватость в душе и проснулся с чувством некоего значительного душевного спокойствия. В этот день я уже не вынимал открыток с театральными изобра-

---

\*В рукописи «ни»... «ни».

жениями Потоцкой и не рассматривал их: это занятие показалось мне слишком ничтожным по сравнению с тем, что должно было произойти вечером и ночью.

Обыкновенно я подолгу всматривался в эти открытки, и это было для меня единственной формой общения с Потоцкой, кроме присутствия на ее выступлениях. Обычно я не сразу лез в стол и не сразу вынимал эти открытки. Когда вставишь ключ в ящик стола и отодвинешь ящик, тут еще теплота в груди не началась, а проявляется только легкая дрожь в членах и чуть-чуть не хватает воздуха, как будто бы находишься в жаркой бане. Но как только вынешь альбом с этими интимными открытками — сразу начинаешь ощущать резкую и горячую струю, как от выпитого крепкого вина.

Было у меня и две открытки с изображением Потоцкой в натуре. Оба изображения изучались и рассматривались мною тогда целыми часами, и о них, пожалуй, стоит упомянуть.

Одно из них было фотографией молодой женщины, до бюста, с игривыми, но несколько мясистыми губами, с детски наивным взглядом, с едва заметными чертами капризности и беспредметной шаловливостью в извилинах несколько широковатого носа. Лицо, в общем, было довольно худое, даже, может быть, чуть-чуть вытянутое, но глаза поражали детской наивностью, беззаботной светлой счастливостью и уверенностью в том, что все кругом абсолютно благополучно, что кто-то все устроил и устраивает так, как надо для беззаботного и легчайшего самочувствия. Только капризы носовых очертаний и недетская игривость губ свидетельствовали об опасностях, трудностях, даже частой безвыходности и напряженности некоторых сторон этой непонятной артистической души.

Другой портрет более говорил о Потоцкой как об актрисе. Тут она была изображена сидящей в глубоком мягком кресле в каком-то торжественном и величественном виде, с властно положенной рукой на изящном столике. Здесь ей можно было дать гораздо больше лет, и фигура казалась более массивной, чем на то уполномочивало лицо. На лице не было ни детской наивности глаз, ни игривости губ. Но зато была выражена и почти била в глаза капризность носа, которая в соединении с властно сжатыми губами производила определенно деспотическое впечатление. Лоб казался здесь значительно шире и выше, чем на первой фотографии, и от него веяло молодым умом и свободным размахом. И едва прищуренные глаза кололи тончайшим намеком на некую неопределенную пустоту и, казалось, вызывали на интимный, но смертельный бой с этой обманчивой и жестокой бездонностью души. Портрет, вообще говоря, производил бы, вероятно, сильнейшее впечатление неженственности, если бы не истинно детские локоны, скрученные на висках в два нежных колечка и заставлявшие меня не раз смахивать с своего лица выкатившуюся слезу — слезу страстного желания, когда все желанное так близко и так недоступно, так холодно и тупо не дается, несмотря на твою мучительную дрожь и жажду.

В описываемый мною день я, повторяю, уже не вынимал этих открыток и не занимался их рассматриванием. Ни одно из этих мучительных чувств, укоренившихся у меня за последние месяцы, не волновало меня, и я был поразительно спокоен и ясен, как озеро, похоронившее на своей глубине тяжелый и бесценный клад.

Не волновал меня и знакомый в течение многих лет несколько спертый воздух больших театральных зал, которого не избегал и Колонный зал Благородного Собрания, хотя там и старались тщательно проветривать помещение. Я вошел в фойе Благородного Собрания спокойным как никогда, купил программу концерта и стал с беззаботным видом просматривать ее содержание.

В программе стояла из крупных вещей увертюра Чайковского «Франческа да Римини» в первом отделении и «Приглашение к танцу» Вебера в концертной обработке Меттля во втором отделении; была, кроме того, в программе 1-я часть Крейцеровой сонаты для скрипки, что-то фортепьянное, и все остальное — пение и декламация. Потоцкая должна была петь несколько песен Шуберта и какие-то романсы Чайковского.

Вся эта музыка в тот вечер не имела для меня никакого значения, так как страстно хотелось не слушать музыку, но самому стать музыкой, хотелось жить теми страданиями и теми наслаждениями, которые в музыке были только изображены, а не присутствовать там со всей своей жизненной тяжестью и чернотой.

В голове и груди шумели каскады мыслей и чувств, и только в самый день концерта водворилась какая-то зловещая ясность и спокойная холодноватость духа. Я чувствовал, что во мне произошло какое-то внутреннее решение, но я не знал, как не знаю и теперь, на что я тогда, собственно, решился. Я как бы уже обладал Потоцкой и — не это ли внушало мне такую ясность и спокойствие. Нет, не это! Не только до обладания ею, но просто до солидного, не компрометирующего меня знакомства с нею было так далеко, так далеко!

## 3

Первые звуки увертюры пронеслись, как дуновение с того света. Я был погружен в недоумение, и спокойствие дня сменилось легким удивлением, причем совершенно было непонятно, чему я удивлялся. Тому ли я удивлялся, что музыка вообще существует на свете, тому ли, что в ней до смешного реально была изображена человеческая жизнь, тому ли, что я уже переживал себя обладающим, как бы превратившим эту музыку в свое повседневное существование? Не знаю, не знаю! Помню только, что удивлялся я и недоумевал в течение всей этой длинной увертюры; и это удивление сменилось только тогда, когда наступила очередь номеров Потоцкой.

Тут случилось то, из-за чего я и решился записать эти далекие воспоминания.

Потоцкая вышла в черном муаровом платье с какими-то пышными, многоэтажными оборками, с умеренно оголенной шеей и с многочисленным золотом на груди. Костюм и фигура были, в общем, строги, но во всем сквозила какая-то пышность и избалованность, какая-то загадочная и зовущая, этакая шикарная мягкость форм. Что-то ласковое и приятное веяло вокруг этой женщины, этакая нежная бархатистость души, в которую погружаешься, как в мягкую траву. И хочется спрятаться в недрах этой бархатной ласковости, забыться в ней так, как погружаешься в огромную кучу сена, погружаешься почти с головой, и никто тебя не видит, где ты тут находишься.

Увидевши Потоцкую, я вдруг понял, что я уже обладал ею давно-давно, что только в силу досадного и кратковременного недоразумения я сейчас отделен от нее, что это-то давнишнее обладание и есть самое естественное и простое, что только может существовать между нами. Я как бы с трудом припомнил виденный давно-давно интимный сон и уже верил тому, что я до сих пор даже не знаком с нею. Припоминал-припоминал и — никак не мог припомнить, где и когда я был с нею знаком и где и как протекала наша с нею жизнь.

В одно мгновение оказалось, что я вечно жил так, как эта женщина, жил тем же, чем и она, и жил с нею вместе долго-долго, всю вечность.

Но не успел я очнуться от этого припоминания настоящего, как я был потрясен арией, которую я давно уже не мог слушать равнодушно. Потоцкая пе-

ла какие-то номера; я даже забыл и едва ли знал — какие. Но вот она запела (кажется, на бис) арию Розины из «Севильского цирюльника», запела с своими чистейшими колоратурными пассажами, которые редко когда слыживала музыкальная Европа, — и я ощутил себя летящим над какой-то бездной, в широкой и безбрежной голубой пустоте. Только легкие содрогания в области груди и тонкое, едва ощутимое головокружение, какое бывает при взгляде вниз с высокой скалы, напоминали о том, что я все еще сижу в зрительном зале, что я еще не потерял свое тело и что это тело начинает играть и жить, как старинная скрипка Страдивария.

Этих напоминаний хватило ненадолго. Я скоро забыл себя, свое место в кресле, забыл весь зал и концерт, забыл даже виновницу всего этого мистического и сладкого, но отчаянного и бурного хаоса моей души. Я превратился в сомнамбулу, в лунатика, творившего чужую волю (чью же?) и выполнявшего невероятные предприятия — вопреки всяким правилам, законам и обычаям.

В тусклом тумане прошли остальные номера концерта. Электричество Колонного зала потемнело и стало тусклым, как жалкие керосиновые фонари в глухом провинциальном городишке в туманную и дождливую осеннюю полночь. Я смутно видел, как после концерта публика стала живее и разговорчивее и как чем ближе к танцам, тем больше разгорались лица и тем непринужденней становилась речь.

Наконец начались танцы — традиционным вальсом. Но это был не вальс, а какое-то светопреставление. Когда-то в старину нашим не столь еще далеким предкам вальс казался развратным танцем, чем-то вроде современного фокстрота. Правда, вальс никогда не изображал полового акта со всеми его реалистическими подробностями, но все же представьте себе: кавалер подходит к даме в самой интимной близости, они берут друг друга за талию и почти обнимаются, близко прикладывая один к другому головами; и в таком виде начинается круговая пляска, в которой это взаимное круговращение может продолжаться до бесконечности. Неудивительно, что в старину это казалось верхом эротики, подобно тому, как арии Гайдна казались раньше верхом сексуальности, в то время как мы их воспринимаем в виде чисто религиозной музыки.

Вальс, которым начались танцы, мучил меня целую вечность. Тут уж не просто верх эротизма, как это было когда-то, а просто какое-то столпотворение, бурное и мрачное, как бы море, кишашее страшными чудовищами. Потоцкая танцевала в первой паре с пожилым генералом, вероятно, одним из шефов устроенного благотворительного концерта. Это обстоятельство почему-то меня весьма удивило и разозлило. Почему? Я сам весьма дурно и мало танцевал еще подростком и с тех пор несколько лет не танцевал совсем. Неужели я мог надеяться танцевать с Потоцкой в первой паре? С другой стороны, кому же и танцевать с нею в первой паре, как не самому видному, самому солидному мужчине из всех устроителей этого концерта?

И, несмотря на естественность всех этих обстоятельств, я был ужасно разозлен и злость эту едва сдерживал, не говоря уже о том, что с момента арии Розины я начал буквально летать в высоте, на которой захватывало дух. Я бегал с места на место, когда следил за первой танцующей парой, не будучи в состоянии дожидаться, когда эта пара обойдет весь зал и вернется на прежнее место.

Я не хотел и не мог выпускать с поля моего зрения Потоцкую, и, хотя при условии постоянного кружения пары почти невозможно было рассмотреть ни лица, ни фигуры, я бегал за ней и ее генералом вокруг залы, пытаюсь уловить выражение лица и ажурные нюансы ее гибкой фигуры.

Помню, как под влиянием той же Потоцкой, почти год тому назад я стал испытывать нестерпимое желание, прямо какую-то страсть, рассматривать и

изучать человеческие лица и фотографии, впиваясь в них с сладчайшим вожделением и с трепетным искательством. Одно время я буквально не мог выйти на улицу или сесть в трамвайный вагон, чтобы не начать кого-нибудь преследовать своим анализом и ловлей мельчайших черт физиономии. Я не мог преодолеть себя, попирая всякие элементарные правила приличия. Остановливаясь около витрин фотографических заведений, я нередко испытывал сразу и наслаждение, и ужас от темных и непроглядных бездн человеческой души, открывающихся на этих фотографиях, и с какой-то сладострастной жестокостью впивался в это белое тело страстно-трепещущей жизни. Чудилась мне мировая самка, вселенское излияние самопорождающейся и самопожирающей стихии, изводящей из себя бесконечные лики жизни, уводящие в страстную бездну премирных зачатий. Какая режущая и сладкая боль! Какая крепкая и чревная тайна!

Я бегал за танцующей Потоцкой, усиливаясь заглянуть в лицо и уловить его выражение, но это не удавалось ни на одно мгновение. Что-то скользило и исчезало, как тень, как дым, и не давалось в руки, как воздух, как пламя.

Еще задолго до окончания вальса Потоцкая, раскрасневшись, перестала танцевать и села вместе с тем же генералом недалеко от танцующих. Однако и здесь я ничего не добился, так как очень скоро она встала и скрылась в дверях в артистическую.

Вальс шумел и бурлил еще очень долго, и танцующие пары в этом темном и спертom воздухе Колонного зала сливались в темное, единое и огромное, дрыгающее своими мускулами живое существо.

Я выскочил в фойе и в изнеможении свалился на один из стоявших там мягких диванов.

## 4

Кто-то ходил около меня, даже как будто кто-то здоровался. Музыка продолжала играть с небольшими перерывами; и я заметил, что прошло уже несколько танцев.

Я сидел или не знаю, что делал, вероятно, довольно продолжительное время.

Наконец новые звуки неизвестного мне танца заставили подняться меня с места и вернуться в зал, потому что я вдруг понял, что в этом танце обязательно должна была участвовать Потоцкая.

В этих случаях редко кто ошибается. Потоцкая действительно шла в первой паре, но уже с другим, не менее солидным кавалером.

Новый танец поразил меня странной ритмикой, совмещавшей в себе какие-то хромые и неуклюжие размеры с частыми диссонансами и постоянно наплывавшим и вдруг исчезающим напряжением. Можно было подумать, что танцуют неуклюжие, хромающие и толстоногие карлики, кружась в откровенно похотливых и цинических позах.

Что похоть дает наслаждение — это та вульгарная истина, о которой все знают, знают больше, чем надо. Но есть наслаждение от цинизма, что испытывают очень и очень многие, но почему-то боятся формулировать и даже называть по имени. Есть наслаждение в том, чтобы обнажить свой порок и смачно рассказать о нем вопреки и назло всякой благовоспитанности. Приятно и сладко надругаться над самым высоким и святым, над самым нежным и невинным и потом самому же рассказать первому встречному и даже всякому своему другу и знакомому. Я знал одного человека, который испытывал радость в мгновенном обнажении своего полового члена и показывании его случившимся около него мужчинам и женщинам.

Это рыдание цинизма восставало из недр музыки, являвшейся новым танцем, обратившим на себя мое внимание. В этой музыке что-то вихлялось и кривлялось, что-то хрупкое рассыпалось и вновь восставало из клокочущей пучины страсти. Извивные фигуры и капризная взрывность чередовались с мучительными и длинными паузами, во время которых, кажется, можно было задохнуться. Что-то кололо и резало в этой музыке, и что-то медленно и тяжело ухало, отзываясь в груди и в животе, как во время сильного раскачивания на качелях. Мелкие серебристые точки то взмывали на темном пространстве музыки, сплетаясь в отвратительные размалеванные фигуры, то вдруг пропадали, заменяясь тупыми, серыми и грязными стенами, о которые разбивалось всякое живое стремление.

Потоцкая вихлялась и кривлялась в первой паре, но скоро осталась только она одна, и я мог узнать ее только по фасону платья, потому что и самый цвет ее черный уже давно перестал быть черным, а черным сделался Колонный зал, в котором электрические лампочки превратились в слабейшие сальные свечи, ничтожно мигавшие в тусклом тумане зала. Я стал чувствовать тошноту и головокружение, потому что Потоцкая стала менять цвета своего платья, и фигура ее извивалась, как бешеная гадюка. И на тусклом, мрачном, а местами просто черном фоне Колонного зала Потоцкая мелькала то в ярко-красном, то в ослепительно белом платье, и только общий вид фигуры, неизменно корчась и как бы над кем-то издеваясь, еще продолжал напоминать ту Потоцкую, которая еще так недавно выступала на эстраде.

Она была похожа на подвижную, <извиваю>щуюся греческую букву «кси», так что почти уже нельзя было разобрать временами, где была голова и где ноги.

Прочая публика не исчезла, но осталась как бы несуществующей. Она превратилась в непрерывно изгибающуюся спину тысячеголового чудовища, на которой Потоцкая выделяла нечеловеческие фигуры, гонимая и поднимаемая чьим-то повелительным, но циническим оком.

У меня мелькнуло в раскаленном мозгу: «Вот где можно ею овладеть!» И я стал осторожно приближаться к ней, чтобы схватить ее в наиболее неожиданный для нее момент. Я почувствовал в себе что-то кошачье и, как кошка, стал выслеживать свою жертву. Но Потоцкая была совершенно недоступна. Она так извивалась и вертелась, что никак нельзя было не только протянуть руку, чтобы схватить ее, но даже и просто приблизиться к ней.

По-видимому, она не заметила меня, хотя в зале были только она и я и что-то еще, что не имело никакого имени и не поддавалось никакому наименованию, как не могу подобрать я соответствующего имени и теперь.

Вероятно, мое выслеживание продолжалось бы целую бесконечность, если бы не случилось то, чего я никак не ожидал.

## 5

Во время одного приближения к ней, когда я уже протянул руки, чтобы крепко схватить ее за талию, я вдруг заметил, что она начинает двигаться все медленней и начинает обращать внимание на меня.

После нескольких кругов она внезапно остановилась и вперила в меня свои глаза. Только одно мгновение я мог выдержать этот взор, после чего меня охватил такой ужас и смятение, что я бросился бежать от нее прочь, в невероятной панике замечая, что она погналась за мной с целью поймать.

Этот страшный и отвратительный, но в то же время пронизывающе-страстный взгляд стоит с тех пор у меня в душе в течение целой жизни. Я увидел вместо изящной и породистой головки оперной артистки какую-то волчью, не



то собачью морду — во всяком случае, нечто длинное и как бы конусообразное, направленное вершиной вперед. Глаза дико торчали вверх, хотя и сама морда была направлена несколько вверх, так что глаза были устремлены как бы к потолку, напоминая своим диким и свирепым выкатом две летящие стрелы, пущенные в черную пустоту неба. В довершение всего эта морда представляла собою открытую пасть, из которой болтался огромный огненно-красного цвета язык, и казалось, что этот зверь готов был сию же минуту меня проглотить.

Была тьма, смрадная, душная тьма, и — ничего кроме этих дико вытаращенных кверху бессмысленных глаз и яркого пламени длинного болтающегося языка. На фоне тусклого мрака зала этот язык сиял еще зазорнее, еще свирепее.

Вот это-то чудище и погналось за мною, так неожиданно перейдя в дикое наступление и преследование.

Я бежал по фойе прямо на улицу, бежал по улицам Москвы неизвестно куда, в своем парадном костюме, без шапки и галош, не будучи, конечно, в состоянии взять у швейцаров свое верхнее платье.

Дождь лил довольно сильной струей, и погода стояла та самая, как и все последнее время. Завывал холодный, дождевой ветер, и была невероятная слякоть. Уже было около полуночи, и я скоро очутился среди полной тьмы, где исчезли последние фонари.

Я мчался что есть мочи, постоянно чувствуя неослабевающую погоню.

Ужас и сладость быть гонимым охватили меня с головы до ног, и я бежал как бы куда-то и на смерть, и к наслаждению сразу. Вот-вот Потоцкая догонит меня, и я уже ощущал ее страстные щупальцы, ожигавшие мое тело, как раскаленные угли. Вот-вот она поймает меня, и что-то случится с землей и с небом, какая-то полоса пройдет по всему миру, и небо разорвется на несколько частей, обнажая свою тошнотворную и пронзительную тайну. Вот-вот я буду схвачен, убит, уничтожен, утоплен в мрачном и огненном море бытия. И эта сладкая жуть, музыка и смерть, любовь и самопожирание охватывали судорогами все мое тело.

Толпа думает, что можно есть что-то, а оно, это «что-то», не может в то же время пожирать того самого, кто ест его. Толпа думает, что можно пожирать другого, но нельзя пожирать самого себя. И толпа уверена, что если что-нибудь пожирается, то тем самым оно именно пожирается, а не создается и не рождается вновь, что если что-нибудь пожирает себя самого, то тем самым оно не создает и не рождает себя.

Бедная толпа! Глупость и мещанство не уничтожаются в тебе, даже когда ты стихийна, когда ты сильна и когда ты прекрасна!

Вспоминая теперь свое дикое состояние в те минуты бегства от Потоцкой, я вижу, как Потоцкая сразу пожирала и меня, и себя и в муках, в сладких и отвратительных муках, хотела заново родить и себя, и меня, и еще кого-то третьего. К ужасу своему, я жаждал в те минуты своего уничтожения, и тогда зачем же я бежал от нее? И вождедел убить ее, Потоцкую, и почему же не убивал ее, а убежал от нее, как испуганный ребенок?

Не знаю, не знаю. Ничего не знаю.

Наконец я стал замечать, что Потоцкая как будто несколько отстает, а потом как будто и совсем погоня прекратилась. Куда она делась, не знаю, но знаю, что и я стал замедлять свой бег и в конце концов остановился, совершенно не соображая, в какое место я попал.

Были какие-то большие деревья — может быть, лесок или парк, и ни одной живой души. Ветер продолжал стонать и рвать все непрочное, и дождь немолимо и непрестанно проливался в холодном и мгlistом воздухе.

Я стал всматриваться в едва видные контуры деревьев и с некоторым удовлетворением заметил, что я нахожусь в глубине Сокольнического парка, почти на берегу глубокого пруда, в нескольких верстах от Благогородного Соборания.

Под проливным дождем, без пальто, без шапки и без галош я опустился на скамейку, случайно оказавшуюся недалеко от меня. С трудом собирая свои мысли и считая, что невозможно же в конце концов оставаться в таком положении, я сидел очень недолго и поднялся, чтобы идти, но куда и как?

Мой изящный костюм превратился в обвисшие и оборванные, забрызганные грязью тряпки, а галстук размотался и висел на шее скрючившись, как веревка. Вместо своих туго накрахмаленных воротничков я ощупал у себя на шее какую-то мокрую рвань, которую сейчас же стал срывать с себя, но никак не мог этого сделать, потому что какая-то запонка упорно сопротивлялась, и я не мог ни распутать этого досадного ошейника, ни разорвать его.

Все на мне висело, путалось, рвалось, болталось; можно было выжимать воду из всего. Вода была даже в карманах.

Я начинал стучать зубами от холода. А извозчика совсем нельзя было дождаться в Сокольниках. Было далеко и до трамвайной остановки, да и трамвай, вероятно, уже прекратился в этот поздний ночной час.

Положение было бы безвыходно, если бы я не наткнулся на какую-то жалкую избушку, в которую и решил войти, чтоб немного привести себя в порядок.

На душе был у меня камень.

## 6

Войдя в сени избушки, я заметил небольшое окошечко в главную комнату, из которого светился огонь. Но то, что я увидел в это окошечко, когда заглянул туда, превзошло все мои ожидания.

Я увидел огромный и роскошный зал с длинным обеденным столом, за которым сидела масса народа,— по-видимому, каких-то гостей,— и ряд небольших столиков, стоявших вокруг главного зала и уже занятых гостями. Столы были уставлены всевозможными закусками, из которых многие имели совершенно необычный и странный вид, так что можно было думать, что это какие-то деликатесы, у нас никогда не употребляющиеся.

Мягкий электрический свет разливался по всему залу, придавая всем очертаниям приятно-желтоватый и слегка затененный и матовый оттенок.

Был богатый ужин, и официанты все время сновали туда и сюда, разнося по гостям бесконечные кушанья, для которых я даже не имел названия в своем лексиконе. По-видимому, ужин в основном кончился и шел уже изысканный десерт, чем и объяснялось разнообразие и обилие подаваемых яств.

На столе красовались небывалой формы сосуды и вазы, подобные которым я встречал только при изучении искусства Древней Греции. Они были переполнены янтарными кистями винограда разных сортов, шафрановыми и анисовыми яблоками, желтыми мягкими сочными грушами, пахучими мандаринами и т. д. и т. д. Посередине стола шла целая батарея бутылок, содержимое которых не было мне известно ни по вкусу, ни по названию.

Публика, по-видимому, была приглашена со специальной целью. К удивлению своему, я заметил, что хозяином этого необычайного пиршества является тот самый генерал, который начинал с Потоцкой вальс в первой паре. Да позвольте! Вот и она сама, Клавдия Ивановна Потоцкая, в том же самом черном муаровом платье, в котором она выступала сегодня на концерте.

Было ясно: это — ужин после благотворительного концерта, и тут присутствовали все, кто имел отношение или к концерту, или к благотворительным целям, ради которых он был устроен. Но что уже совсем было странно и непонятно, это то, что среди этой публики я увидел самого себя — в том самом изысканном и тщательно обдуманном костюме, в котором я пришел на концерт. Впрочем, я не так уж этому удивился. После первой минуты изумления я вдруг почувствовал, что это очень даже хорошо, что так и должно быть, что тут ровно ничего нереального, выдуманной, что иначе даже и не могло быть.

Многие успели подвыпить, и разговор шумел на самые разнообразные темы. Потоцкая уже оставила свое официальное место за столом, так как за окончанием ужина и многие другие стали менять свои места, рассаживаться и разваливаться на многочисленных диванах и креслах, и десерт продолжался наполовину уже не за столом.

Около Потоцкой увивалось много разных мужчин, и молодых, и старых; и трудно было уловить какую-нибудь определенную нить разговора. К тому же все собрание довольно громко шумело и галдело, и среди этого пестрого и полупьяного гама я мог расслышать только отдельные фразы и даже только слова.

— Кабинет Асквита иначе и не мог кончиться. Асквит — дурак. Уверяю вас, дурак!

— Нет, вы представьте себе: младенец сосет, извините за выражение, материнскую грудь. Вы думали, он и взаправду сосет и питается? Сосет-то он сосет, да только что-то, брат, странное. Набрасывается это он на грудь, как голодный и хищный зверь на добычу, глотает, как заправский алкоголик; щечки это начинают у него краснеть да надуваться. И наконец по окончании сего вожделения откидывается он в сторону со счастливым и удовлетворенным выражением лица, отваливаясь и разваливаясь, как старый кот. А мать — тоже не менее счастлива. У нее ведь так сладко трепетала матка во время кормления ребенка! И после этого говорят, что родители не совокупаются с детьми!

— Хе-хе-хе! А это мне нравится. Родители с детьми! Хе-хе-хе! Тут что-то есть. Да нет — правда. Тут что-то такое этакое, знаете ли, клубничка, так сказать, родительская-то! Хе-хе-хе!

— Господа! Вы — мистики. Ну ее, мистику. Вы удивитесь, а я вам скажу: самое главное в жизни,— это хорошие щи, борщ, здоровая жена и кругом это ребятишки разные... Знаете ли вы, что такое хороший борщ? Нет, вы не знаете, что такое хороший борщ со свежими овощами. Ежели овощи только с огорода, да в меру перчику, да в меру маслица, да сама хозяйка-то здесь, эдакая толстая да добрая, землица, можно сказать, тепленькая,— так тут, брат, что твоя мистика! Ребятишек эдак штук десять, да все эдакие толстенькие, пухленькие, крепенькие, как грибные стволы,— пищат да смеются, хохочут, куврыкаются. Это, брат, кишочки мои тут, пуповинушка! А благоухание-то какое от щей! Да и детишки-то сами молочком пахнут, мясом — само, можно сказать, вымя матернее. И не знаешь сам, они ли тебя сосут или ты их сосешь. Одно только — весело да вкусно! Смаку-то сколько! И жена-то эдакая смачная, сыр в масле, свежая клубника в сахаре, ананас, черт возьми, с хорошим шампанским. И кругом это тепло да уютно, да всего много-много. Ешь — сколько хочешь. А благовоние-то за обедом! Да разве сравниваются ваши духи? Духи — это мечта, идеализм, бесплотная абстракция. А хороший борщ да сытые ребятишки, да жена эдакая дородная да заковыристая, это, господа, святая действительность, трепет самой жизни, а не мечтательство. Бух это в постельку, да взасос, взасос, взасос. Ха-ррра-шшо! Ей-богу, ха-ррра-шшо!

— Эй вы, пьяные морды! Я вам сейчас все объясню. Вы думаете, я пьян? Да? Я пьян? А вот и ошиблись. Я не какой-нибудь сукин сын и не хам какой-

то... Я (тут говоривший сильно икнул, так что, несмотря на общий гам, многие услышали и обернулись), я, можно сказать, влюблен. Да, да! Влюблен! Извольте хихикать-с? Да, влюблен, и несчастно влюблен, безнадежно! Небось станете спрашивать — в кого? А вот и не скажу. И... не скажу! Черррт! Ну, хотите — расскажу...

— Куда, куда? — кричу я ему. А он: да все туда же, куда и все...

— Чудное было время (говорил голос совершенно трезвый, хотя я уже не различал, кто мог бы произносить эти слова). В Крыму — чудно под вечер. На южном-то берегу. Солнце сзади садится за горы, а запад — сначала усталобледноватый, потом — утонченно-сиреневый, потом — прозрачно-голубоватый. Отдаленные берега, скрывающиеся в прохладной мгле, покрыты нежной, как бы несуществующей розоватостью, и эти туманные горы сами превращены в нечто как бы несуществующее, в бесплотную телесность прохладной неги, в сиреневую мглу извилисто-трепетной и матовой музыки вечернего надморья. На душе — прозрачно, кристально, прохладно, скучно и — хорошо! Посмотришь вверх...

— Нет, нет, только не это! Полиция, духовенство, церковь, самодержавие — нет, ни за что! Ради чего же было Возрождение, зачем работали энциклопедисты, к чему была Великая французская революция? Только для того, чтобы опять насаждать это черное воронье, это отвратительное абсолютистское государство, эти мертвые старушечьи идеалы. Нет, старые иконы не спасут! Мертвые, облезшие картинки не спасут!

— Первая глупость — родиться. Зачем? Только потому, что у моих родителей чесались известные места, я вдруг должен родиться! Я не хочу жить, а вот живи — во что бы то ни стало живи. Вторая глупость — жениться и рождать детей. Ведь знаешь же прекрасно, откуда сам произошел и какова причина твоей жизни, и все-таки — нате, пожалуйста, женишься и еще плодишь потомство, руководимый все той же чесательной философией. Наконец, что уже действительно глупее и возмутительнее всего, — это умереть. Ну, родился — ладно, черт с тобой. Женился — пусть так, никуда не денешься. Но умирать-то зачем, скажите на милость! Что за гнусная и подлая идея!

— А я — так вот никак не могу понять, как это люди додумались до механизма и машины. Верите ли? Когда действует машина, я слышу чье-то глухое и сдавленное страдание. Какая-то внутренняя пустота и бездарность содержится в каждой машине и оказывается ее подлинной душой и сущностью... Механизм есть нивелировка духовной жизни, безразличие и косность глубочайшего тупоумия, бездарные потуги заменить гения и душу слабосильной и серой дребеденью. Машина — духовно бессильна и жизненно мертвенна. Трепетную жизнь души она хочет перевести на счета, записать на дебет и кредит, подвергнуть нигилизму статистики, цинично трактовать, как таблицу умножения. Паровоз (а это еще довольно грубая машина, далекая от современных сложнейших механизмов) есть воплощение цинизма, материализованное нахальство и хамство, духовная бездарность, восставшая на светлого гения и удушившая его. Самый последний извозчик бесконечно глубже, созерцательнее, философичнее и даровитее паровоза и его машинистов. Извозчик — это сама вдумчивость, сосредоточенность, углубленность. Это живая идея и жизнь, глаза, видящие душу вещей, а не просто глупо смотрящие и неопределенно скользящие по нудному, бессодержательному пространству тьмы. Машина — осуществление невроза механическими средствами, духовный обморок и потемнение в глазах, тошнотворное и нудное смятение, от которого хочется выбежать на мостовую, забиться головой об землю и закричать, закричать, завопить на весь мир.

— Хе-хе-хе! А Потоцкая-то живет с Баландиным...

Я обомлел. Слушая весь этот случайный вздор многочисленных подвыпивших гостей, я все время беспредметно скользил от одной фигуры к другой и безразлично слушал все, что долетало до моего слуха. Но когда кто-то заговорил о Потоцкой, я вдруг опять почувствовал себя кошкой и с жадностью впилился в говорившего.

Говоривший был пожилой мужчина в мундире какого-то большого министерского чиновника. Он немного выпил, но прекрасно владел собою и притворялся пьяным более, чем был на самом деле. Ехидные глазки глубоко сидели в его глазных впадинах, и сморщенная округлость вокруг рта говорила об его полной внутренней незаинтересованности в теме, которую он начал. Он, однако, явно был заинтересован произвести на кого-то впечатление своим открытием, хотя мне и не было видно, кого он, собственно, имеет в виду.

— Да-да-да-с! — продолжал он вкрадчиво-лукавым и подобострастным тоном. — Потоцкая живет-с с Баландиным — вот-вот, с этим самым Баландиным-с!

— Полноте, что за вздор, — послышалось несколько голосов в ответ. — Ведь это же немислимо ни в каком смысле! Ему по крайней мере лет 80. Да при том это кляклый, слюнявый старик, с огромным и безобразным кадыком!..

— У меня есть доказательства! — не унимался министерский чиновник. — Но ведь дело не в этом. Мало ли кто с кем живет. А я-то не за этим стал говорить о Потоцкой.

— Ну, ну, говорите, в чем дело, — зашептало вокруг несколько голосов.

— А дело в том, что сказал этот самый Баландин одному своему приятелю у нас в министерстве, такому же песочному уроду, как и он сам: посмотрите-ка на него сейчас. Он сейчас в другом углу залы, чем Потоцкая, и даже не подает никакого вида, беседуя со своими сослуживцами. Но что он сказал, что он сказал!

— Да говорите же наконец, в чем дело, — загалдели кругом, и кто-то в нетерпении даже дернул его за рукав.

— А вот в чем. Приятель его спрашивает: «Как же ты, дружище, живешь-то с нею? Ей ведь 30 лет, а тебе 80». А он в ответ: «Милый мой, у меня ведь есть еще язык». Вы представьте себе только: «У меня ведь есть еще язык!» Недурно сказано, а? Находчивый старичишка! Но она-то, она! Хе-хе-хе-хе!

И говоривший закатился мелким дребезжащим смешком, как будто бы кто-то лапал его по животу.

Кое-кто нахмурился, но большинство в группе, слушавшей чиновника, сделали вид, что все это очень весело, и все деланно захихикали, будто услышали бездарный, но претенциозный анекдот.

Я почувствовал боль у себя в затылке и дрожание чуть повыше живота и сразу увидел, что все это кончится чем-то очень скверным. Но пока я сдерживал себя, давно забывши и свой озноб, и свое босяцкое обличье, в котором я оказался после бега по дождю и грязи.

## 7

Я стал разыскивать глазами Потоцкую, чтобы посмотреть на нее после того, что услышал о ней.

Я был убежден, что ее лицо откроет мне теперь что-то очень важное и небывалое, по сравнению с чем услышанная мною только что «новость» окажется чем-то мелким и незначительным.

Однако Потоцкая находилась неизвестно где, и, вероятно, ее загоразживала от меня масса публики, ходившей и сидевшей по разным местам и углам огромного зала.

После долгих поисков я нашел ее наконец сидящей на небольшом диванчике малинового цвета с позолоченными ручками и краями спинки. Около нее сидел... кто же вы думали? Около нее сидел я — учтивым молодым человеком, изысканно одетым и причесанным, в том самом виде, в каком я пришел на роковой концерт.

— Клавдия Ивановна, — шептал я горячим, но скромным шепотом. — Вы прекрасны, вы юны, вы сильны и велики. Вы сами не знаете, какое очарование благоухает вокруг вас. Вы окутываете меня золотым облаком видений и грез. Вы — мое счастье и радость, тихая и трепетная радость...

— Ну и что же вы от меня хотите?

— Я хочу быть всегда около вас, дышать вашим воздухом, присутствовать в вашей комнате в артистической...

— Но позвольте, это невозможно. Быть в моей артистической вам, во всяком случае, невозможно.

— Простите, Клавдия Ивановна, я не так сказал. Но ведь вы же знаете, как прекрасна музыка. Вы — ласковая, нежная, мягкая, вы — родная и близкая, постоянная...

— Видите ли, милый мальчик, вы сейчас говорите не на тему. Что вам угодно от меня?

— Мне не может быть что-нибудь угодно. Я — смиренный паж, я ваш арапчонок, целующий ваши пальцы.

— Это немного скучновато, мой друг. Ну, вы — поэт, я это знаю. Ну и что же?

— Клавдия Ивановна, вы меня презираете!

— Наоборот, мой друг, я вас очень ценю.

— Клавдия Ивановна, вы меня презираете. Так знайте: люблю и сладко лелею ваше презрение. Вы меня презираете, а я этому радуюсь. Вы вот велики, а я мал и ничтожен, и в особенности в ваших глазах, и особую сладкую тоску от этого испытываю. Рад я каждому вашему гордому взгляду. Вы вот и сейчас недовольно повели своими глазами. А я восхищаюсь вашей неприступностью. Вы холодны ко мне, а я страстно упиваюсь этой холодностью, люблю это ваше презрение, жажду ваших пылких и язвительных фраз. Может быть, вам угодно еще и плюнуть на меня? Плюнуть этак в самую физиономию, в самые, так сказать, глаза. Ну, плюньте же, плюньте! Предвкушая, как томно защемит у меня на душе и какой огненной страстью разольется ваш плевок по всем жилам моего тела. Ощущаю изысканную негу души от вашего плевка, ажурным мучением занает дрожащая бездна души...

Тут я не выдержал и ворвался в залу со всем своим грязным и оборванным видом.

— Господа! — завопил я диким голосом. — Господа, внимание!

Весь зал оцепенел. Кое-кто, поднимавший в эту минуту вино ко рту, уронил вино, и несколько дорогих рюмок звякнуло об пол, разбившись вдребезги. Три-четыре бутылки скатилось откуда-то на пол, и одна из них тоже разбилась вдребезги, а еще одна покатила далеко в сторону и еще долго куда-то катилась, слабо нарушая вдруг наступившую могильную тишину.

Все разом повернулись ко мне, и несколько десятков пар стеклянных глаз в диком ужасе уткнулось в меня.

Водворилась та тишина катастрофы, которую нельзя забыть, если хоть раз переживешь ее в жизни.

Кое-кто стоял с открытым ртом, изображая наивный и смертельный ужас, какой бывает у провинившихся детей, когда их застигают на месте преступления.

— Господа,— начал я, предвидя что-то очень большое и скверное, долженствовавшее обязательно случиться.— Господа, вы пьяны и развратны, а я трезв и невинен. Но я... я не дорожу этой трезвостью и невинностью! Я отдам ее в жертву — чему? И сам не знаю — чему! Но я, трезвый, знаю тайну вашего пьянства и вашего разврата, а вы не знаете ее, как не знает ее и та из вас, которая наиболее гениальна и наиболее развратна. Только невинный знает тайну разврата. Эй ты, старикашка!

При этих словах я резко подошел к Баландину, крепко схватил его за руку и приволок на середину зала. Несчастный старикашка побледнел, споткнулся на ровном месте, как бы запутавшись в длинных полах своего платья (хотя на нем был обычный сюртук), и остался в идиотской, жалкой и смешной позе какого-то искривленного и замученного горба того карлика.

— Эй ты, старикашка! — продолжал я.— Слушай свой приговор, мерзкая тварь. Господа, кто он? Говорите, кто он такое?

В ответ наступило гробовое молчание, как оно было и до сих пор.

— Вы молчите? Так я вам скажу, что он такое. Это — гнусность и смрад бытия, откуда рождается и поддерживается все человеческое искусство. Согласны?

Зал продолжал находиться в оцепенении.

— Искусство — ваятельный трепет Вселенной. Искусство — чревная история вечно рождающейся жизни. Искусство — тектоническая боль бытия. Согласны? Ведь так?

Зал безмолвствовал.

— Так вот это самое искусство питается этой гнусной дрянью, этой затейливой мерзостью бытийных низин, этой самопожирющей гадиной мировых закоулков. И вы думаете, что такой жалкий карлик, полунасекомое, полуспрут, не должен быть убит? Вы думаете, что я не убью его и оставлю таким же вот точно, каким и сейчас стоит перед вами?

Зал находился как бы в гипнозе, и никто в ответ не проронил ни слова.

— Так вот знайте: я убью эту гадину! — закричал я во все горло, схвативши первый попавшийся нож с обеденного стола и занеся его над стариком.

Тут вдруг почему-то подскочила Потоцкая, от которой я никогда не ждал такой прыти, и быстрым, ловким движением руки вырвала нож и отбросила его в сторону.

Она мне показалась ничтожной.

Впрочем, она здесь уже не играла никакой театральной роли, а действовала исключительно под напором аффекта. Она сверкала глазами, высоко поднявши голову, и свысока, надменно, сквозь прищуренные ресницы бросала на меня острые, уничтожающие взгляды.

— Вон! — завопила она.— Вон отсюда, мальчишка, щенок, мазурик! Вон! Вон!

Я усмехнулся.

— Хе-хе! Вы — что? Оскорбленная невинность?

— Вон, вон, вон! — в иступлении кричала Потоцкая, переставая владеть собою и готовая броситься на меня с кулаками.

Я решил действовать без задержки. Я бросился на нее, крепко схватил ее за горло обеими руками и стал душить, в то время как публика, до этого момента обалдевшая и оцепеневшая, стала вдруг невероятно шуметь, галдеть, на кого-то бросаться, лаять настоящим собачьим лаем.

Водворилась невероятная суматоха. Кто-то бил кого-то кулаками, кто-то пронзительно визжал, и раздавались стуки чего-то грузно падающего и звонко бьющегося.

В завершение всего электричество как-то ужасно потускнело и покрылось почти непроницаемым облаком. Нельзя было ничего разобрать; по крайней мере я слышал только собачий лай, визг и вой. И все спуталось, как в сильном головокругении.

Вдруг все исчезло окончательно. И я увидел себя опять под дождем, среди редких деревьев Сокольнического парка, в чуть брезжущей мгле тоскливых, холодных сумерек. И увидел я себя стоящим коленями на мокрой земле и изо всех сил сжимающим горло лежащего передо мною навзничь Баландина.

Как это случилось? Ведь я же там, кажется, набросился на Потоцкую, а не на Баландина. Почему же сейчас я душу Баландина и почему я вдруг очутился опять под дождем, на ветру и на холоде?

Руки у меня озябли, и я не мог сдавить горло Баландину так, как надо было. Потому я не был уверен, жив ли Баландин, или уже умер. Но давить я все же продолжал, то переставая, то опять начиная, колеблясь относительно результата своего предприятия.

Наконец я поднялся с земли и стал на ноги.

Дождь, кажется, переставал, и стало сравнительно тише.

Внизу было совсем тихо, и только верхушки деревьев равномерно шумели, как бы авторитетно и степенно советуясь по поводу того, что происходило внизу.

Я почувствовал, что эти шумящие своими верхушками деревья были свидетелями моего преступления и что они запомнят его на всю вечность, и нельзя будет сделать так, чтобы стереть с лица земли этого проклятого старика и мое неожиданное дело с ним.

## 8

Однако я тут же убедился, что есть еще один свидетель моего преступления, но свидетель такой, что уж совсем трудно было это ожидать.

Только что я поднялся с земли и услышал шум верхушек деревьев, как вдруг увидел совсем около себя Потоцкую, стоявшую передо мною на коленях и лоящую мои руки, чтобы их целовать.

— Милый мой, желанный мой! Милый мой мальчик! Прежде чем ты убьешь меня, возьми меня как женщину, обладай мною, сжался надо мою, над моим телом. Я хочу тебя, хочу твоих жарких объятий, хочу принять от тебя мужское, хочу отдаться тебе. Милый мой мальчик! Целую твои руки и ноги, не отвергни меня, возьми мое тело, отдаюсь тебе послушно, верно, отдаюсь вся-вся, как жена, как раба, как невольница.

Потоцкая ползала на коленях по грязи и по лужам и испуганно целовала мои ноги и руки, боясь, что я отвернусь от нее и оставлю одну.

— Повелитель мой, господин мой, возьми мое тело. А потом ты убьешь меня, как убил этого старика. Но я должна отдаться тебе, я должна принять в себя твоё мужское. Перед смертью я причащусь твоего тела. А потом убивай и души меня, как хочешь.

Несколько мгновений я колебался. Слишком разителен был контраст холодной, неприступной светской львицы и этой смиренной, умильной, податливой и нежной женщины, слезно просившей удовлетворить ее желание отдаться мне. Странное дело: стоило мне задушить ее уродливого героя, как она вдруг стала такой нежной и податливой, просящей о снисхождении к ней, стала как бы какой-то несчастной, бессильной нищей, умоляющей о ничтожной милостыне на пропитание.

— Милый мой мальчик! Ты хотел отнять у меня музыку. Ты сам не понимаешь, что твоя любовь должна была отнять у меня музыку. Ты — чистый, светлый, простой-простой, ты мой ребеночек маленький, наивная ты моя деточка! Я чувствовала, как, общаясь с твоей невинностью, я теряла свои музы-



кальные способности, как твоя ласковая и родная душа, согревая меня, вытравляла во мне самые последние корни музыкальных инстинктов, как я теряла всякий интерес к музыке, как я становилась безразличной к эстраде, к театру, к своим партитурам. Я видела, как бледнеют мои музыкальные партии, как я начинаю фальшивить в трудных пассажах, как терялся тонкий слух и неинтересными становились и техника, и душа музыки. Я чувствовала, что ты и любовь к тебе несовместимы с музыкой, что нужно здесь выбирать, мучительно и болезненно выбирать. И я выбрала музыку, пойми это, мой умный, мой тонкий, мой глубокий и мудрый! Я была холодна к тебе, и я научила себя презирать тебя. Я издевалась над тобой и мучила тебя. Да, мне было нужно другое, и ты его не мог мне давать!

Несколько мгновений я колебался, но в тот момент сразу по всем жилам разлился какой-то кипяток ярости и, может быть, даже мести. Но к кому ярость и за что месть — в этом некогда было тогда отдавать отчет. Да и теперь, после многих лет, вспоминая все происшедшее, никак не могу понять, откуда вдруг появилась у меня в тот же час такая звериная ярость.

Я уже едва сдерживал себя, а Потоцкая все продолжала меня молить и умолять, болезненно и нетерпеливо перемежая слова со слезами:

— Милый мой мальчик. Ты сказал, что ты понимаешь разврат. Но ты наивный и дитя еще. Если б ты понимал разврат, ты не удушил бы этого старика. Тебе этого не понять, как не понять и многого другого. Если б ты понимал себя, ты перестал бы любить музыку, окружающий мир побледнел бы в твоих очах. Но ты, ты — наивный ребенок. И никто как я — даст тебе мудрость жизни.

«Ну уж это слишком!» — подумал я и с жестокой ненавистью набросился на Потоцкую, начавши срывать с нее останки ее богатого муарового платья.

Обнаживши ее холеное тело, я с ураганной яростью набросился на нее и стал по-звериному владеть ею.

Она послушно и безропотно отдавалась мне, распростершись на грязной и мокрой траве, во мне же кипел и клокотал переполненный вулкан злобы, гнева, ненависти, мести и — отчаяния.

Старик Баландин лежал тут же, растопыривши руки и высунув длинный язык, как бы незаметно записывая в вечность то, что тут происходило.

В вышине совершалось то, что было неизбежно. И тайна смерти раздирала высокую, безбрежную мглу осеннего ночного неба. Загубленное и невозвратное, опозоренное и разбитое выростало в этом небе, и само небо казалось воплощением мирового цинизма и вырождения.

Помню теперь, как в наивысший момент, ради которого мужчины и женщины спят вместе, я вдруг зарыдал; и, еще лежа в объятиях Потоцкой и еще не оторвавшись от нее, я долго и судорожно рыдал, так что уже нельзя было отличить сексуальной судороги последней точки соития и обильной слезами судороги рыдания.

— Клавдия, — сказал я наконец, едва-едва поднявшись с земли и чувствуя во всем теле болезненную слабость, — Клавдия!

Она лежала неподвижно на земле и ничего не отвечала, так что мне пришлось опять стать коленями на землю, чтобы рассмотреть выражение ее лица.

Лицо ее сияло тихим счастьем и как бы излучало нездешнюю, просветленную радость. Чувствовалось, что этот человек благополучно свершил свой жизненный путь и готов умереть в сознании исполненного долга.

— Клавдия, — зашептал я, пригнувшись к самому уху. — Клавдия, хочешь ли, я задушу и тебя?

— Да, мой милый мальчик! Да, да! Хочу умереть. Убей меня, убей меня, мой сыночек, моя вечная радость. Задуши тут же, вместе с ним, с этим...

Я поцеловал ее в лоб и стал двумя пальцами давить глотку Потоцкой. Про-

давить кадык было нетрудно. Потоцкая слабо и изнеможенно захрипела, стала одной рукой судорожно водить по земле.

Через несколько секунд и это движение кончилось. И два полураздетых трупа, с высунувшимися длиннейшими языками и с выпученными глазами, залегли в непроглядной тьме, в грязи и лужах, как тайная жертва неведомому богу.

## 9

Тело мое ныло от усталости и изнеможения, и я едва стоял на ногах.

Шатаясь и ковыляя ногами, я побрел неизвестно куда и брел, вероятно, довольно долго.

Начинало постепенно сереть, и скоро должен был народиться скучный, бессолнечный, свинцовый день.

Я набрел на извозчика, сказал ему свой адрес и велел скорее погонять.

Дома я снял с себя мокрые тряпки, надел чистое и сухое белье и в полном изнеможении свалился в постель, запретивши себя будить, покамест не встану сам.

На душе было пусто и светло, как при электрическом свете. Спокойно, пусто, бездонно и светло-светло.

Мне вспомнился один полупьяный голос, который я слышал на том роковом вечере, где собрались устроители концерта вместе с исполнителями, и с ним еще другой, такой же нетрезвый выкрик:

— Ха-ха! А тело женщины ведь свежими яблоками пахнет.

— Что вы, что вы, сударь мой. Ни в коем случае не яблоками. Вы ничего не понимаете. Сказать, чем оно, родимое, пахнет? Свежеиспеченным пшеничным хлебом-с! Вот чем оно, родимое, пахнет!

Эти два голоса едва мелькнули у меня в памяти и моментально погасли.

И я заснул крепчайшим, богатырским сном.

З/ХІ — 32.

*Публикация А. А. ТАХО-ГОДИ*



Юрий БУРТИН

---

## Россия и конвергенция

ИДЕИ САХАРОВА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

### *Статья первая*

**П**редлагаемая статья<sup>1</sup> представляет собой попытку взглянуть на мировую историю с точки зрения теории конвергенции (то есть взаимовлияния и взаимодействия) социализма и капитализма. Теория эта, активным сторонником которой с 60-х годов и до конца своих дней оставался Андрей Дмитриевич Сахаров, выглядит нынче решительно устаревшей — и вроде бы по вполне веским причинам. Дело, однако, в том, что такое впечатление базируется хотя и на расхожем, но слишком узком понимании идеи конвергенции. Последнее действительно устарело, но кто же заставляет за него держаться!

Важна ли суть спора? Я сказал бы даже так: от того, насколько глубоко мы, современное русское общество, проникнемся идеей конвергенции и насколько полно сумеем ее реализовать, в решающей мере зависит будущее России.

### 1

История мысли знает немало примеров тому, как теория, в основе своей верная и перспективная, возникает, однако же, из наблюдений над каким-то ограниченным кругом фактов и слишком тесно связывает себя с ним. Когда этот ограниченный фундамент по каким-то причинам разрушается, теория разделяет его судьбу — и совершенно напрасно: при более широком взгляде на вещи она могла бы еще служить людям. На глазах моего поколения нечто подобное произошло и с теорией конвергенции.

«Одна из основных концепций современной буржуазной социологии, политэкономии и политологии, усматривающая в общественном развитии современной эпохи преобладающую тенденцию к сближению двух социальных систем — капитализма и социализма с их последующим синтезом в некоем «смешанном обществе», сочетающем в себе положительные черты и свойства каждой из них» (Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 271), теория конвергенции возникла лет сорок назад, во второй половине 50-х — начале 60-х годов, в головах ряда западных ученых. Слово одному из них, известному американскому экономисту и социологу Джону Гэлбрейту. Свой тезис о «важном значении тенденции к конвергенции индустриальных обществ, как бы ни были различны их национальные или идеологические притязания», он обосновывал следующими соображениями:

«Конвергенция связана прежде всего с крупными масштабами современного производства, с большими вложениями капитала, совершенной техникой и со сложной организацией как важнейшим следствием названных факторов. Все это требует контроля над ценами и, насколько возможно, контроля над тем, что покупается по этим ценам. Другими словами, рынок должен быть заменен (здесь в смысле «ограничен». — Ю. Б.) планированием. В экономических системах советского типа контроль над ценами является функцией государства. В США это управление потреби-

---

<sup>1</sup> Продолжение цикла историко-теоретических очерков, начатого статьей «Выход из кризиса: инвентаризация иллюзий» («Октябрь», 1997, № 8).

тельским спросом осуществляется менее формальным образом корпорациями, их рекламными отделами, агентами по сбыту, оптовыми и розничными торговцами. Но разница, очевидно, заключается скорее в применяемых методах, чем в преследуемых целях...

Индустриальной системе внутренне не присуща способность... обеспечить покупательную силу, достаточную для поглощения всего, что она производит. Поэтому она полагается в этой области на государство... В экономических системах советского типа также ведутся тщательные подсчеты соотношения между объемом получаемых доходов и стоимостью товарной массы, предоставляемой покупателям...

И наконец индустриальной системе приходится полагаться на государство в деле обеспечения обученными и образованными кадрами, которые стали в наше время решающим фактором производства. То же имеет место и в социалистических индустриальных странах». (Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество, М., 1969, сс. 453—454.)

Эти высказывания можно считать для того времени достаточно типичными. Говоря об условиях возникновения теории конвергенции, ее сторонники указывали на наличие по обе стороны «железного занавеса» и ряда других общих черт, свойственных современной эпохе. К ним относили единое направление научно-технического прогресса, сходство в формах организации труда и производства (например, автоматизацию), общие для развитых стран демографические процессы, многочисленные параллели по линии урбанизации, бюрократизации, «массовой культуры» и пр. Отмечались и прямые взаимовлияния, например, усвоение западными правительствами и крупными фирмами определенных элементов советского опыта планирования.

Все это, однако, были лишь предпосылки и поводы к тому, чтобы натолкнуть общественную мысль на идею конвергенции. Подлинной же и фундаментальной причиной стало центральное для второй половины XX века историческое обстоятельство — сам факт разделения мира на две системы, их взаимного противостояния и вместе с тем, как представлялось, достаточно стабильного положения той и другой.

Исходным в этом смысле можно считать появление мировой социалистической системы — в прямой связи с геополитическими результатами второй мировой войны. До войны и даже до ее окончания социалистической системы не было; был СССР и недружественное ему «капиталистическое окружение», но как ситуация двух систем это не воспринималось. Совсем другое дело, когда на карте мира оказалось полтора десятка социалистических стран, тесно связанных между собою, с населением свыше трети всех живущих на Земле. Это была уже именно мировая социально-экономическая система, появление которой, в свою очередь, повлекло за собой структурирование и остальной части мира — взаимное сближение ранее разобщенных капиталистических стран и, таким образом, разделение человечества на три достаточно четко обособленных части: мировая социалистическая система, мировая капиталистическая система плюс «третий мир» (с военно-политическими эквивалентами в виде двух известных блоков и «движения неприсоединения»).

Важным условием возникновения теории конвергенции было то обстоятельство, что обе противоборствующие системы находились в тот момент на подъеме.

Для капиталистического мира наступила тогда как бы вторая эпоха Возрождения. Позади остались и разрушительные кризисы перепроизводства, периодически сотрясавшие этот строй с роковой неизбежностью приступов эпилепсии, и тот общий кризис мировой цивилизации, который вызван был человеконенавистнической, ультраагрессивной политикой гитлеризма. Нюрнбергский процесс поставил точку не только в короткой истории Третьего рейха, но в известном смысле и во всей прежней многовековой истории человечества. План Маршалла, германское и японское «экономическое чудо», Общий рынок как первый шаг к созданию объединенной Европы, возникновение ООН, принятие Декларации прав человека, добровольный отказ стран-метрополий от колониальной системы — все это были грани единого процесса перехода капиталистического общества в качественно новую стадию. Перехода от того, что Ленин назвал «эпохой империализма», к тому, что вскоре станут именовать (в зависимости от оценок) «постиндустриальным» «богатым обществом» или «обществом потребления».

Соответственно изменилась общая тональность писаний западных философов, социологов, историков, она становится намного более оптимистической. Шпенглер со своим «Закатом Европы» воспринимается уже как анахронизм. Тойнби же, считавший себя его последователем, в своей переписке с Н. И. Конрадом («Новый мир», 1967, № 7) твердо называет себя оптимистом. Не менее показательна эволю-

ция такого оригинального мыслителя, как Питирим Сорокин. Вот как в конце 30-х годов видел он мировой ландшафт: «Мы оказались в эпицентре громадного пожара, сжигающего все до основания... Красная человеческая кровь широкою, бескрайним потоком течет по земле. Нищета, растущая день ото дня, простирает свою зловещую тень, охватывая все новые территории... Солнце западной культуры закатилось. Громадный вихрь накрыл собою все человечество» (Питирим Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, с. 428). И тот же автор, которого за мрачность его оценок и прогнозов называли Кассандрой, двадцать лет спустя становится одним из основоположников теории конвергенции, оптимистичной, так сказать, по определению.

Этот оптимизм западной мысли 50—60-х годов, разумеется, отнюдь не безоблачен. Он сочетается с умением видеть противоречивость общественного прогресса, традиционные и новоявленные пороки современной цивилизации — отчуждение личности, стандартизацию жизни, отравы «массовой культуры», зияющий разрыв в уровне жизни населения развитых и «развивающихся» стран, демографический взрыв, экологическую катастрофу и многое другое. Однако он базируется на убеждении, что, порождая новые проблемы, научно-технический и социальный прогресс создает одновременно эффективные способы их разрешения.

Свои источники оптимизма существовали тогда и у нас. В их числе были недавняя победа в величайшей из войн, превратившая СССР в могущественную сверхдержаву, с которой в этом отношении могла соперничать только Америка; выход из изоляции, создание мировой социалистической системы и главенство в ней; сравнительно высокие темпы экономического роста; осуществление масштабных проектов в области сельского хозяйства (освоение целины), энергетики (строительство гигантских ГЭС на Волге и великих сибирских реках, разработка новых нефтеносных районов), химической промышленности, машиностроения и пр.; первенство в космосе; гигантский ракетно-ядерный потенциал.

Правда, к началу 50-х годов советская система в ее ультратоталитарном, крепостническом, казарменно-лагерном варианте оказалась в состоянии кризиса, вызвав ощутимое понижение общественного настроения. Однако во второй половине десятилетия «курс XX съезда» на отказ от наиболее жестоких проявлений сталинщины, ряд реформ, предпринятых Хрущевым, заметно освежили общественную атмосферу, вернули людям, пусть в ослабленном виде, утраченное было чувство движения жизни.

Пиком тогдашних оптимистических самооценок и ожиданий (после чего они, впрочем, быстро пошли на убыль) стала новая программа КПСС, принятая в 1961 году на XXII съезде партии. Выступая на этом съезде, Хрущев так характеризовал ситуацию: «Мы переживаем период, когда имеются две мировые системы, когда мировая система социализма быстро развивается и уже недалеко то время, когда она превзойдет мировую капиталистическую систему и в сфере производства материальных благ. Что касается науки и культуры, то по ряду отраслей страны мировой социалистической системы уже значительно превзошли страны капитализма. В настоящее время мировая социалистическая система могущественнее стран империализма и в военном отношении». И дальше: «Никогда еще наши силы, силы мирового социализма не были столь могущественны, как сейчас. Новая Программа открывает перед партией и народом самые светлые, захватывающие перспективы. Солнце коммунизма восходит над нашей страной» (XXII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. II, М., 1962, сс. 575, 596).

На фоне недавнего тогда провала 6-й пятилетки, которую по этой причине пришлось на ходу заменять семилеткой, на фоне крайне низкой производительности труда в промышленности и хронического кризиса в сельском хозяйстве такая оценка ситуации в стране была, конечно, «лакированной» и односторонней. Однако ее разрыв с реальностью еще не был столь зияющим, каким он станет 10—15 лет спустя. Показательно, что и в антиофициальной по своему духу и смыслу брошюре А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968), первом публичном изложении ученым своей позиции по ключевым глобальным и внутрисполитическим вопросам, высказано мнение, что «и в вопросе обеспечения высшей производительности общественного труда, и в развитии производительных сил, и в вопросе обеспечения высокого уровня жизни большей части населения капитализм и социализм «сыграли вничью»» (А. Д. Сахаров. Тревога и надежда. Второе издание, М., 1991, с. 37). Позднее — и довольно скоро — автор пересмотрит свою оценку достижений «реального социализма» как неоправданно завишенную, однако существовало, что еще в конце 60-х годов исход соревнования социализма и капитализма не был для него очевиден.

Период одновременных успехов обеих систем настраивал на длительность их параллельного развития, вызывая ощущение стабильности ситуации. Едва ли не единственным препятствием этому и более того — страшной угрозой самому существованию человеческого рода была реальная возможность термоядерной войны, вытекавшая из трагической разделенности мира. Ответом на нее явились две идеи, частично совпадавшие по своему смыслу. С официально-советской стороны это был лозунг мирного сосуществования двух систем с различным социальным строем. С противоположной стороны — идея конвергенции. Разница между ними состояла в том, что первый исключал какое-либо взаимосближение капитализма и социализма, ибо исходил из неизбежности полной конечной победы коммунистического строя над капиталистическим. Вторая была более толерантна. «Мы видим... — заключал Дж. Гэлбрейт, — что конвергенция двух как будто различных индустриальных систем происходит во всех важнейших областях. Это чрезвычайно отрадное обстоятельство. Со временем (и, пожалуй, скорее, чем можно себе представить) оно опровергнет представление о неминуемом столкновении, обусловленном непримиримым различием. (...) Понимание того факта, что в ходе своего развития обе индустриальные системы сближаются, будет содействовать, надо полагать, установлению согласия относительно общей опасности, таящейся в гонке вооружений, и необходимости покончить с ней или же начать соперничать в более благоприятных областях» (Новое индустриальное общество, с. 454).

Еще решительнее высказывался П. Сорокин: «...Я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых войн... то господствующим типом возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не коммунистический, а тип специфический, который мы можем обозначить как интегральный... Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов каждого типа» (П. Сорокин, с. 16).

В нашей стране идея конвергенции ведет свою родословную от упомянутой знаменитой брошюры Сахарова.

Человек исключительной научной честности, склонный скорее преуменьшать, нежели преувеличивать свой вклад в науку (зато с неизменным увлечением писавший о достижениях коллег), Андрей Дмитриевич неоднократно отмечал, что является не автором, а лишь последователем теории конвергенции. «Из литературы, из общения с Игорем Евгеньевичем Таммом (отчасти с некоторыми другими) я узнал об идеях открытого общества, конвергенции и мирового правительства (И. Е. относился к последним двум идеям скептически). Эти идеи возникли как ответ на проблемы нашей эпохи и получили распространение среди западной интеллигенции, в особенности после второй мировой войны. Они нашли своих защитников среди таких людей, как Эйнштейн, Бор, Рассел, Сцилард. Эти идеи оказали на меня глубокое влияние, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса современности» (Андрей Сахаров. Воспоминания, т. 1, М., 1996, с. 388). Однако автор «Размышлений о прогрессе...» не просто воспринял названные идеи и стал их сторонником. Он обогатил теорию конвергенции рядом важных соображений, благодаря чему из набора добрых пожеланий она превратилась действительно в теорию, приобрела цельность и стройность, а главное — те качества, которые в дальнейшем позволят ей устоять и в обстоятельствах, вроде бы начисто исключавших такую возможность.

## 2

Теория конвергенции — центральный пункт всей системы социально-философских воззрений Сахарова, общую логику которой можно прочертить так.

Первое, что характеризует сахаровские «Размышления», — это их мировой, общечеловеческий масштаб. Автор выступает в своем сочинении как представитель не какой-либо локальной общности людей — партии, сословия, класса, нации, религиозной конфессии, страны, расы, — а человечества в целом. Именно категорией человечества он постоянно мыслит, именно глобальные проблемы в центре его внимания, с глобальными же факторами он связывает и все свои надежды на их разрешение.

«Основная мысль статьи — человечество подошло к критическому моменту своей истории, когда над ним нависли опасности термоядерного уничтожения, экологического самоотравления и неуправляемого демографического взрыва, дегуманизации и догматической мифологизации» (Воспоминания, т. 1, с. 390—391). Во главу угла своей философии и аксиологии Сахаров ставит сохранение человеческого

рода — ценность, всегда бывшую основополагающей для гуманистического сознания, но только в XX веке ставшую актуальной и драматической проблемой.

Здесь уместно отметить внутреннюю связь взглядов ученого со знаменитой поэтической формулой Твардовского, которая сконцентрировала в себе философию войны, явившейся первым в истории общим делом всего человечества:

Бой идет святой и правый,  
Смертный бой — не ради славы,  
Ради жизни на земле.

«Ради жизни на земле» люди не воевали еще никогда. Знаменательно, что именно поэт народа, принявшего на себя главный удар гитлеровского нашествия, нашел столь простые и емкие слова, чтобы выразить эту всемирно-историческую новизну происходящего. Как бы приняв заочную эстафету, Сахаров распространил мысль поэта с особых обстоятельств войны с нацизмом на новую историческую эпоху.

Исходный принцип влечет за собой цепь логических следствий. Хорошо, приемлемо только то, что служит выживанию человечества, плохо, неприемлемо все, что этому противоречит. Главным и роковым фактором, многократно усугубляющим все угрозы существованию человеческого рода, является разобщенность людей. «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью» (Тревога и надежда, с. 13) — это одна из центральных идей Сахарова. Значит, «любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций — безумие, преступление» (там же). И наоборот: все, что способствует преодолению разобщенности, все, что объединяет классы, нации, религии, государства, относится к числу положительных ценностей, заслуживает поддержки.

Следовательно, не меч, но мир. В своей прежней истории человечество только и делало, что воевало, однако теперь, когда любой вооруженный конфликт может поджечь всю планету, война — недопустимый анахронизм и должна быть категорически исключена из человеческого обихода. Следовательно, в мире должна сложиться новая система международных отношений. «Эмпирико-конъюнктурный» подход, состоящий в стремлении к «максимальному улучшению своих позиций всюду, где это возможно» и к созданию «максимальных трудностей противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов», должен уступить место политике сотрудничества и «активного предупреждения обострения международной обстановки» (там же, сс. 17, 18).

Это был полный разрыв с тем умонастроением, которое сам Сахаров назовет позднее «психологией войны» (Воспоминания, т. 1, с. 142) и которое, оставаясь до поры господствующим как на Востоке, так и на Западе, в свое время владело и им самим. И это то, что двадцать лет спустя назовут «новым политическим мышлением» и припишут исключительно Горбачеву.

Однако пойдем дальше. Сахаров хорошо понимает, что самоубийственное для человечества противоборство двух систем не есть нечто случайное, объясняемое, скажем, недомыслием государственных мужей, и дело не сводится к тому, чтобы обратиться к ним проповедь мира и единения прозвучала возможно более убедительно. Он указывает на прямую зависимость характера международных отношений от политических режимов разных стран, от степени их открытости, от соблюдения или несоблюдения ими основных человеческих прав, от уровня интеллектуальной свободы — словом, от наличия или отсутствия в них демократии.

Если в какой-нибудь стране установился диктаторский режим, он неизбежно нуждается в изоляционизме, ксенофобии, образе врага. Значит, его внешняя политика не может не окрашиваться в шовинистические и милитаристские тона и не может не представлять опасность для соседей. Значит, политический строй той или иной страны (великой державы — тем более) в современных условиях уже не может считаться ее исключительно внутренним делом. Неся угрозу всеобщему миру, существование диктаторских режимов относится к числу самых острых глобальных проблем. И, наоборот, отвести человечество от пропасти, в которую оно уже заглянуло, способна только демократия, и все ее ипостаси участвуют в этом.

Читая работы Сахарова, живо ощущаешь многогранную логику этой зависимости.

Как политическая система, предусматривающая ответственность государства перед обществом, широкие возможности общественного контроля за принятием решений, демократия уже по этой причине во многом страхует население страны и мир в целом от опасных действий властей.

Как открытость обществ и государств, свобода перемещения товаров и денег, людей и идей, как система принципиального плюрализма, демократия не дает ника-

ким идеям обрести опасную монополию, а реакционным силам манипулировать общественным сознанием, внедряя в него «психологию войны», заражая «массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру» (Тревога и надежда, с. 13).

Как всевластие закона, как такая система нравственных принципов и юридических норм, в основу которой положены права человека, демократия обуздывает безответственных авантюристов, милитаристов, фашистов, заграждает им путь к власти.

Наконец, в качестве свободы научного поиска и дискуссии, ничем не стесненного обсуждения любых проблем демократия решает их не по сумасшедшему капризу какого-нибудь верховного самодура и не исходя из своекорыстных интересов той или иной олигархии, но на основе естественных потребностей, жизненного опыта и здравого смысла огромных человеческих масс. А они — не самоубийцы.

Вероятно, ни у кого из предшественников Сахарова мы не найдем такого драматически острого поворота темы: **демократия как непреложное и решающее условие выживания человеческого рода!**

Здесь мы уже вплотную приблизились к центральному и вместе с тем итоговому пункту сахаровских «Размышлений». К нему ведет вопрос: как же воспользоваться преимуществами демократии, когда мир расколот именно по этому признаку, когда в одной его части демократия, пусть далеко не безупречная, есть, а в другой ее просто не существует?

Если бы ученый обошел этот вопрос или не нашел ему принципиального решения, его концепция имела бы намного меньшую ценность. Однако он и здесь поставил все точки над *i*. Сахаровская философия получила необходимое продолжение и завершение в его социально-политической доктрине, суть которой как раз и заключена в идее конвергенции капитализма и социализма. А суть самой конвергенции, во всяком случае, применительно к нашей стране — в радикальной демократизации социалистического строя.

Конкретное содержание этой программы мы рассмотрим в своем месте. А пока вернемся к тому противоречию, с констатации которого начали эту статью.

## 3

Прошло всего каких-то тридцать лет после того, как Сахаров опубликовал свои «Размышления», этот манифест философии единого человечества, с идеей конвергенции в качестве ее центрального пункта, как весь мировой ландшафт коренным образом переменялся. Ситуация «двух систем» испарилась вдруг еще более стремительно, чем возникла. В середине 80-х годов брежневская модель социализма после длительного застоя (на протяжении которого никаких признаков конвергенции она не обнаруживала) оказалась в состоянии острого кризиса. Результатом стала ее «перестройка», каскад демократических революций в Центральной и Восточной Европе, падение Берлинской стены, крушение мировой социалистической системы, наконец, распад и самого СССР. Это не значит, что в итоге человечество стало однородным (достаточно сравнить Японию и Китай или наш «номенклатурный капитализм» хотя бы с турецким, чтобы увидеть не просто разницу, а едва ли не противоположность), однако от прежней биполярности мира не осталось камня на камне. Но если из двух мировых систем одна распалась и находится на грани исчезновения, то что в таком случае остается от идеи их взаимосближения? Не значит ли это, что ценность теории конвергенции равна нынче ценности прошлогоднего снега?

Утвердительный ответ представляется очевидным, само собой разумеющимся. Однако вот загвоздка. Как примирить с ним цельность и убедительность сахаровской концепции, ее строгую, прямо-таки математическую логику, равно как и ее ощутимую связь с современностью, более того — обращенность к глобальным проблемам XXI века?

Сам Андрей Дмитриевич не успел помочь нам разгадать эту загадку: год крушения соцсистемы стал последним годом его жизни. Нынешняя же политическая мысль то ли спасовала перед трудностью задачи, то ли не сочла ее интересной для себя. Напрасно! Ведь именно такие сшибки идеи с реальностью, когда за каждым из сталкивающихся начал есть своя сила и правота, — если как следует вдуматься в суть их спора, — часто открывают перед нами новые горизонты познания, одаривают особыми ценными теоретическими находками.

Нечто подобное, на мой взгляд, имеет место и в данном случае. Кризис теории конвергенции неравнозначен ее исчерпанности. Это кризис роста, точка перехода в



новую стадию развития. Перехода, который предполагает прежде всего уточнение предмета разговора.

В самом деле, а почему, спрашивается, конвергенция социализма и капитализма должна трактоваться исключительно как процесс взаимосближения двух разных социальных систем? Разве капитализм и социализм существуют только в этом качестве? Разве история их взаимоотношений началась только в 1917 году, а тем более после второй мировой войны? Почему бы не вспомнить о том, что до своего появления на свет в форме общественного **стро**я социализм не менее четырех столетий просуществовал в виде **идеи** социализма, мечты о социализме, а с середины XIX века — и теории, претендовавшей на научную строгость?

Я беру за точку отсчета 1516 год, год опубликования «Утопии» Томаса Мора, где эта идея впервые получила стройное, систематизированное изложение. Четыреста лет, почти столько же, сколько прожил пока на свете и сам европейский капитализм, социализм существовал внутри капиталистического общества как один из элементов свойственного ему идейного плюрализма, как особая, все более усиливающаяся общественно-политическая тенденция. На известной стадии своего развития она обрела организационные формы (кружки сенсимонистов и фурьеристов, бакунинский «Международный альянс социалистической демократии», Интернационал Маркса и Энгельса), а потом и партийно-политическое выражение. Особенно больших успехов еще в XIX веке достигла социал-демократическая партия Германии. Возникнув в 1869 году, она на каждых последующих выборах в рейхстаг получала все большее, а уже в 1890 году — наибольшее число голосов по сравнению с любой из остальных партий.

В XX веке социалистические партии появились во всех развитых странах, в некоторых из них, например, в Испании, Швеции, они подолгу бывали правящими. Развал социалистической системы отнюдь не повлек за собой угасания социалистической тенденции в капитализме: итоги парламентских выборов 1997 года в Великобритании и во Франции свидетельствуют о противоположном. Таким образом, социализм как идея и тенденция не только намного старше социалистического строя, но и обнаружил способность пережить его на никому сегодня не известный срок.

Факт многовекового, широко распространенного и чрезвычайно устойчивого «присутствия» социализма в капитализме наводит на мысль о том, что социалистическая идея имманентно присуща капиталистическому обществу и составляет его необходимую грань; более того, она отвечает некоторым неустраиваемым потребностям, свойственным природе человека, а потому — определенному кругу общечеловеческих ценностей. В их числе — чувства справедливости и сострадания, сознание индивидом своего равенства со всеми другими людьми, гражданственность, коллективизм. Еще более важна с точки зрения нашей темы та глубокая эволюция, которую с течением времени претерпели взаимоотношения социалистической тенденции в капитализме со стержневой для него либерально-консервативной тенденцией, то есть, так сказать, с капитализмом как таковым.

Если в XIX веке «социализма великая ересь» была синонимом самого крайнего революционного радикализма, бескомпромиссного отвержения и уничтожения существующего строя («Весь мир насилия мы разрушим до основания...»), то уже с конца того же века в программах и деятельности социалистических (а потом и коммунистических) партий неуклонно нарастает то, что Ленин называл «оппортунизмом», — тяга к компромиссу и партнерскому сотрудничеству с другими социально-политическими силами, прогрессирующее ослабление приверженности классовому подходу, демократическая толерантность. С этим превращением социалистов из революционеров в эволюционистов и реформистов, респектабельных участников «буржуазного» политического процесса, несомненно, были связаны известные потери, в том числе нравственные: утрата боевитости и страсти, самоуспокоенность, конформизм. Героическая эпоха мирового социализма кончалась, уступая место будничной и деловой. И все же позитивный момент явно перевешивал: освобождаясь от сектантства, от классовой узости и нетерпимости, социалистическая идея пропитывалась духом ответственности за судьбу нации в целом, за всю противоречивую целостность общественного прогресса.

И тут у нее возникало все больше точек соприкосновения с либерально-консервативной идеей. Если раньше та и другая взаимоотношались, как масло и вода, более того, открыто и резко враждовали между собою, то теперь они делают навстречу друг другу один шаг за другим. Социал-демократизм все охотнее вбирает в себя либеральные ценности свободного предпринимательства и конкуренции, независимой личности, прав человека. Пережив глубокую трансформацию, социалисти-

ческая идея в развитых капиталистических странах уже несколько десятков лет существует преимущественно в виде социализма рыночного и демократического. В свою очередь, либерал-консерватизм все терпимее относится к таким вещам, как социальная справедливость, права трудящихся, профсоюзная солидарность, государственное регулирование экономики, общественный контроль, более того — в возрастающей мере интегрирует их в свои программные установки. То есть социал-демократизм последовательно либерализуется, либерализм же (а тем самым и капитализм вообще) социал-демократизируется.

Разумеется, тенденция к сближению обоих начал не означает — по крайней мере на данном историческом этапе и в обозримом будущем — ни поглощения одного из них другим, ни полного их слияния: именно в относительной разделенности своей и относительном же противостоянии друг другу они наилучшим образом выражают многообразные общественные потребности, образуют то единство противоположностей, которое, по Гегелю, является источником всякого развития. И все же неоспоримым фактом стало не просто сосуществование, но ярко выраженная **конвергенция** капитализма и социализма внутри самого капиталистического общества.

Так мы приходим к выводу, что по своему объективному содержанию **явление** конвергенции намного шире своего первоначального **теоретического отражения**. Наряду с **межсистемной** конвергенцией социализма и капитализма, которую до сих пор только и имела в виду интересующая нас теория (что как раз и завело ее в тупик), существует конвергенция **внутрисистемная**. Притом, хотя обе они, разумеется, взаимосвязаны и продолжают одна другую, внутрисистемная явно главенствует в их союзе, как ствол дерева главенствует над любой из его ветвей. Во-первых, она гораздо старше и, как уже выяснилось, долговечнее межсистемной, которая представляет собой ее внешний аспект, возникающий и исчезающий в определенных исторических обстоятельствах. Во-вторых, даже если согласиться с сильно преувеличенным представлением, будто успехи западного общества объясняются тем, что «уроки Октября» оно усвоило лучше, чем мы сами, взаимосближение двух систем осталось в общем нереализованной мечтой, тогда как внутрисистемная конвергенция в капитализме — реальность, набирающая силу. Следовательно, нынешняя исчерпанность межсистемной конвергенции ни в какой мере не означает исчерпания конвергенции вообще как закономерного, крупномасштабного явления мировой истории и одного из главных качеств современной цивилизации.

В каком отношении эти выводы находятся к теории Сахарова? Смее думать, что они вытекают из нее, служат ей непосредственным продолжением.

Во-первых, конвергенция для Сахарова не сводится лишь к социально-политическим ее аспектам, — это некий философский и нравственный принцип, преломление его любимой идеи единого, хотя и многообразного человечества, взаимосближения и взаимообогащения в нем многообразных расовых, национальных, религиозных, социокультурных миров. В таком широком понимании названий принцип вполне сохраняет свою силу и после устранения противоборства двух систем.

Во-вторых, говоря о сближении социализма и капитализма, Сахаров делает акцент не столько на их взаимном влиянии, сколько на процессах, происходящих внутри каждой из систем и объективно толкающих ту и другую к такому сближению. Этот перенос центра тяжести с внешних, межсистемных ипостасей конвергенции на внутрисистемную эволюцию (хотя у Сахарова и нет таких терминов) особенно заметен в тех местах «Размышлений», где речь идет о том, что автор считает для себя главным, — о ситуации в СССР и желательном направлении ее изменения.

В-третьих, многие его формулировки указывают на то, что он живо ощущает различие между **идеями** социализма (как началом прежде всего нравственным) и социалистическим **строем**, реально существующим в СССР и странах советского блока. Об этом речь впереди.

Проживи Андрей Дмитриевич хотя бы еще год, он, вероятно, пошел бы в этих направлениях намного дальше.

Сказанное влечет за собой ряд существенных следствий, главное из которых — во многом новый угол зрения на всю современную историю.

Пожалуй, ничто в такой мере не определило облик нынешнего капиталистического общества, как возникшая и развивающаяся в нем внутрисистемная конвергенция. Эту решающую роль она делит только с научно-техническим прогрессом, да и по отношению к нему выступает в качестве одного из основных стимуляторов (например, через требования профсоюзов). Если бурное развитие производительных сил, научно-техническая, «зеленая», информационная революции создали матери-

альные предпосылки для превращения капитализма в «богатое общество», то реализация таких предпосылок, распределение этого богатства между различными слоями населения, перестройка общественных отношений, возникновение новой социальной структуры и адекватных ей политических систем совершались именно в процессе внутрисистемной конвергенции социализма и капитализма и могут рассматриваться как ее производные.

Сегодня не будет преувеличением сказать, что есть два капитализма — старый и новый, доконвергентный и конвергентный. Пограничной полосой между ними в развитых странах стал период борьбы доконвергентной же социалистической идеи с конвергентной, то есть ленинизма с «оппортунизмом», революционности с компромиссностью и реформизмом — и вытеснения первого из них вторым. Этот процесс, начальные признаки которого обозначились еще в конце прошлого века (тред-юнионизм, бернштейнианство, в России — легальный марксизм и меньшевизм), особенно интенсивно шел после второй мировой войны. Последней значимой его ступенью можно считать «еврокоммунизм», иначе говоря, социал-демократизацию главных европейских компартий, которая после удушения «пражской весны» завершилась их окончательным отпадением от КПСС и СССР.

Сохраняя известную общность (частная собственность, наемный труд, всепроникающая конкуренция, традиционные демократические институты, этические нормы и ценности), «два капитализма» во многих отношениях принципиально различны — подчас до взаимопротивоположности. Водораздел между ними прошел через следующие основные пункты.

Доконвергентный капитализм — обнаженно классовое общество, с резким разделением на богатых и бедных, с жестокой эксплуатацией меньшинством населения его огромного большинства, с полярной противоположностью интересов «верхов» и «низов», их взаимной подозрительностью и злобой. Прямым и неизбежным порождением царящих в таком обществе неравенства, несправедливости, социального антагонизма как раз и является социалистическая идея, естественно выступающая в подобных условиях в своей воинствующей, революционной форме. Напротив, конвергентный капитализм — общество гораздо более гомогенное, где классовая противоположность уступает место социальным различиям, да и они уже в значительной мере стерты. Здесь, конечно, сохраняется разница в имущественном положении тех или иных социально-профессиональных групп, но нет прежних резких контрастов, нет сколько-нибудь заметного разрыва в качестве жизни, в уровне потребления основных жизненных благ: они практически общедоступны. Соответственно здесь нет места классовой ненависти, зато усиливается тяга работников и работодателей к взаимной терпимости, сотрудничеству, партнерству, что составляет почву для перехода социалистической идеи в конвергентную форму и толкает ее в том же направлении все дальше.

Доконвергентный капитализм — это общество, где, как в дикой природе, шла непрерывная борьба за существование. Здесь каждый мог рассчитывать только на себя, а вдовам, сиротам, одиноким старикам да и просто безработным сплошь и рядом оставалось лишь нищенствовать, голодать и холодать. Конвергентный капитализм — общество социальной ответственности. Традиционный «буржуазный» индивидуализм дополнен и уравновешен здесь «социалистическим» принципом ценности каждой человеческой личности, вследствие чего государство считает своей обязанностью поддержку нетрудоспособных и малоимущих с помощью развитой системы социальной защиты.

Другую грань той же социальной ответственности составляет государственная поддержка определенных секторов экономики, например, сельского хозяйства. Доконвергентный капитализм в этом случае умывал руки, целиком отдавая слабых во власть рыночной стихии. Современный капитализм с его активной экономической политикой, органически сочетающей в себе «либерализм» (свободу конкуренции) и «социализм» (государственное регулирование), намного более дальновиден и эффективен.

Доконвергентный капитализм — это демократия, которая, даже если она не несла на себе печать откровенной сословности, дискриминации по полу, имущественному цензу, оседлости, цвету кожи и пр., повсеместно была демократией в основном для высшего слоя, оставаясь для большинства населения в значительной мере формальной и мнимой. В свою очередь, конвергентный капитализм есть общество реальной демократии. У нее много недостатков, в том числе отсутствие подлинных гарантий против попыток в ходе избирательных кампаний манипулировать

массовым сознанием посредством телевидения и пр.<sup>2</sup> И все же к ней сегодня уже невозможно прилагать эпитет «буржуазная», ибо при всех своих минусах и деформациях это как бы то ни было демократия всех и для всех.

Наконец, доконвергентный капитализм — это капитализм, как правило, колониальный, перенесший социальное неравенство и угнетение в сферу национальных и межгосударственных отношений, пропитанный духом шовинизма и великодержавия. В свою очередь, одним из главных принципов нового капитализма является признание права наций на самоопределение, а едва ли не самой масштабной акцией — добровольный отказ стран-метрополий от колониальной системы, что уже само по себе в корне изменило всю картину мира.

Чем объясняются столь грандиозные перемены? Имеет широкое хождение концепция, согласно которой своими изменениями в XX веке капитализм во многом или даже чуть ли не полностью обязан усвоению уроков Октября — как в смысле положительного примера, так и грозного предостережения. В связи с 80-летием революции этот мотив зазвучал с новой силой и нередко в весьма категорических выражениях.

Александр Бовин: «Колоссальные сдвиги, перемены, которые решительно трансформировали капитализм, самым непосредственным образом связаны с нашей революцией. <...> Программы, лозунги Октября стали реализовываться в условиях сохранения капитализма. 8-часовой рабочий день, пенсия, оплачиваемые отпуска, доступное образование, улучшение условий труда и быта — все это стало приобретать массовый характер только после 1917 года. <...> Под воздействием процессов, начатых Октябрьской революцией... развалилась мировая колониальная система» («Известия», 1997, 5 ноября).

Гавриил Попов: «Западные страны были вынуждены — под воздействием примера СССР — вводить новшества. Комплекс социальных мер, введение начал бесплатного здравоохранения и образования» («Известия», 1997, 6 ноября).

Григорий Явлинский: «Социальное партнерство, профсоюзы, социал-демократы, американские президенты, научившиеся разговаривать с простым человеком на улице, французские студенты 68-го года и диалог с ними властей, высокий уровень социального обеспечения в скандинавских странах — все это следствие Октябрьской революции в России. Правда, следствие своеобразное, как бы от противного: чтобы не случилось у них, как у нас, только не было бы ничего подобного!» («Общая газета», 1997, 6—12 ноября).

В подобных объяснениях, утешительных для страдающего нас комплекса неполноценности, несомненно, есть известный резон, но есть и очевидная односторонность. Ибо за рамками их остаются наиболее важные **внутренние** факторы саморазвития капиталистического общества в XX веке, экономические и политические. В их числе — научно-техническая и информационная революции, кейнсианство и выстроенная на его основе новая роль государства в регулировании рыночной экономики, занятости и уровня жизни, новые организационные теории, обеспечившие непрерывный рост производительности труда при уменьшении его физической тяжести и интенсивности. Наконец, игнорируется тот факт, что ни одно из социальных достижений современного капитализма не свалилось на голову общества в виде манны небесной, а было им заработано, завоевано в длительной и упорной борьбе, возникло как результат противостояния и возрастающего взаимодействия выше-названных полярных тенденций<sup>3</sup>.

Впрочем, никакие расхождения в объяснении причин перехода капиталистического общества на качественно новую ступень развития не колеблют самого факта

<sup>2</sup> Итальянский журналист, искренне болеющий душой за Россию и прямо-таки со шедринским сарказмом обличающий безнравственность ее нынешних политиков, не щадит и их западных коллег: «...Избирательные процедуры все больше превращаются в спектакль, в котором реальные проблемы, требующие решения, исчезают за дымовой завесой. <...> Избиратели — здесь особенно показателен американский пример — призваны выбирать не столько между реальными программами (зачастую практически одинаковыми), сколько между лицами (соответствующим образом загримированными), биографиями (часто подчищенными) и телевизионными имиджами (всегда поддельными)». (Джувьетто Кьеза. Прошай, Россия. М., 1997, сс. 175—176).

<sup>3</sup> Может быть, я ошибаюсь, но в этих попытках объяснить успехи Запада чем-то, от него самого не зависящим, мне слышится отзвук нашей российской обломовщины. Мы как бы невольно переносим на других собственную пассивность, ожидание улучшений исключительно сверху или откуда-нибудь извне, неверие в созидательные возможности «низовой» общественной самодеятельности.

такого перехода. Очевидно и другое: его превращения имеют всемирно-историческое значение, а самый этот переход от старого капитализма к новому, почти синхронно совершившийся во всех промышленно развитых странах (за исключением «социалистических»), стал главным водоразделом в истории человечества вообще.

Не хочу быть заподозренным в европоцентризме, но при всем уважении к традиционным обществам с их древней, нередко великой культурой (достаточно вспомнить Индию), при всем значении бывшего «соцлагеря» и его нынешних великих и малых осколков, погоду в современном мире делают все же не они, а развитые капиталистические страны. Именно США, Япония и объединенная Европа задают нынче некую общемировую норму, на которую волей-неволей ориентируются все прочие государства, все население Земли.

Так что два типа, две эпохи капитализма — это и две эпохи мировой истории. На смену многотысячелетней доконвергентной истории человечества в XX веке пришла **эра конвергенции**, эра объединяющегося человечества, взаимосближения и активного взаимовлияния ранее чуждых друг другу социальных, культурных, этнических, государственных миров.

Правда, хотя эта новая эра уже на дворе, процесс вхождения в нее человечества отнюдь не закончен и далеко не бесконфликтен. Он и не может быть иным. Сама ситуация — доконвергентные (во многих случаях даже докапиталистические) общества в эпоху конвергенции — предопределяет остроту коллизий. Отсюда те жестокие, кровавые «опровержения» нового характера межнациональных и межгосударственных отношений, которые то и дело предъявляют то Кашмир, то Ближний Восток, то Сомали, то Центральная Африка, то бывшие социалистические страны (о последних — разговор особый). И все же, сколь ни многочисленны подобные «исключения», «правило» нового времени состоит уже в другом — в том, что они осуждаются и гасятся мировым сообществом.

В данной связи как не вспомнить снова о человеке, который сформулировал это «правило», эту философию XXI века — философию ответственности, единения и сотрудничества — полнее и ярче, чем кто-либо другой? Как не отдать должное тому, чья деятельность и судьба стали единственным в своем роде символом всемирно-исторического сдвига, равнозначного лишь смене геологических эпох?

В самом деле, вдумаясь в хорошо известный «сюжет» сахаровской биографии. Следуя логике своего времени (той самой «психологии войны») и соответствующему ей пониманию своего гражданского, патриотического долга, гениальный физик придумывает водородную бомбу, грандиозное в научно-техническом смысле и самое ужасное изобретение, какое когда-либо продуцировала человеческая мысль. Ее создание — «последнее слово» доконвергентного, то есть разделенного и грызущегося, человечества, как бы квинтэссенция всей той социальной, расовой, национальной ненависти, которая столетиями копилась в нем на почве бедности и угнетения, время от времени взрываясь разрушительными восстаниями и войнами, накапливалась снова и наконец сгустилась в такую концентрацию, которая явила себя в изобретении, поставившем под вопрос само существование человеческого рода.

На порядок увеличив военное могущество «соцлагеря», создание термоядерного оружия возводит ученого на самую вершину государственного почета. В 41 год он уже трижды Герой Социалистического Труда, давно академик. Но вместо радости и торжества им владеют совсем другие чувства. Едва успев испытать свое страшное «изделие», Сахаров вступает в одинокую и отчаянную борьбу за то, чтобы исключить возможность его применения и прежде всего за прекращение его дальнейших смертоносных испытаний<sup>4</sup>. Это уже в начале 60-х годов раз за разом ставит его во все более острые отношения с властью. И вот как описан в его «Воспоминаниях» момент, когда, не преодолев эгоизм соперничавших военно-научных коллективов и мелочные расчеты высокопоставленных бюрократов, он не смог добиться отмены бессмысленного в практическом отношении сдвоенного испытания близких по своим характеристикам «изделий», которое должно было повлечь за собой двойное число человеческих жертв: «...Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить! Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал» (т. 1, сс. 320—321).

<sup>4</sup> «Еще в 50-е годы сложившаяся у меня точка зрения на ядерные испытания в атмосфере как на прямое преступление против человечества, ничем не отличающееся, скажем, от тайного выливания культуры болезнетворных микробов в городской водопровод, — не встречала никакой поддержки у окружающих меня людей» (Воспоминания, т. 1, с. 314).

Эти слезы, вызванные бессилием спасти каких-то никому не известных, в том числе еще не родившихся людей, это отчаяние, испытанное в момент максимума личных жизненных успехов,— свидетельство такого величия души, что испытываешь гордость за человеческую природу.

В конце концов он одержит победу: ведущие ядерные державы заключат знаменитый Московский договор о запрещении испытаний оружия массового уничтожения в трех средах. И вступит в новую, многолетнюю, еще более тяжкую и, казалось, безнадежную борьбу с тоталитарным строем. Будет лишен всех наград, подвергнут публичной травле, сослан, испытает физические насилия — и не сдастся.

Совершив огромную внутреннюю перестройку, пройдя путь от «психологии войны» до философии конвергенции, открытого общества и приоритета человеческих прав, Сахаров сомкнул своей судьбою две вышеназванных эпохи мировой истории. Отдадим себе отчет в уникальности этой личности и судьбы. Человеком двух эпох оказаться нетрудно: нужно лишь родиться на их стыке. Но человек, в котором можно увидеть символ хотя бы одной из них,— явление редкое, единичное. Таковы, например, в европейской истории Лютер, Вольтер, Наполеон, Маркс, в XX веке — Ленин. Однако у Сахарова особое место даже в таком избранном ряду: две великие жизни прожил, две зры истории человечества выразил собою только он один. И всего глубже, ярче, масштабнее именно ту из них, которая только начинается, простирается в будущее.

## 5

Однако вернемся в основное русло нашего рассуждения.

Во всех развитых странах без исключения доконвергентный капитализм превратился в конвергентный. Это был отнюдь не бесконфликтный и не бескризисный процесс, чему свидетельством «великая депрессия» начала 30-х годов в США, приход к власти фашистов в Италии, нацистов в Германии, японский милитаризм, подвергшие западную цивилизацию и мир в целом жестоким испытаниям. Однако в послевоенных условиях указанное превращение повсеместно совершилось одним и тем же способом — путем более или менее плавного органического саморазвития, в ходе постепенной, многоэтапной эволюции, занявшей в общем итоге большую часть XX столетия. Альтернативой ей в ряде других стран, начиная с России (как правило, менее развитых или неразвитых вовсе), стала социалистическая революция.

Под социалистической революцией понимают революционную ломку капиталистического строя и замену его социалистическим. Оценки такой замены разнятся в очень широких пределах. Для одних это закономерный переход человеческого общества на более высокую ступень развития, для других — несчастный исторический казус, объяснение которому ищут то в экстремизме революционеров, то в характере народа, то в особенностях национальной истории. То и другое одинаково неубедительно. Первая точка зрения опровергается печальной судьбой «реального социализма», по всем статьям проигравшего в соревновании двух систем, вторая — уже тем простейшим соображением, что России, Китаю, Вьетнам, Кубу населяют народы, у каждого из которых своя история и свой национальный характер, тем не менее судьбы их оказались в какой-то момент поразительно схожими.

Но Бог с ними, с оценками, важнее иное: верно ли подобное понимание социалистической революции по существу? На мой взгляд, оно слишком общо и неточно. В свете теории конвергенции (с теми дополнениями, что предложены выше), а главное — с учетом всего опыта уходящего века представление о смене капитализма социализмом может быть существенно уточнено и конкретизировано.

Уточнено в двух отношениях. Прежде всего теперь мы можем гораздо конкретнее сказать, что именно является предметом революционной ломки. Не капитализм вообще, а только капитализм на вполне определенной — доконвергентной — стадии своего развития. За весь XX век не было ни одного случая, чтобы такой ломке подвергся сколько-нибудь продвинутый конвергентный капитализм. Правда, после победы над Гитлером просоветские режимы установились в Чехословакии, Венгрии и некоторых других сравнительно развитых восточноевропейских странах, однако всякому понятно, что это объяснялось отнюдь не внутривнутриполитическими причинами.

Другое, еще более важное уточнение касается результата социалистической революции, того общественного строя, который возникает благодаря ее победе. К нему мы обратимся чуть позже, а пока отдадим себе отчет в том, сколь знамена-

тельно, теоретически значимо то обстоятельство, что социалистическая революция победила именно в России.

Этому, без сомнения, способствовала жестокая, затяжная и неудачная война, массовое недовольство которой достигло в тот момент апогея, но которую Временное правительство не решилось закончить; голод, слабость новообразованных властей, сплоченность и боевитость большевиков, невероятная энергия их лидера. Однонаправленное действие всех этих факторов создавало сильный разрушительный резонанс. И все же оно не имело бы такого результата, если бы не наслоилося на тот фундаментальный факт, что по всем показателям, характерным для доконвергентного общества, Россия была, можно сказать, чемпионом Европы. В то время как классовые противоречия (степень эксплуатации рабочих, безземелье крестьян, общее бесправие социальных низов) находились у нас на уровне, близком к предельному, внутрисистемная конвергенция разве что чуть-чуть приподнялась над нулевой отметкой. Профсоюзов практически не было; парламентаризм и политические партии пребывали в зачаточном состоянии; недавно появившееся избирательное право имело откровенно сословный характер; полагаясь в основном на казацкую нагайку, российская буржуазия ни в чем не желала идти навстречу даже минимальным требованиям масс.

В Англии, Германии и других воюющих государствах ситуация по всем этим линиям была уже существенно иная. Конечно, и там конвергенция делала тогда лишь свои первые шаги, но все же успела продвинуться намного дальше. Здесь главное объяснение тому, почему, вопреки твердым предсказаниям основоположников марксизма и страстным надеждам большевиков, ни одна из развитых капиталистических стран ни в тот момент, ни позднее не последовала примеру России. Равно как и тому, по какой причине за ней в дальнейшем добровольно, без вдохновляющего воздействия Советской Армии устремились лишь такие отсталые, глубоко «доконвергентные» страны, как Китай, Вьетнам, Камбоджа, Куба.

Могла ли тем не менее Россия избежать социалистической революции? И наоборот: могла ли такая революция вспыхнуть тогда в одной или нескольких развитых капиталистических странах? Ни того, ни другого, на мой взгляд, полностью исключать невозможно.

К числу наиболее существенных завоеваний независимой общественной мысли 60-х годов следует отнести идею альтернативности исторического процесса, которую в противовес фаталистической однолинейности, свойственной официальному марксизму, выдвигал М. Я. Гефтер и другие участники руководимого им междисциплинарного семинара обществоведов при Институте всеобщей истории. Следуя этой идее, нельзя не видеть в послефевральской ситуации в России некоего «пучка возможностей» — от восстановления монархии в случае успеха корниловского мятежа до того же большевистского переворота. Можно допустить и такой вариант: правительство Керенского начинает энергично искать мира, его популярность на этом резко возрастает, шансы большевиков соответственно падают, задуманный ими переворот срывается, страна минует опасную точку своей истории и, как другие европейские страны, выходит из охватившей ее кризиса мирным, эволюционным путем. В свою очередь, у ее неприятели (Германия) и союзники (государств Антанты) существовали свои «пучки возможностей», среди которых тогда, на выходе из варварской мировой бойни и сразу после нее, возможность антиимпериалистической революции отнюдь не казалась фантастической. Баварский и венгерский отзвуки Октября в этом смысле весьма симптоматичны.

Другое дело, что альтернативный, вероятностный характер исторического развития отнюдь не означает равноправия разных исторических возможностей с точки зрения их осуществимости. Да, ситуация в Западной Европе, еще недавно ступившей на путь внутрисистемной конвергенции, была весьма зыбкой, амбивалентной. Но все-таки и столь скромного опыта оказалось достаточно, чтобы эволюционная тенденция возобладала там над революционной. В России, где и такого задела еще не появилось, соотношение указанных тенденций было иное. Тот же М. Я. Гефтер с учетом всей конкретики момента (но, быть может, все-таки несколько преувеличивая) считал Октябрьскую революцию чуть ли не неизбежной. Сходной точки зрения придерживается А. И. Солженицын.

Как бы то ни было, и в России, и на Западе произошло то, что при данном состоянии обстоятельств оказалось наиболее вероятным. То есть принципиально разное. Вместо того чтобы устремиться в единственное русло, указанное теорией «научного коммунизма», исторический процесс разбился после 1917 года на два рукава.

В подавляющем большинстве более или менее развитых стран продолжилась эволюция капиталистического общества, в России же она оказалась прерванной. В итоге благодаря даже начальному этапу конвергенции «они» проскочили, а «мы» — в силу полной своей доконвергентности — попались в ловушку, из которой не выбрались и по сию пору.

Закономерен вопрос: если предстоявшими ей несчастьями Россия 1917 года обязана была доконвергентному своему состоянию, то не следует ли отсюда, что социалистическая революция произошла у нас просто-напросто преждевременно, когда для этого еще не созрели все необходимые условия? Нет, плехановская, меньшевистская идея преждевременности Октября (недавно энергично поддержанная Г. Х. Поповым), хоть и проникнута справедливым предчувствием, что ничего хорошего из него не получится, так же далека от излагаемой здесь точки зрения, как и убеждение Ленина, что революцию нужно было делать безотлагательно. В сугубо практическом смысле «великий практик» революции был даже более прав. Если бы «условия созрели», это означало бы, что процесс внутрисистемной конвергенции продвинулся достаточно далеко, тогда социалистическая революция стала бы попросту невозможной. Она произошла именно там и именно в тот момент, где и когда только и могла произойти. О ее преждевременности можно говорить лишь в том смысле, что социалистическая идея оказалась реализованной раньше, нежели приобрела исторически перспективное конвергентное содержание.

## 6

Строй, возникший в результате социалистической революции, повсеместно отличался удивительной на первый взгляд двойственностью.

С одной стороны, по сравнению с прежним в нем все наоборот. Кто был ничем, стал всем. Происхождение «из рабочих» (или, чуть хуже, «из крестьян», желательно «бедняков») сделалось предметом гордости и зазвучало в анкетах почти как прежний дворянский титул, а «дворянин» или «сын священника» превратились в волчий билет. Все, что раньше было частным, стало государственным, «общенародным»; все, что свободно продавалось и покупалось, стало «сдаваться» и «выдаваться» — либо даром, либо по символическим, директивно установленным ценам. Там, где успела возникнуть многопартийность, она сменилась однопартийностью, очень странным явлением, наподобие однополюсного магнита; там, где были выборы, они сменились ритуалом голосования за всегда единственного «кандидата» с абсолютно предпрешенным исходом. Ну и так далее.

В последние годы Октябрьскую революцию у нас разжаловали в «октябрьский переворот». Это смешно. Революция не оценочная категория, а строгий политический термин, не носящий никакой ценностной окраски. Но в одном отношении слово «переворот» лучше — оно выразительнее: ведь социалистическая революция действительно все переворачивает вверх дном. Как накануне ее с восторгом писал Маяковский:

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде»,  
Сегодня пересматривается миров основа,  
Сегодня до последней пуговицы в одежде  
Жизнь переделаем снова.

Но все это — лишь одна сторона медали. А с другой... Пройдет всего несколько лет после 1917 года — и у того же автора (в контексте критики им советского бюрократизма) тот же поэтический образ получит совершенно непредвиденный оборот:

... у некоторых уже проступают сзади  
Пуговицы дофевральские, с орлом.

Ибо выяснится, и чем дальше, тем больше, парадоксальное сходство нового строя с прежним. «Верхи» и «низы» общества поменялись местами, но сам принцип «верха» и «низа», некий общий алгоритм общественных отношений, остался тем же самым. Прежние взаимоотношения начальников и подчиненных, работников и работодателей, прежняя классовость общества и социальная несправедливость, прежняя «психология войны», разделение на «наших» и «не наших», дух нетерпимости к инакомыслию, подозрительности, вражды, прежняя (даже еще большая) формальность демократии, пренебрежение правами человека, произвол, высокомерие и самодурство власть имущих и пр. и пр. быстро возродились в новых комбинациях и



под новыми идеологическими этикетками, едва успел рассеять пороховой дым революционных битв<sup>5</sup>.

Все перевернулось — это верно. Но столь же верно и то, что, перевернувшись, предстало как почти зеркальное отражение того, что было. Что ж, видимо, чудес не бывает: новое складывается только из наличного материала. Если оно органично вырастает из старого, постепенно изменяемого процессом эволюции, результат может в конце концов кардинально, как небо от земли, отличаться от исходного состояния. Именно так обстояло дело с занявшим почти целое столетие процессом перерастания доконвергентного капитализма в современный конвергентный социал-капитализм. В свою очередь, революционный переворот резко, чуть ли не одномоментно меняет **формы** общественной жизни, но сохраняет и консервирует самый дух и характер общества, уровень его развития, наполняя эти формы тем содержанием, которое только и может предложить данное время. А именно — доконвергентным содержанием.

Здесь мы подходим к одной из важнейших для данной статьи констатаций, следствию всего вышеизложенного: социалистическая революция, то есть революционный слом доконвергентного капитализма, рождает не социализм вообще, а социализм особого, тоже доконвергентного типа, иначе говоря — **доконвергентный социализм**.

Что такое доконвергентный социализм, мы, как и все наши собратья по бывшему «соцлагерю», знаем не понаслышке. Знаем его немалые достоинства и впечатляющие достижения, наполнившие смыслом жизнь миллионов наших соотечественников. Знаем его пороки и провалы, в силу которых оптимистическая вера, питавшая несколько поколений советских людей, постепенно уступала место апатии и разочарованию. Поэтому не потребуют доказательства следующие утверждения. Первое: революционно-социалистическая идея оказалась не утопической, как когда-то думали многие, а вполне осуществимой. Второе: результат ее осуществления, доконвергентный социализм, — это не какая-то случайная смесь хорошего и дурного, а внутренне логичная и целостная **система**. Третье: став первым в истории общественным строем, который не складывался стихийно, а сознательно **строился** по заранее созданному теоретическому проекту, система эта тем не менее оказалась таким монстром, в котором идея, вызвавшая его к жизни, ни за что не согласилась бы себя узнать (см. «Собачие сердца» и «Роковые яйца» Булгакова); цели и итоги революционных преобразований во многих отношениях соответствовали друг другу «с точностью до наоборот».

В самом деле: провозгласили диктатуру пролетариата — получили диктатуру партаппарата. Поставили целью бесклассовое общество — оно обернулось безраздельным господством «нового класса», партийно-советско-ведомственной номенклатуры. Национализировали все и вся, заменили частную собственность «общенародной» — она быстро стала фактическим достоянием той же номенклатуры, правда, коллективным и анонимным. Объявили о прекращении эксплуатации человека человеком — и создали режим, при котором колхозник мог завидовать своему крепостному предку, потому что нес тяготы барщины (на колхозном поле) и оброка (со своего приусадебного участка) одновременно, труд же рядовых рабочих и служащих оплачивался в несколько раз ниже реальной стоимости их рабочей силы. В противовес капиталистической анархии производства строили высокорациональное плановое хозяйство — получили экономику всеобщей бесхозяйственности, чудовищно перекошенную, безумно расточительную и неэффективную. С песней «В царство свободы дорогу...» угодили в тоталитарное государство-тюрьму.

Всю эти сюрпризы оказались настолько впечатляющими, что наиболее пытливые умы уже лет сорок назад (а иные, например Мартеньян Рютин, и много раньше) начали задумываться над проблемой аутентичности советского социализма, его соответствия теоретической модели «нижней фазы коммунизма». С началом «перестройки» подобные сомнения выплеснулись на страницы открытой печати. «Это не тот социализм, о котором мы мечтали», — печально констатировали одни. «Это вообще не социализм», — еще более решительно заявляли другие, но не поясняли, с чем же в таком случае мы имеем дело. «Тот! Слышите: тот!» — с хохотом молодой, белоzubой ведьмы прокричала им всем в ответ Л. Попкова (тогда еще никому не из-

<sup>5</sup> Впрочем, народ не обманешь. 5 марта 1953 года старушка на базарной площади нашего поселка, под репродуктором, из которого льются траурные мелодии: «Никак царь помер?» — «Какой царь, бабушка? Сталин!» — «Вот я и говорю: царь. Ну, царство ему небесное».

вестная Лариса Пияшева). Но и после ее дерзкой реплики дело не слишком прояснилось. Тот, да не тот, не тот, да тот...

Между тем ларчик просто открывался, стоило лишь увидеть проблему в ином ракурсе: революционно-социалистическая идея по природе своей могла быть осуществлена лишь в патологической, резко неадекватной форме. Реализация этой идеи в виде конкретного общественного устройства, базирующегося на тотальном обобществлении и диктатуре пролетариата, оказалась возможной, да, но лишь за счет «жертвы качества», ценой отказа от ряда основных социалистических ценностей (свободы, равенства, народовластия) и замены их на нечто прямо противоположное.

Как и почему произошла такая подмена? Ведь, совершая революцию, хотели лучшего. Этой мечтой воодушевлены были люди нескольких поколений, в том числе те, кто по праву мог считаться цветом нации, — искренние, бескорыстные, бесстрашные, готовые к самопожертвованию для общего блага. Таких было очень и очень много. Когда сегодня из них огульно делают чудовищ, с чем и связывают все наши бедствия, — это либо плод невежества, либо такая же грубая ложь, какой десятки лет кормила нас коммунистическая пропаганда, изображая подобными чудовищами любых противников советского режима — от Корнилова и Деникина до Солженицына и Сахарова. Великую, всемирно-исторического масштаба трагедию нельзя понять и истолковать, вооружившись лишь уголовным кодексом и набором моральных прописей.

Подлинную причину катастрофического отрыва социалистической реальности от того образа социализма, что издавна сложился в мечтах угнетенных, а Марксом и его последователями возведен был на уровень теоретического прогноза, мы уясним себе, если вспомним одну важную философскую истину: результат социального действия определяется не целью, которую преследует это действие, а исключительно теми средствами, которые используются для ее достижения<sup>6</sup>.

Средства, какими повсеместно воспользовалась социалистическая революция, носили ультрарадикальный, взрывной, бескомпромиссно жесткий (и жестокий) характер. Главным среди них стало — и открыто провозглашалось — насилие. Уже сам акт взятия власти большевиками был проведен, как военная операция (захват вокзалов, мостов и средства связи, штурм Зимнего), чуть позже — разгон всенародно избранного Учредительного собрания, закрытие всех небольшевистских газет и журналов. Начавшись насилием над прежней властью и «верхними десятиями тысячами», революция закончилась невиданным в истории насилием новой власти над сто-миллионным крестьянством, то есть над подавляющим большинством народа. Именно насилие, ничем не стесненное и не регламентированное, позволило совершить такое чудо — в считанные месяцы и годы все в России (в других странах тоже) перевернуть вверх дном: политическую систему, экономический механизм, отношения собственности, весь уклад народной жизни.

Жертвами этого беспримерного насилия становились не только конкретные люди, но также формы организации и жизнедеятельности общества. По отношению к ним, как и к отдельному человеку, революционное насилие непременно означало умерщвление (или по меньшей мере повреждение, усекновение) чего-то живого и действующего. Кстати, именно в этом состояло одно из главных отличий социалистической революции от ее буржуазных предшественниц: те добивали отжившее, эта подсекала живое. Частный интерес, предприимчивость, инициатива, неприкосновенность частной жизни и собственности, свобода выбора занятий, свобода торговли, свобода передвижения, свобода союзов и ассоциаций, свобода мысли и слова, свобода вероисповедания — все это и многое другое было либо полностью отнято, либо урезано более или менее сильно.

Подчеркнем: речь шла не о каких-то разрозненных, хотя бы и существенных, частностях. Выше мы говорили о двухполюсности капитализма, на протяжении столетий совмещавшего в себе либерально-консервативную тенденцию с социалистической, об их противостоянии и мало-помалу складывавшемся взаимном равновесии, о том, что только в совокупности они способны были выразить всю полноту общечеловеческих ценностей и основных потребностей, свойственных общественной природе человека. Так вот, теперь вся либерально-консервативная часть обще-

<sup>6</sup> В 60-е годы эта идея, казалось, прочно вошла в общественное сознание, однако нынче она вновь в полном забвении. Современная российская политика не только руководствуется старым иезуитским (и большевистским) принципом «цель оправдывает средства» в своей повседневной практике, но легко признается в этом — характерное проявление нынешней прогрессирующей нравственной невменяемости.

ственного целого оказалась как бы отрублена. Вместе с ней были отключены оба главных двигателя прогресса, обеспечивавших органическое эволюционное развитие европейской цивилизации: рыночная конкуренция и политический плюрализм (демократия). Их неустанную стихийную работу призвано было заменить целенаправленное «строительство социализма», осуществляемое коммунистически сознательным «новым человеком». Однако массовое производство «нового человека» только начиналось, закладывая основы социализма пришлось «старому», обремененному тяжким грузом «пережитков капитализма» в виде того же частного интереса и пристрастия к упомянутым свободам. Поэтому и после полного истребления «помещиков и капиталистов» нужда в насилиии, в принуждении не отпала, даже не уменьшилась. Напротив, объектом его довольно скоро стало подавляющее большинство населения страны, те самые рабочие и крестьяне, от имени которых оно и совершалось. Нужно ли удивляться тому, что система, призванная обеспечивать повседневное и всеобъемлющее насилие «коммунистического авангарда» над этим несознательным большинством, оказалась в весьма сложных отношениях с социалистическим идеалом?

Но чем объяснить в незлобивых русских людях, тихих китайцах, жизнерадостных кубинцах и пр. тот дух классовой ненависти, ту бескомпромиссность и жестокость, то неуважение к правам личности, к человеческому достоинству, к самой жизни наконец, которые обусловили их бестрепетную готовность к насилию как средству достижения революционных целей? Ответ очевиден: всему этому неоткуда было бы взяться, кроме как из опыта их прежней жизни, из привычек, нравов и отношений того доконвергентного общества, из которого рождалась социалистическая революция. Например, у нас в России насилие только потому так безбрежно разлилось в советское время, что и перед Октябрем оно, по сути дела, было общественной нормой, — вспомнить хоть «кровавое воскресенье» или еврейские погромы, благосклонно воспринимавшиеся во дворце<sup>7</sup>.

Поэтические формулы подчас говорят больше долгих рассуждений. Помещик в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова:

Кого хочу — помилю,  
Кого хочу — казню.  
Закон — мое желание!  
Кулак — моя полиция!  
Удар искросыпительный,  
Удар зубодробительный,  
Удар скуловорррот!..

А вот как бы ответ ему у цитировавшегося поэта революции:

Но-жи-чком на месте чик  
Лю-то-го по-мещика.  
Гос-по-дин по-мещичек,  
Со-би-райте вещи-ка!

Нас столетиями унижали и грабили, теперь очередь наша:

Чем хуже моя Нина?!  
Ба-рыни сами.  
Тащ в хату пианино,  
Граммoфон с часами!

Вывод: детище доконвергентной эпохи, социалистическая революция создала новый строй если не по образу и подобию, то по образцу старого. Новым здесь явился в основном ряд потерь, из которых наиболее тяжелой можно считать утрату вышеназванных средств развития, что лишило этот строй внутренней динамики, способности к прогрессивному эволюционному самоизменению. Между тем история XX века авторитетно подтвердила мудрость русской поговорки «тише едешь — дальше будешь». Эволюция медленно, но верно вывела Запад из доконвергентного

<sup>7</sup> Убийство большевиками царской семьи, в том числе молодых девушек и большого подростка, — страшное преступление, не имеющее оправдания. Но сколько невинной крови было пролито самим царем, которого теперь православная церковь вот-вот готова канонизировать!

(по сути, архаического) состояния<sup>8</sup>, социалистическая революция, напротив, удержала в этом состоянии те страны, которые имели несчастье ее пережить. Революционное ускорение общественного развития обернулось страшным его замедлением. Доконвергентный капитализм превратился в доконвергентный социализм, и этот последний на неопределенно длительный срок стал как бы резервацией, отстойником доконвергентности в неостановимо меняющемся, все более конвергентном мире.

## 7

Итак, то, что называлось «реальным социализмом» и чего не застали у нас только малые дети,— это был не вообще социалистический строй, а доконвергентный социализм, генетически связанный с доконвергентным же капитализмом, перевернутой страницей европейской и мировой истории.

Но если есть «доконвергентный» социализм, значит, по аналогии с капитализмом можно ждать и «конвергентного»? Да, он также существует, чаще как важная грань современного капиталистического общества, реже как самостоятельное общественное устройство. Последнее представлено в двух основных формах, имеющих совершенно различное происхождение.

Первая, исторически более ранняя, возникла на капиталистической основе в качестве некоей вариации конвергентного капитализма. Как уже говорилось, либерально-консервативная и социалистическая тенденции в современном капитализме находятся в динамическом равновесии, а если какая-либо из них и преобладает несколько, то чаще в таком положении оказывается либерал-консерватизм. Однако в некоторых странах перевешивает социал-демократическая составляющая. Тогда система более или менее значительно смещается влево, подчас на достаточно продолжительный срок. В подобных случаях говорят о «шведском социализме», «испанском социализме» и т. п. Разумеется, это именно **конвергентный** социализм, не помышляющий о том, чтобы отсечь или заглушить либерально-консервативную половину общественного целого, исключить частную собственность, рыночный механизм и демократию, объявить войну «буржуазной идеологии» и т. п. Вместе с тем здесь шире, чем в среднем по капиталистическому миру, ареал национализированной собственности, больший крен в сторону государственного регулирования экономики, более жесткая антимонопольная политика, более развитые формы общественного контроля и самоуправления, больше внимания социальной защите, этике солидарности и «равенства в свободе» (В. Айхлер).

Можно ли считать конвергентный социализм такого типа чем-то принципиально отличным от современного капитализма? Нет, они очень близки и взаимно обратимы. Можно ли видеть в конвергентном социализме более высокую ступень развития капиталистического общества? Нет, и на такое утверждение история не дала нам достаточного права. Ибо перед нами, в сущности, не столько два разных общественных устройства, сколько различные вариации одного и того же амбивалентного социал-капитализма. Сольются ли они в дальнейшем или просуществуют бок о бок необозримо длительный срок, об этом сегодня можно только гадать. А пока они в равной мере эффективны и прогрессивны, в равной мере указывают общую перспективу развития современной цивилизации.

Другая форма конвергентного социализма возникла в некоторых странах бывшего советского блока, после того как в них прошли «бархатные» демократические революции. Больше всего это относится к Чехословакии, Венгрии, Польше. Независимо от того, пользуются ли там сейчас понятием «социализм», с которым у значительной части населения связаны дурные воспоминания, реально в этих странах более или менее успешно складывается тот самый рыночный, демократический строй, который под именем «социализма с человеческим лицом» на протяжении нескольких десятилетий был знаменем политической оппозиции тоталитарному режиму.

Как выглядит этот посткоммунистический конвергентный социализм и как соотносится он с конвергентным социализмом, возникшим на капиталистической основе,— о том речь впереди. Покамест замечу лишь вкратце: в обоих случаях мы имеем дело с общественными устройствами, совмещающими в себе либеральные

<sup>8</sup> Теоретик германской социал-демократии Вилли Айхлер: «Социал-демократы... не осуществили революцию, которой ждал Маркс, но своей борьбой они начали процесс, который в конечном итоге эволюционным путем революционизировал экономику и общество» (в его кн.: Этический реализм и социальная демократия. Избранные труды, М., 1996, с. 151).

нормы и ценности с социалистическими. Главное же различие — в преобладающем **направлении** самоизменения того и другого: они идут как бы встречными курсами. Если «западная» форма усиливает в себе удельный вес социалистического начала, то «восточная» открывает простор либеральному началу, которое доконвергентным социализмом сведено было практически к нулю. Кстати, тем самым мы здесь впервые получили возможность в достаточно широких масштабах наблюдать то, чего так и не дождались, пока существовала ситуация «двух миров», — факт **межсистемной конвергенции**, перехода внутрисистемной конвергенции в межсистемную.

Любопытная получается картина, не правда ли? Мы по привычке производим слова «капитализм», «социализм», «идея социализма» и полагаем, что пользуемся вполне строгими терминами, не допускающими двояких толкований. Как бы не так! Нет капитализма «вообще» — есть доконвергентный и конвергентный, как небо от земли, далекие друг от друга. Нет социалистической идеи «вообще» — есть революционная и реформистская, резко враждебные одна другой. Нет социалистического строя «вообще» — есть опять-таки доконвергентный социализм и конвергентный, и они настолько антиподы, что даже доконвергентные капитализм и социализм (не говоря уже о конвергентных) имеют между собой больше общего. То, что как-то сближает эти «два социализма», сосредоточено исключительно в сфере идеалов и социальной психологии: коллективизм, равенство, справедливость. Все остальное: реальные общественные отношения, собственность, характер государства, вся организация экономической и политической жизни — не просто различны, но противоположны.

Соотношение «двух социализмов» таково, что в зависимости от политических предпочтений либо первый из них, либо второй обычно объявлялся истинным, тогда как другому доставались иронические кавычки, приставки «лже» и «псевдо»<sup>9</sup>. Как бы ни распределялись подобные оценки, они одинаково несправедливы. Ибо оба эти общественные устройства являются законными детьми истории. Просто они представляют собой реализацию социалистической идеи на совершенно разных этапах ее развития, принадлежат двум качественно различным историческим эпохам.

Поэтому, в сущности, бессодержательно понятие «социалистический строй», если не снабдить его соответствующим разделительным определением; столь же бессмысленны многочисленные его производные, типа «социалистическая собственность», «социалистическая демократия», «антисоциалистические силы» и т. п. То, что такого разграничения не проводила не только идеология КПСС, но и независимая общественная мысль, стало одной из главных слабостей последней, причиной многих ее тяжелых поражений.

В самом деле, когда говорят: мы прожили жизнь при социализме, знаем, что это такое, и не хотим его повторения, но при этом забывают уточнить, о **каком** социализме идет речь, это становится источником путаницы, далеко не всегда непреднамеренной и отнюдь не безобидной. Ибо то, что у нас называлось социализмом («реальным социализмом»), было в действительности доконвергентным социализмом и только. Поскольку никакого другого мы не видели, нас легко сбить с толку. И нас действительно умышленно сбивают с толку, когда, издеваясь над понятиями «социализм с человеческим лицом» или «демократический социализм» (дескать, смотрите, какая маниловщина!), проецируют на них наш советский опыт. А это просто-напросто опыт совершенно другого общественного строя, неспособный дать ни малейшего представления о конвергентном социализме, для которого принципы «человеческого лица», демократии и рынка являются не только реальными, но исходными и определяющими.

Точно так же, когда президент и правительство говорят нам сегодня, что строят для нас капитализм, надо бы спросить: а **какой именно**, простите? Если тот, который вы уже и так построили, — мафиозно-монополистический, номенклатурно-олигархический капитализм богачей и нищих, мотивирующий самозахват правящим слоем всей государственной собственности и власти ссылками на XVII век, период первоначального накопления капитала, то, спасибо, не надо. «Строительство»

<sup>9</sup> Вот всего по одной выдержке от каждой из сторон для иллюстрации этого многолетнего обмена любезностями.

«По своему классовому содержанию «демократический социализм» выступает как про-капиталистическая теория, противостоящая научному социализму» (Философский энциклопедический словарь, с. 143).

«...У социал-демократов есть все основания не считать коммунистический эксперимент социалистическим. Он превратился со временем в свою противоположность» (В. Айхлер, цит. кн., сс. 180—181).

подобного дикого, доконвергентного капитализма есть не что иное, как движение общества вспять, дурная бесконечность хождения по кругу. Такая цель античеловечна, антинациональна, реакционна. Если же целью является капитализм современный, конвергентный, то из чего это видно? Тогда средства, которыми пользуются наши «строители», будь то грабительская ваучеризация или авторитарная конституция и последовательное лишение населения каких-либо реальных рычагов демократического контроля, абсолютно не соответствуют декларируемым намерениям, ведут в прямо противоположную сторону.

Два капитализма, два социализма, две эры мировой истории, разделяемые по одному и тому же универсальному критерию. Предложенная схема настолько проста, симметрична и «красива», что может показаться неправдоподобной. Что ж, если кто-то найдет в наших рассуждениях ошибку и сумеет это доказать, сердечная ему благодарность. Но, похоже, в них нет ошибки. Зато имеются поистине горы фактов, легко и полностью укладывающихся в данную схему<sup>9</sup>.

Впрочем, симметрия здесь весьма относительная. Есть по крайней мере два фундаментальных обстоятельства, усложняющих картину.

Первое — асинхронность процесса. Водораздел между доконвергентным и конвергентным обществом пролегал в капиталистических странах намного раньше, чем в социалистических. При этом ни Россия, ни ряд других республик бывшего СССР, ни такие осколки «соцлагеря», как Северная Корея или Куба, так пока еще и не вышли из эпохи доконвергентности. С определенными оговорками то же относится и к Китаю.

Второе — коренное различие (чтобы не сказать: противоположность) в способах преодоления «доконвергентности». Как уже говорилось, в капиталистическом мире переход общества от доконвергентного состояния к конвергентному совершался плавным эволюционным путем. Социалистический мир не оставил себе такой возможности. Отключив вышеупомянутые основные средства развития — рыночную конкуренцию и демократию, — социалистическая революция тем самым лишила доконвергентный социализм способности нормально эволюционировать. Отсюда — рано проявившаяся в нем тенденция к хроническому застою, не преодолимому иначе как кардинальным изменением всей системы общественных отношений. Отсюда же — революционный, взрывной (хотя и бескровный) характер такого изменения в названных восточноевропейских странах. Или... продолжающееся и по сию пору сохранение доконвергентности и застоя — там, где правящим силам удалось подобной революции избежать.

## 8

По причинам, с выяснения которых мы начали эту статью, теория конвергенции нынче не у дел. Между тем, пожалуй, только она и в состоянии указать путь к решению коренных проблем современности, заполнив тот вакуум, который образовался в сфере социально-исторической теории вследствие поражения марксизма.

Неверно было бы связывать появление этого вакуума только с тем, что люди, учившиеся по марксистским книжкам, просто не были достаточно осведомлены о других концепциях мирового исторического процесса, о принципиально иных подходах к исследованию общества, рыночной экономики и пр., о критике марксизма сторонниками этих, альтернативных ему концепций и подходов. Сколь ни убедительна бывала такая критика, тем не менее на протяжении чуть ли не ста лет (огромный срок для социальной теории в столь быстро меняющемся мире) марксизм стоял как скала. Это объяснялось редкой универсальностью марксистского учения и одновременно его исключительной цельностью: материалистическая философия и гносеология, теория общественно-экономических формаций, систематизация и монистическое осмысление огромного конкретно-исторического материала, концепция капиталистического хозяйства (с идеей прибавочной стоимости в качестве ее ядра), теория классовой борьбы и пролетарской революции — все это связывалось у Маркса в единое целое, спаянное железной логикой и одухотворенное революционной страстью.

Правда, в этом целом были также крупные и отнюдь не случайные изъяны: недооценка «двигательных функций» рынка и демократии (а следовательно, способности капитализма к многоэтапному самоизменению), отсутствие интереса к социально-психологическим и этическим проблемам, элемент закрытости и нетерпимо-

<sup>9</sup> Понимая условность сближения, отмечу тем не менее: в «Воспоминаниях» Сахарова не раз встречается с мыслью, что простота и красота математической формулы или физической гипотезы — свидетельство ее истинности.

сти по отношению к «буржуазной» науке. Значение таких изъяснений и их влияние на судьбу марксистского учения с течением времени будут возрастать. Но и саму потребность оппортировать марксистское учение, уязвить его указанием на его пробелы и слабости нельзя не считать производной от его силы, прочности и авторитета. Когда в XX веке, и особенно во второй его половине, живая связь марксизма с действительностью резко пошла на убыль, когда и на капиталистическом Западе, и на социалистическом Востоке почва поплыла у него из-под ног, в философско-историческом сознании человечества образовалась зияющая пустота. Никакие «теории среднего уровня», даже вместе взятые, не в состоянии были ее заполнить. Тогда-то и появились начатки той системы взглядов, в которой Сахаров, со свойственным ему гениальным чувством истины, увидел ядро философии новой, начинающейся эпохи и методологический ключ к ее главным проблемам.

Сопоставление с марксистской философией истории, ближайшей предшественницей и в значительной мере антитезой теории конвергенции, наглядно оттеняет принципиальную новизну последней. Это особенно хорошо видно, если (отчасти обобщая вышеизложенное) сравнить взгляд той и другой на соотношение социализма и капитализма.

С точки зрения марксизма капитализм и социализм (коммунизм) есть две общественно-экономические формации, два этапа мировой истории. Согласно теории конвергенции, они лишь разные ипостаси одной и той же современной цивилизации. Проблемой формаций эта теория не интересуется, как имеющей своим предметом докапиталистическое прошлое, а в настоящем лишенной всякой актуальности.

С точки зрения марксизма капитализм и социализм соединены последовательной связью: там, где кончается первый, приходит время второму. Согласно теории конвергенции, они соединены параллельной связью: и как две тенденции в капиталистическом обществе, и как два самостоятельных общественных устройства они вполне синхронны.

С точки зрения марксизма социализм во всех отношениях лучше капитализма, это более высокая ступень развития общества. Согласно теории конвергенции, они равноценны; у каждого есть свои плюсы и минусы. Доконвергентные капитализм и социализм находятся на одной и той же ступени мирового развития, конвергентные — тоже, но по отношению к доконвергентному капитализму конвергентный социализм — гораздо более прогрессивная общественная структура, по отношению к доконтвергентному социализму конвергентный капитализм — тоже.

С точки зрения марксизма социализму предстоит повсеместно сменить капитализм с неизбежностью смены времен года. Характерна сама лексика выражения этой мысли, например, у Ленина: «От капитализма человечество может перейти непосредственно только к социализму, т. е. общему владению средствами производства и распределению продуктов по мере работы каждого. Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен перерасти в коммунизм...» (Соч., 5-е изд., т. 31, сс. 170—180). «Только», «неизбежно», «какие бы то ни было иные варианты» заведомо и категорически исключаются. Этот дух фаталистической предопределенности совершенно чужд теории конвергенции, логике которой явно ближе упоминавшаяся идея альтернативности исторического процесса.

Наконец, с точки зрения марксизма капитализм и социализм непримиримо враждебны друг другу, между ними неизбежна борьба, в результате которой капитализму суждено исчезновение с лица земли, а социализму (коммунизму) полная и окончательная победа. В свою очередь, теория конвергенции видит в социализме и капитализме взаимодополняющие начала, одинаково ценные и перспективные. Философии классовой ненависти, борьбы и победы она противопоставляет философию компромисса, идеи социального мира и сотрудничества, солидарной ответственности всех людей, независимости от их политических взглядов, классовой и национальной принадлежности и пр., за судьбу человечества.

Соответственно марксизм и теория конвергенции резко разнятся и во многих других отношениях. В качестве идеологии революционного пролетариата марксизм проникнут сознанием своей социальной исключительности, в том числе исключительного права на истину. Ему свойственны своего рода изоляционизм и ксенофобия; демократию он рассматривает главным образом как условие, благоприятствующее его борьбе; подозрительный к универсальным и вечным нравственным категориям, он предпочитает заключать эти эпитеты в кавычки, как принадлежащие словарю буржуазного лицемерия и ханжества.

В свою очередь, с точки зрения теории конвергенции демократия — самостоятельная и высшая ценность. От нее напрямую зависят не только настоящее и будущее человечества, но и (вспомним одну из центральных сахаровских идей) само су-

ществование человеческого рода. Базируясь на принципах толерантности и открытости, теория конвергенции предстает перед нами, особенно у Сахарова, не только как философская, но не в меньшей мере и как этическая концепция. Это этика дружелюбия и сотрудничества, этика уважения и доверия к чужому и необычному, этика взаимосближающего общежития людей в разноязычном, разнокультурном, но едином мире «маленькой нашей планеты» (Гвардовский).

Кто прав и кто не прав в этом по большей части заочном споре двух фундаментальных идей? Некорректная постановка вопроса. Критиковать сейчас Маркса и Ленина уже не имеет никакого смысла. Вопрос нужно ставить иначе: какая из сопоставляемых теорий более современна и перспективна? Ответ очевиден, ибо они принадлежат двум разным эпохам человеческой истории. Марксизм есть теория, родившаяся на почве доконвергентного капитализма, это мировоззрение классового, бедного, остроконфликтного доконвергентного мира. Являясь выдающимся достижением человеческой мысли и идейной основой грандиозных, трагических событий всемирно-исторического масштаба, он, если брать его в целом, перевернутая страница истории. Что же касается теории конвергенции, то она детище новой эры, философия нового времени, для которого, между прочим, характерна тенденция к относительному снижению значения экономических и возрастанию роли нравственных факторов прогресса. Подобно современной экологической теории, с которой у нее много общего, она имеет для нас и мировоззренческий, и самый непосредственный практический смысл.

Впрочем, здесь необходима оговорка. Пропагандируя теорию конвергенции, я, однако же, далек от того, чтобы видеть в ней некий венец творения. Нужно ясно представлять себе те границы, в которых она действует и за пределами которых теряет свою силу.

Во-первых, эта теория по преимуществу философско-историческая, политическая и этическая. Другие области жизни, например, экономику, она затрагивает лишь настолько, насколько для них значима проблема взаимоотношений либерализма и социализма и, шире, любых других противостоящих одна другой сил, идей, тенденций. В остальном же применительно к таким областям она не претендует не только на преемственность по отношению к тем или иным специальным концепциям (еще менее — на то, чтобы их заместить), но даже вообще на какое-либо самостоятельное значение. В этом смысле она существенно уже того же марксизма, чьи всеохватные притязания были одновременно и слабой, и сильной его стороной.

Во-вторых, теория конвергенции имеет своим предметом только новую, начинающуюся историческую эпоху, а не мировую историю в целом. В этом смысле она опять-таки скромнее в своих притязаниях и марксовой теории формаций (не говоря уж об историческом материализме в целом), и теории цивилизационных циклов Н. Данилевского — О. Шпенглера — А. Тойнби, и, скажем, теории стадий экономического роста У. Ростоу. Возможно, когда-нибудь возникнет такая общая теория исторического процесса, которая вберет в себя как «частные случаи» и идею конвергенции, и все, что ей предшествовало. Сейчас, в начале новой эпохи, когда человечество лишь начинает выстраивать философию и практику своего существования в условиях единого конвергентного мира, до этого, наверно, еще далеко. Но в своих хронологических и проблемно-тематических рамках рассматриваемая теория представляется глубоко содержательной и ничем не заменимой. Она работает, и работает хорошо.

Еще и сегодня порой приходится слышать от одних, что капитализм наконец-таки исчерпал свои прогрессивные возможности и находится в неразрешимом кризисе, от других — что для общего блага нужно окончательно похоронить социалистическую утопию. С позиций теории конвергенции подобные взгляды — дань представлениям вчерашнего дня. Они интересны в основном как симптом, указывающий на реальные противоречия современной действительности, но не более того. Реально же на пороге нового тысячелетия человечество видит себя в совершенно беспрецедентном состоянии, в начале такой полосы своей истории, где едва ли останется место каким бы то ни было цивилизациям и формациям, способным возникнуть и устаревать. Мир вступает в другую историю, отнюдь не бестревожную и не безопасную для него, но подчиняющуюся совсем иным закономерностям, нежели те, что до сих пор руководили его судьбой. Это поистине новый мир, хоть и перемешанный еще со старым. Жить и действовать в нем приходится по-новому — чем дальше, тем больше, чем раньше, тем лучше.



Олег ПАВЛОВ

---

## Метафизика русской прозы

### *Вопросы литературы безвременья*

О необходимости модернистской прививки, то есть обновления, дабы осовременить «русский дичок», говорить начали еще в шестидесятых годах. Тогда действительно складывалось в литературе новое пространство двух художественных мировоззрений. Сошлись писательские судьбы, обладавшие различным жизненным, духовным опытом. Общим же было время — и необходимость восстановления доверия к литературе, то есть необходимость самосознания. Одним из главных стало требование *всей* правды. Эту правду выстрадали в лагерных, военных, крестьянских мучениях. Она обладала огромной духовной силой. Она сделалась достоянием литературы, но не столько как исторический документ, сколько как новая образующая художественного строя — новое мировоззрение. Правда новой реалистической прозы была бунтом. Но от несогласия с жизнью уходят не только в бунт — уходят и в мечту. Собственно, в том состояло краткое послабление после разоблачения Сталина, что о свободе стало возможным мечтать.

Наше западничество всегда было от мечты, а мечта — от произвола. От Герцена до самой революции западники наши жаждали равенства и *обновления*. Но если дореволюционные «грезёры» мечтали о царстве равенства, то обновленцы шестидесятых грезили неравенством и свободой от каких бы то ни было идеологий; тяготели к западной культуре, к западному художественному опыту, но не на том основании, что были глубоко с ними знакомы, — то были только знаки, символы чего-то нового. Поэтому в литературном обновлении шестидесятых, у самих обновленцев, не было выношенного глубокого смысла, а только маска фантазии. И каковы бы ни были потом ее пестрые модернистские краски, однако их не хватало, чтобы скрыть пустоту. Пустота поглотила талант Гладилина. Поглотила и половину одного из лучших романов Василия Аксенова — «Ожог». И это те, на кого в шестидесятых годах возлагались особые надежды, кого считали зачинателями новой литературной эпохи!

Мечта без бунта привела в подполье целое поколение, у которого не оказалось своих правды, веры, убеждений. Бунтом не могут быть нигилизм и безверие, а именно они и завелись, как гнильца, в литературном подполье: в апокалипсисе семидесятых годов, после «пражской весны», с судебными расправами над литературой, с новыми гонениями, произволом и совсем уж беспросветным мраком «общественного состояния» была утрачена не столько социальная вера, уже избывшая себя после разоблачения сталинских злодеяний, сколько духовная — сама потребность в вере.

Плодом этого безверия, безвременья и стала *ироническая* литература. Она никогда в художественном отношении не была явлением цельным. Постмодернистские устремления в иронической литературе существуют наравне с реалистическими, а принадлежность к той или иной художественной концепции далека от самого творчества. Для этой литературы формообразующими свойствами обладает сама *ирония*, которая все, что есть высокого в человеке и в искусстве, разрушает, потому что иначе ей не на чем и нечем существовать. Разрушение — это ее единственное топливо. Сжигается же то, что уже создано чьей-то творческой волей, и в этом

смысле не создается ничего собственно нового. Само горение и продукты горения имеют необычайный художественный вид, о котором можно сказать: это все, что осталось от того-то или того-то.

Но продукт сгорания не делаешь топливом для эволюции литературы, назначение *иронии* в которой разве что хищническое — пожрать все сколько-нибудь ослабшее, захватить все худо лежащее. Все, что годится на растопку! Поэтому и существует ироническая литература под разными видами на жительство.

Под видом якобы реалистической: от Петрушевской и Валерия Попова до Юрия Козлова и Александра Бородыни. Под вывеской постмодернистской: от подзабытых Татьяны Толстой, Вячеслава Пьецуха до новейших Виктора Пелевина и Юрия Буйды. Однако художественный строй и в том, и в другом случае формирует *пародия* — пародия как принцип, как прием, как идея. Ей все подвластно, ей все годится. Но есть и излюбленные предметы, например, трагико-романтический пафос, штампы соцреализма, цитаты из русской классики. В процессе пожирания все эти предметы превращаются в анекдот — исторический, бытовой, философский, геополитический и т. п.

Основа классическая анекдота — небывальщина, фантазмагорическое превращение из серьезного в смешное. Анекдоты же иронической литературы усиливают в себе и другой элемент небывальщины, его-то и делая, по сути, новым, — оглушение жизни, что есть следствие внутреннего личного бессилия перед ней. Поэтому ложь и зло, сделавшись смешными, не перестают быть, становясь уже родом художественной энергии. Ирония лишается лирического своего начала, то есть лишается собственно *смешного*. Остается злая усмешка над самим человеком, цинизм, извращающий до неправдоподобия человеческое существо. Фантазмагория иронического свойства — это не только метаморфоза смешного и метаморфоза зла. Это еще и поэтизация насилия, произвола, которым живет заточенная в подполье мечта. Плен, бессилие — в жизни действительной и иллюзия свободы — в той, которую воображаешь.

Ирония — это произведение в произведении, одно из которых принадлежит перу самого Героя иронической литературы, этого «человека из подполья». Герой подполья с существующим миропорядком не согласен, но идти против него из-за бессилия не может. Это бессилие и становится его развлечением, развращающим душу и ум. Да, он страдает и разоблачает приносящий страдание мир, однако низость чувств, безверие лишают эти его страдания смысла. Разоблачение мира оказывается разоблачением самого себя. Потаенная извращенная умственная свобода оказывается не свободой духа, а пороком.

Идеи обновления являются, усиливаются в отсутствие истинного пространства и масштаба литературы, как бы в отсутствие духа и смысла, с утратой веры, исторической памяти, основания. Но разве не достаточно революции, сталинского геноцида, войн, разве мало было у нас общих всем мучений, чтобы почувствовать себя русскими людьми? Страдание, если оно одно на всех, обостряет национальное самосознание, усиливает в народе именно общее, то есть национальные черты. Страдальческий опыт — вот что фундаментализирует и питает наши национальные чувства. Мы обособились от мира, загородились от него своим страдальческим опытом. Литература же делит страдания со своим народом, наполняется его чертами, как бы воспалены они ни были. Социальные, общественные противоречия — это лишь поверхность неустроенности духовной. Она и есть настоящая национальная болезнь, постичь которую возможно, лишь проникнув в глубину народной души. Сказать, что опыт современный человеческий страшен, — значит ничего не сказать. Мы давно и незаметно перешагнули границу зла, за которой начало нового испытания, искупление содеянного. Но как цинизм совсем обезчеловечил ироническую литературу, так жестокость обезобразила современную реалистическую прозу. И она тоже становится бесчеловечной. Одни презрительно отказались от бытописания — и пишут бесчеловечно, потому что совесть свободному искусству не судья. Другие, под маской реалистической, с тем же презрительным неверием отвернулись от красоты и правды добра в человеке, потому что без них жестокость и делается художественно достоверней.

Русская же литература всегда жила тем, что писательство понималось как долг нравственный. Сначала воспамятование — правда, проникнутая историзмом. Затем движение — к правде социальной с ее напряжением страстей человеческих и судеб. После того все повороты и изгибы раскованны. Правда возжигает свет в человеке, в его бытии, которое делается поэтому осмысленным, но не хватает малого. В этом

малом — вечное борение человека. Рано или поздно, но требование правды превращается в такую же творческую потребность *познания*, постижения уже чего-то большего — Истины. Усталость межвременья проходит. Безмыслие и сосредоточенность литературы на самой себе возможны только как недолгая передышка. Потребность познания намного сильнее и человечней.

### *Современное художественное самосознание*

В лозунге «новой жизни — новое искусство», хоть он и звучал и еще может прозвучать не раз, по правде, нет ничего, кроме бунтарского обаяния. Анархизмы потому и звучат так громко, что есть в искусстве истинный порядок. Литература неустанно обновляется, но в этом обновлении нет ни революционности, ни надрыва. Сила художественного приема заключается в его неповторимости, которую он утрачивает, если пускается в литературный оборот. Именно это обстоятельство и питает творчество, требуя открывать совершенно неожиданные возможности. Являясь же по своей природе чисто творческим, вопрос о новой литературе, таким образом, никогда и не перестает быть насущным, оглаворя одну за одной вехи литературного движения. Путем художественной эволюции, то есть путем обновления, в будущее продолжается не что иное, как национальная художественная традиция.

Что такое традиция? Это не устав из раз и навсегда данных догматов; чтобы оставаться способной к продолжению и развитию, традиция произвольно раздвигает свои пределы, уместая в себе какое угодно множество самобытных творческих миров, но связанных воедино историческим родством с русской верой, культурой, наконец, с жизнью. Историческое тут значит то особое единение во времени, которое образует история. Так как единение это духовно и духовное, то и традицию я бы назвал духовной русской историей — и потому, будучи историчной или протяженной во времени, она ведет свой особый отсчет художественной эволюции: история и опыт литературы первоначальней, чем смена и борьба, то есть отдельно взятый художественный этап.

У нас же в восьмидесятых годах с ходу заговорили о некоем решительном перевороте в литературе. Но речь завелась даже не о реальных сдвигах, давно уж произошедших в литературном развитии, а о том, что литература якобы должна обновляться в самих своих художественных принципах. Требовалось уяснить истинное ее историческое положение — отделить продолжающееся по наследию, заимствованию или инерции от того, что только зарождается. Обсуждение вопроса о новой литературе должно было вестись опять же в историческом ключе: откуда продолжится русская литература в будущее, как соотносить это продолжение со всем предыдущим, отчасти разрозненным опытом советской эпохи. Однако начался все убыстряющийся отказ от опыта советской отечественной литературы. Иудиним поцелуем для советской литературы оказался соцреалистический метод. Вот она, проказа, — соцреализм! Чтобы избавиться от нее, запалим все, что с ней соприкасалось, — развенчаем, перечеркнем.

Как художественную природу этого метода исследовал Андрей Синявский в своей статье «Что такое соцреализм?», по звучанию которой потом настраивали голоски многие ниспровергатели. После этой и единомысленных с ней работ в советской литературе и не осталось ничего того, чем стоило бы дорожить.

Однако судьба советской литературы, хотим мы того или не хотим, соединена со всем предыдущим художественным опытом: отказываясь от соцреализма, мы на деле-то отказываемся от Шолохова, а не замечая «Тихого Дона», ударяем по русскому художественному реализму. Так и Синявский писал о соцреализме, но выводы делал неожиданно о другом: «Неужели все уроки, преподанные нам, пропали даром и мы в лучшем случае желаем лишь одного — вернуться к натуральной школе и критическому направлению?» Так что Синявский высказался именно против реализма. В самой своей работе он разделяет «потребность в правде» и «воображение»; воображение есть плоть изобразительности, равно как потребность в правде есть плоть реализма — и потому можно сказать, что Синявский отказывал реализму в изобразительной силе.

Однако Синявский не воспользовался дальше той формулой отрицания, которую произвел на свет, — воспользовались ей другие люди и в другом времени. Грянули когда-то и «Поминки по советской литературе».

Виктор Ерофеев писал уже прямо о реализме, развенчивая не Бабаевского с Фадеевым, а мастеров реалистической прозы, под деревенщиками же могли подразумеваться тогда и Шукшин, Астафьев, Овечкин или Федор Абрамов. Но, как ни удивительно, написанное им безнадежно опаздывало по своему смыслу. Если оглядеть литературу, идущую с шестидесятых годов по нашу пору, то главные книги все же были написаны, и наглядным становится, что совершилась и сама литература, хоть ее развитие было затруднено. Подлинная литературная борьба и шла в шестидесятых, семидесятых годах за применение образного, целостного и народного по духу языка и за применение языка перманентного; то же в борьбе за стиль, за пафос, литературного героя и прочее.

Примечательно, что Ерофеев как бы избегал действительности в своей статье. Мало того что сместил, подменил времена. Но ведь когда печатались «Поминки», тогда как раз в литературу приходили и возвращались, производя художественный да и обществственный взрыв, такие произведения, как «Жизнь и судьба», «Ночевала тучка золотая», «Верный Руслан», «Печальный детектив», «Факультет ненужных вещей»... Пожалуйста вам, реализм, советская литература, но ведь оказывается на глазах классикой! Какие тут еще «поминки», откуда?

И тут волей-неволей вспоминается Синявский, хоть писали один в восьмидесятых, а другой на пороге шестидесятых годов, точнее, в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом. Чем замечательна последняя дата? Тем, что Синявский как бы слыхом не слыхивал об Андрее Платонове, опять же — о Шолохове, зато все знает о соцреализме и соцреализме, призывая не совершать старых ошибок и открывать новые горизонты. А что же «Один день Ивана Денисовича», не ждали? И никак, никак нельзя было Платонова умолчать — того, кто написал «Котлован» и «Чевенгур».

Что же скрывалось за просроченным спором с реалистами? Уже отрицая реализм, Виктор Ерофеев в действительности-то выступал против национальной художественной традиции, а советская реалистическая литература, равно как и соцреализм в случае Синявского, послужили естественной опорой для удара, так как в переменившемся времени их ценность и оказывалась в тяжелом переходном состоянии, их легко было подвергнуть сомнению. Думается, Ерофеев еще и потому не отрицал традиции прямо, что нуждался в ней как в символе русской литературы и ее, если так можно выразиться, парадной показной форме, хоть по духу была изначально чуждой, поэтому и кроил с легкостью, как захочется.

Но вот когда спустя несколько лет литература наконец меняет свой традиционный облик и гримаску ироническую требует покрыть слоем бронзы, Ерофеев выступает со статьей «Русские цветы зла», своего рода вторым томом «Поминок по советской литературе». Достаточно выдержек, чтобы понять происшедшее. «В конце 80-х годов история советской литературы оборвалась. Причина ее смерти насильственна, внелитературна. Советская литература была оранжерейным цветком социалистической государственности. Как только в оранжерее перестали топить, цветок завял, потом засох». «Литература конца века исчерпала коллективистские возможности. Она уходит от общих ценностей к маргинальным, от канона к апокрифу, распадается на части». «В литературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, возникли новые запахи, это вонь. Все смердит: смерть, секс, старость, плохая пища, быт». «Есть две точки отсчета. Солженицын и Шаламов». «Русская литература конца XX века накопила огромное знание о зле. Мое поколение стало рупором зла, приняло его в себя, предоставило ему огромные возможности самовыражения. Это решение было подсознательным. Так получилось. Но так было нужно».

Андеграунд, новая волна, нонконформизм, вторая литературная действительность, другая проза, а то и просто — новая литература. Такими терминами нас пользовали, фаршировали, чтобы обозначить новые для литературы явления. Но и вместе они все равно не выражают никакого художественного понятия. Казалось, сами их изобретатели не знали, что же открывается нового, — и взывали к нашему воображению. Историзм происходившего перелома связывался с фактом освобождения, с художественной свободой. Новая литература и должна была явиться из-под этой свободы, как из-под земли, отсюда и «Дети Арбата» объявлялись новым романом, от противного. Но и первые шаги, с обсуждением того же Рыбакова, обнаруживали как раз пренебрежение историзмом литературного развития. Что это за новый роман многолетней давности — такого не могло по правде быть! Можно еще подумать, что смещение времен, безоглядность происходили по горячности, именно на первых шагах. На самом деле полемика о новой литературе с первых шагов заклю-

чала в себе «формулу отрицания», что подтверждается ее злокачеством. Во-первых, она пожрала собственно литературную критику и со временем мы уже ничего другого не читали, кроме как о будущем литературы. Демагогия обесмыслила саму идею критического исследования: писали кто хотел и что хотел, а критика теряла свою научность. Во-вторых, литература рассматривалась вне понятия эволюции; поначалу в неподвижной художественной системе просто пытались создать новую иерархию, но в конце концов вымучился образ нашего постмодернизма, совершенный и dokonченный плод нашего отрицания или — в другом случае — непонимания.

Наталья Иванова в бытность свою литобозревателем журнала «Столица», кажется, первой предположила, что будущее современной литературы — в разделении на высокий и низкий род. О высоком так и оставалось без объяснений. А из сказанного о низком возможно было понять, что этот род овеществлялся у нее англоязычным популярным романом; у нас помянула Бахыта Кенжеева, найдя схожесть. Под низким родом у Ивановой отчетливо подразумевалась литература завлекательная. Похожую мысль в то же время и в том же журнале развивал Сергей Чупринин, говоря о «нечитабельности» современной литературы и приводя обнадеживающие примеры, «Желток яйца» Аксенова и прочее, где бы писатели задавались целью преодолеть равнодушие публики. Чупринин усиливал свои доводы еще тем, что и Достоевский писал детективные романы, и Булгаков писал романы, так сказать, фантастические; ну, уже и возможно понять, что имелось в виду.

Бессмысленно было бы указывать лично Чупринину на то, что Достоевский писал все же психологические романы, равно как и Булгаков был автором поэтической по своему существу прозы, а не фантастики, — это хорошо ему известно. Дело тут в переустройстве понятий. Иначе сказать, завлекательность начала казаться с некоторых пор литературно значимой, а вот психологичность и поэтичность — нет.

Иванова и Чупринин — одни из тех, кто взялся раскачивать столпы советской литературы. Ударив по «генералам», по Марковым и Проскуриным, они и разрушили советскую иерархию, что понятным образом привело их к необходимости противопоставлять разрушенной новую, — вот и возвеличивался Рыбаков. Но советская иерархия — если не писателей, то художественных ценностей — была во многом и отечественной. Не позаботившись о ее преемственности, сохранении, послесоветская критика еще раз обнаружила, что эволюция, художественное развитие понимаются ею не иначе, как простая смена мест и понятий: якобы искусство подчиняется ходу истории. Поэтому заодно с пресловутыми «литературными генералами» неожиданно утратила свой былой дух и культурная среда. В этой новой среде добротный реалистический роман вязнет, утяжеленный грузом допотопных ценностей. И куда там нашей новой иерархии, бесполезный оказался труд. Явление художественного реализма даже вызывает у Ивановой удивление, когда она отзывается на роман Олега Ермакова: ей казалось, что на реализме уже была поставлена точка. А вот не удивление, но признание Чупринина («Советская литература» за 1990 год, самое время пришло): «Уходит мессианское планетарное имперское сознание, а вместе с ним уйдет и литература Больших Идей, литература Больших Задач. Привыкнув за долгие десятилетия, а возможно, и за столетия либо быть властительницей дум, либо по крайней мере претендовать на эту престижную роль, литература обречена на свыкание с гораздо более скромным уделом... Боюсь, в прошлом и традиционная «литературоцентричность» отечественной культуры, когда литература подлинно была «нашим всем». ...Теперь же она, похоже, станет только литературой. Не скажу, что я этому рад. Но... Такова реальность, и прятаться от нее опасно».

Так нам становится понятной, так сказать, личная драма послесоветской критики. И мы уже понимаем, откуда вдруг выныривает этот «низкий род»: бурное саморазвитие развлекательных жанров, существующих опять же вне понятия художественной эволюции, же собой увлекло и наших героев.

Завлекательность же, как пародия на советский пафос, но и на глубину общерусской художественной традиции, уже давно стала содержанием иронической литературы — обновленчества, вчерашнего андеграунда и сегодняшней новой волны. Дух иронической литературы и соц-арта, их сущность, и вложили в понятие постмодернизма, назвавшись постмодернистами. Сам же постмодернизм был заимствован как форма отрицания, которая имела более современный вид, чем андеграунд. К тому же заявлялась общность с «мировой» культурой постмодернизма и возможно было еще создать видимость художественной эволюции, немного поборовшись на

публике с реализмом и сменив его, что характерно, скажем, для Виктора Ерофеева. Но приходилось узаконивать завлекательность, даже провозглашать ее, поэтому Петр Вайль высказывается еще обширней, чем это позволяют себе Иванова и Чупринин, — что XX век сделал сомнительным всякое художественное творчество, а отождествляемый с идеологией вымысел сделал ложью, и поэтому осваиваться будут развлекательные жанры, которые до того в русской литературе получили слабое развитие.

В новоявлениях, которые все легко приноровились к понятию постмодернизма, действительным было насаждение вообще нового типа литературы — беллетристики, лишенной притяжения русской классики и тех требований, которые ею давались.

Точнее всего суть этого переустройства запечатлелась в словах Синявского: «Я возлагаю надежды на искусство фантазмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания». Что ж, это правда: фантазмагория с гротеском присутствуют и у Гоголя, и у Достоевского... Однако требуется еще именно общность духовной цели, чтобы вписаться в единую с ними традицию подобного фантазмагорического изображения. Иначе это будет только игра. Беспочвенность литературной игры преодолели Битов, Саша Соколов, но чтобы преодолеть, надо еще творческую тягу иметь к преодолению. Многие художники как раз саморазрушились, подчинившись стихии словесной и образной игры.

Андрей Платонов писал, что искусство в самом себе равносильно его уничтожению. Он считал необходимым, чтобы «художественная аргументация» служила «общественной идее», как он изъяснялся. Но положение «искусство в самом себе» справедливо и тогда, когда художественный прием оказывается вне связи с национальной средой. То, что Синявский называл бытописанием и от чего призывал отказаться во имя необычайности изобразительных средств, имеет самое простое выражение: живописуются человеческие характер, жите, быт, которые не извлечешь из мировой суши. В конце концов это изображается русская жизнь и языком, который из ее же глины вылепился.

Понятия и дух живой речи не требуют обработки, они существуют изустно. Литературе ее в таком, первородном, образе не передать, и потому уже можно утверждать, что язык обладает свойством жизненного материала. При переносе на бумагу его требуется преодолеть, как бы оживить — организовать заново и таким способом, чтобы литературе передался его нерв. Так рождается литературный стиль: выражение материала, обобщение, подобное образному. Следом, следующим творческим порывом уже организуется заново жизненный материал как таковой и происходит рождение литературного жанра. Но что родится, если при всем при том мы будем иметь дело «взамен» с материалом безжизненным? Овладение безжизненным материалом, в котором нет самобытности, то есть народности, без личной к нему сопричастности, то есть опытности, — это и — опять обратимся к Платонову — означает написать произведение «в духе жанра», которым овладеешь настолько, что «из жанра можно сделать уже механизм». Таковая механизация жанра не может иметь литературного значения, сколько бы нас в том ни убеждали. Это как раз скатывание в завлекательность и на задворки литературы, но не становление механизированных завлекательных жанров в ее основании. С языком же еще явственней: его отрыв от национальной среды или вызван подражанием чуждым литературным канонам, или прямо к ним приводит. И неужто подражательство имеет большое литературное значение? Да ведь грустно и подумать!

Язык вырождается, становясь безжизненным, но и бессодержательным материалом. И удивительно читать, когда слабодушную прозу оправдывают неким стилистическим изыском. Сомнительной кажется сама сила такого изыска. Кривлянье языка сродни простому графоманству. Для силы же требуются еще и этическое напряжение, взыскание природных закладов и обращенность в свою культуру, а не в чужую. Это горькая, горькая правда: мы позволили проникнуть в литературу, этак под шумок, прозе среднего уровня, вполнину ремесленной, вполнину графоманской. Придание литературного значения всякого рода выпячиваниям открыло дорогу вообще людям малоталантливым.

Выделяли художественный эксперимент, якобы свободный творческий поиск, что противно самой природе таланта, которому свойственно не искать, а находить. Это дар, он и дается художнику свыше — совершать открытие. А те, кто слепо тычется по углам, экспериментирует, быть может, потому и сколачиваются в группки,

чтобы их творчество осмыслилось, становясь похожими уже больше на заговорщиков.

Посыл такой же беспомощный — это свобода творчества. Что это были за люди, которые боролись за творческую свободу, которые страдали от ее якобы отсутствия? Страдали от отсутствия ее в себе, боролись сами с собой? Свобода опять же органически входит в талант, в его природу, и волю писательскую может сковать только личное малодушие, страх. Теперь у нас пеняют на общественную цензуру, что душит свободу творчества, говорят о вырождении гуманизма.

Но как бы ни запутывался этот вопрос, а все ведь просто: нам навязывается хаос, царящий в собственной душе и не имеющий ничего общего с сущностью философии или искусства. Ведь литература решает вопрос противостояния добра и зла иным способом, чем философия или эстетика, — душевностью, потому что в ней велико значение именно человеческой души и ее способности противостояния, преодоления, которые тем сильнее, чем мучительней для самого художника этот вопрос. И при чем тут крах гуманизма, хоть бы и произошел он в философии, если художник найдет в себе силу одолеть то жизненное зло, которое изображает. Иначе сказать, если зло поглощает художника или если он не находит выхода из разрушительных духовных состояний, то налицо его личное бессилие и он сам делается жертвой, то есть разрушается. Человеческое бытие изначально трагично перед образом смерти, и поэтому есть нечто бесчеловечное в самом таланте, который не несет на себе трагического, если хотите, высокого, отпечатка. Требовать для искусства свободы от человека и равносильно его уничтожению: «Нет ничего легче, как низвести человека до уровня, до механики животного, потому что он из него произошел. Нет ничего необходимей, как вывести человека из его низшего состояния, в этом — всё усилие культуры, истории...»

К мыслям Андрея Платонова мы обращаемся не ради красивой цитаты. Русская классика — это ведь не пантеон или собрание застывших в своем совершенстве мыслей, книг; она обеспечивает своей цельностью ценность русской художественной традиции, делает ее живой, способной к развитию, но не позволяет художественному развиваться в ущерб духовному, и наоборот — накопление опыта и не может произойти без этого взаимопроникновения. Явление беллетристики само по себе не подменяет классический тип литературы, но у нее всегда было свое место, свой шесток. Сказать иначе, для нее и не оставалось никакого другого места. Но вот если классика, ее цельность утрачиваются, если следует остановка в развитии, тогда все распадается на затухающие художественные фрагменты, выпускает дух — и беллетристика становится типом литературы в оскудевшей культурной среде. Русская же культурная среда, напротив, в высшей степени обогащенная, насыщенная. Поэтому новый тип литературы и насаждается в эту живую среду не иначе как переустройством ее понятий, ценностей и, как мы теперь наблюдаем, через уценку национального значения языка. Преобразование культурной среды есть деятельность просвещения.

Так мы открываем для себя двигатель современных событий, за которыми скрывалось преобразование самого русского культурного типа, равносильное его отрицанию.

Исторический и духовный феномен просвещения всерьез у нас почти не обсуждался. Есть раздробленные по воле исторические и культурные факты с уже сложившимся к ним отношением. Крещение Руси, русский церковный раскол, петровская реформация, славянофильство и западничество и тому подобное, но нет связи событий и понимания, что образуется некое общее, никогда не прерывавшееся пространство. Это пространство, как метафизическое, существует сопротивлением русской самобытности и борьбой за эту самобытность; от крещения Руси и столкновения с византийским просвещением до последней социальной реформации, но-вообращения России в капитализм, и современного проамериканского просвещения. Но дух борьбы, русская самобытность еще самовыражаются во времени. Славянофильство и западничество — это наиболее поздние и современные нам формы борьбы за самобытность. В шестнадцатом или семнадцатом веке нашей истории она имела форму иную, ереси и благочестия, но такую же временную в сравнении с самой метафизикой борьбы.

То, что у нас понималось в советское время под «пропагандой», на деле выросло только из идеологических целей и средств. Воспитательный социалистический метод, глубина его проникновения в жизнь могут сравниться лишь с деятельно-

стью просвещения, что и было: советское просвещение. Мы знаем о явлении «Нового мира» в том времени, о явлении альманахов «Метрополь» и «Вече», последний получил известность меньшую, но участие Венедикта Ерофеева и Леонида Бородин делает его событием такого же масштаба; знаем и «Наш современник», когда в нем печатались Нагибин и Астафьев, а журнал имел подлинный отечественный образ. Столкновение с советским просвещением тут было борьбой за самобытность. Но была ли общность борьбы? Ее, что очень важно, как раз и не было. Национальное и прозападное мировоззрение расходились между собой не меньше, если не больше. В этом смысле «Поминки по советской литературе» и были просроченной статьей, потому что этот виток борьбы за самобытность происходил уже в недрах советской эпохи, в семидесятых годах.

Виктор Ерофеев, начиная отсчет своей «литературы зла» с «точки» Шаламова, выдавал желаемое за действительное. «Зло самовыразилось», — пишет Ерофеев. Но вот речь самого Шаламова, из предисловия к «Колымским рассказам»: «В «КР» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра, если брать вопрос в большом плане, в плане искусства. Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски, при том же самом художественном принципе». То же правдоподобие для Шаламова — выстраданное, и тут усиливается его мысль о преодолении: «А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ — документ об авторе, — и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в «КР» победу добра, а не зла». И вот в «Письме к другу», которым Шаламов откликнулся на судебный процесс над Даниэлем и Синявским, этот незримый спор заканчивается словами: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой». Правдоподобие, как мы видим, тяготило совсем других и не имело для них художественной ценности, как и бытописание. Они скорее заражаются западным опытом, свободой художественного творчества, не скванной нравственным трудом, но получается поглощенная злом литература, по определению Ерофеева, «психопатологическая — маргинально-сексуальная — сатанистская» с грубой иронической, то есть анекдотической, художественностью.

Вот тут приходит время возразить Петру Вайлю, что он просчитался и ту задачу, решение которой он только возлагает на литературу новой формации, давным-давно уж решили. Но не об абстрактном двадцатом веке речь. Осмысливая свое время, Варлам Шаламов писал («О прозе»): «Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано». Речь идет о том, что Шаламов художественный вымысел вообще воспринимает как ложь, даже без отождествления с идеологией — из условия Вайля. Он выражает в чем-то крайний взгляд, но в требовании от искусства правды перекликается с Солженицыным, с его «требованием всей правды».

Опыт «художественного исследования» называет Солженицын свой «Архипелаг ГУЛАГ», и Шаламов пишет о «Колымских рассказах» как о «художественном исследовании лагерной темы». То, что называлось в советской критике «городской прозой», определяется мыслью Юрия Трифонова: жизненный опыт в конечном счете гораздо богаче вымышленных художественных сюжетов, над которыми приходится биться, тогда как жизнь давно успела их опередить и предвосхитить.

Так что закавычила советская критика эти самые опыты, учуяла жареное — «авторская проза», «личный жанр», — да вот не обожглась. Их называли второй волной лирической прозы в послевоенной литературе, биографическим жанром, документальной прозой — книги, композиционная свобода которых давала вбирать в себя поток жизни, воспоминание, личные размышления, документ; на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов — «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Капли росы» и «Владимирские проселки» Солоухина, путевая проза Гранина, Конецкого, Битова; шестидесятые и семидесятые — «Опрокинутый дом» и «Отблеск костра» Юрия Трифонова, «Зрячий посох» Астафьева, «Сороковой день» Крупина... А в тайниках литературы — мемориал великих лагерных книг; литература духовного сопротивления — «Литературные записи действительных событий» Даниэля, «Белая книга» Алика Гинзбурга, традиция документальных сборников о политических процессах; Литвинов и Горбаневская — их сборник о процессах Буковского и Хвостова; традиция открытых публицистических писем как новый жанр политической прозы, «Процесс исключения» Л. Чуковской, «Бодался теленок с дубом» Солженицына, чистопольская проза Анатолия Марченко. Когда Ерофеев, пользуясь своей



тщедушной славой героя метропольского литературного заговора, справлял поминки по еще живым русским писателям, Анатолий Марченко и вправду угасал, умирал в чистопольской тюрьме, откуда родом и были его книги, не снимая объявленной за освобождение всех узников совести святой своей голодовки. Сахаров уже был на свободе, уже началась другая эпоха!

То, что художественный конфликт семидесятых исчерпался и литература этого времени совершилась, должно перестать наконец быть тайной. В нашем времени продолжается только идейная, мировоззренческая борьба. Ведь и полемика о новой литературе была почти всегда односторонней, писал тот же Ерофеев, а в ответ только глухо молчали. Одна половина литературы самоустранилась так быстро и так неожиданно, что вокруг и не опомнились. Неучастие в полемике о новой литературе было поступком — уходом от ставшей чуждой литературной действительности, подобным тому, как стали отрицать и переменившуюся жизнь.

Русский вопрос тем самым был нагнетен до своей крайности, расколол на партии писателей, стоящие за их именами журналы, обезобразив литературную да и общественную жизнь. Вот в этом было различие с прежним временем — всеобщим сделалось отрицание; с одной стороны, русской действительности, с другой — русской самобытности.

О последнем писалось уже достаточно подробно, но важно понимать, что и подражание народности равносильно только жалкой пародии. В действительности все по-настоящему самобытное кроется под поверхностью народного быта — оно плоть, а не кожих. Изобразить живое, а не упереться в него или слиться с ним возможно только тогда, когда оно берется не сглаженным во всех своих противоречиях. Так, русский быт у Венедикта Ерофеева и его пропойцы гораздо народнее, чем Микула в узористых стихах Викулова. То же с подражанием народному образу мысли, с подменой житейской мудрости русской кашей, с благоветием, которое совершается у нас на кликушечий лад и с воспеванием прелестей патриархального уклада.

Подражание это питается из идеи русского Возрождения, изначально безнадежной. Насколько живо то прошлое, те традиции, которые вознамериваются возрождать? Если что-то в самом народе питает их силу, то и нечего тогда возрождать. Если нет — стало быть, они как раз отжили, а сложилась иная по своей сути действительность, жизнь, и поэтому идея Возрождения оказывается опять раскольничеством — с восстанием против жизни до самосожжения и ухода в мертвую глушь. Для больших писателей, таких, как Распутин или Белов, это восстание есть завершение их громадной личной темы. Писали они о трагедии столкновения крестьянского мира с цивилизацией, еще шире — это была тема об уничтожении человека. Но то предчувствие конца жизни было искупляющим, сам же конец лишен и духовного смысла, и нравственной сущности. Большими же писателями создается традиция подобного отрицания жизни, в которой тонут, утрачивают самобытность все те, кто своей «Матёры» и своего «Привычного дела» пока не написал, да уже и напишет ли?

Все архаическое в современной исторической действительности вырождается, ничего в ней не меняя. А бороться за самобытность остаются те, кто способен преобразовать ее, осовременить; подлинная, историчная в своей традиции литература оказывается в том положении, когда для сохранения типа русской классической литературы требуется еще большая цельность, чем лишь цельность художественного развития — это уже есть потребность в национальной самобытности.

### *Просвещение как исторический и духовный феномен*

Дух русской литературы явился не с гением Пушкина, а создан давным-давно, в веках, и это именно дух. Содержание новейшей культуры и было обеднено тем, что весь предыдущий опыт русского искусства в ней не был воспринят как собственное художественный, а частью остался безвестным. По этим двум причинам знакомство с ним начиналось и заканчивалось на писаниях Симеона Полоцкого даже в Царскосельском лицее, этом светоче просвещения, и вот сам Пушкин писал: «Словесность наша, кажется, не старше Ломоносова». Между тем о словесности нашей вплоть и до наших дней высказываются с той лишь разницей, что она «не старше Пушкина».

Но мало сказать, что обедняется содержание культуры новейшей: утрачивает свою жизненность, превращается в эдакий допотопный реликт и отчужденный от

нас опыт русской духовной культуры. Во-первых, следует полагать, что новейшая культура с этим опытом не имела никакой связи, то есть ей присваивается временная сущность. Во-вторых, следует, что и сущность русского искусства была временной и что оно не обладало самобытностью, жизненностью, если не внесло никакого вклада в тот самый золотой век и даже не создало удобренной, отнюдь не истощенной почвы.

Русское искусство извлекалось из небытия, и уже в наше время было вполне оценено все его художественное разнообразие и богатство, но вот что происходило: чем явственней делался великий этот опыт, тем больше завывались плоды петровского, европейского просвещения и значение новейшей словесности, разумеется, начатой «от Пушкина».

Такое размежевание выразилось и в новейшей культурной идее двух веков, Золотого и Серебряного, в которых происходило воплощение тех мировоззрений, ценностей, настроений, что были заронены в пору европейского просвещения. Гений Пушкина велик, громаден, однако он и мал как начало этих веков или даже их итог. Это походило на то, будто воспитанное в блестящей европейской среде дитя не хотело признавать своей темной, дремучей матери. И если в началах европейского просвещения России это отречение и происходило из незнания и трагической оторванности нового русского дворянства от своих корней, то в последующем сближения между старейшей и новейшей ее половинами не могло произойти потому, что за два века сложилась такая беспочвенная, усеченная в своих понятиях духовная среда, которая уже только наращивала мощь отчуждения, отречения, отрицания.

С другой стороны, почти сломлен был тот общий взгляд на русскую поэзию в части «пушкинской плеяды» и прочего, когда вся она представлялась отраженной от Пушкина да и мерилась по нему, как по аршину. И как ни удивительно, но затворы русской литературы не распахнулись, а, напротив, сделались еще глуше и крепче, ибо поскольку укрупнялся взгляд на Пушкина, постольку укрупнялась и его эпоха. В этой эпохе делалась еще историчней сама личность Пушкина, а прямо за тем вырастало, бронзовело ее историческое значение — это строительство национальной культуры. Скажем полней: русской европейской, которой, как считается, гений Пушкина будто б внушил национальный дух и характер.

Стало быть, суть вовсе даже не во взгляде на Пушкина и не в том, насколько открыто и понято русское духовное богатство, но в чем же тогда? Имя Пушкина — это вечный знак, призванный указывать на рождение национальной культуры, какой высоты якобы не достигает за всю свою историю русская духовная культура, народная по своему происхождению или же церковная; потому не достигает, что рождение национальной культуры возможно только в слитной, целостной духовной среде, у народа просвещенного, с открывшейся жаждой к познанию — человека, окружающей его природы, истоков нравственного чувства. В эпохе европейского — или петровского — просвещения у нас и усматривается образование таковой духовной среды.

Греческое просвещение не обсуждается всерьез. Учение у греков не кажется нам основательным, потому что школьное образование и научная деятельность на Руси вовсе не привились. Факт этот исторический невозможно опровергнуть, но дело в том, что самая бесспорность его ровным счетом ничего не доказывает. Самобытная Русь разочаровывает нас потому, что мы так и не находим в ней подобия Византии. А этого подобия и не могло быть: просвещение происходило другим путем, сокровенным и сложным. Вопрос просвещения был вопросом творчества и веры русского народа, а не преємства или обретения знаний, с их «содержанием сотворенного» и «застывшей верой-сомнением».

Как это ни парадоксально, но именно первобытность делала славянскую языческую культуру восприимчивой к просвещению; будучи только народной, она не замыкалась в круге неких обобщенных, осмысленных интересов, которые еще и не могли в ней возникнуть. Восприимчивость к просвещению, как следствие культурной первобытности, усиливалась еще развитостью стихийного народного творчества, что и понятно: чем развитей народная культура, тем способней оказывается она воспринять нечто более высокое и более ценное.

Но, с другой стороны, мы наблюдаем опять же парадоксальный поворот смыслов. Развитость народной культуры означает прежде всего наличие уже сложившихся, развитых в творческом отношении традиций. Эти сильные своим духом традиции, эта самобытность, уже-то усложняли на следующем витке восприятие христианских ценностей, греческой образованности: оно происходило во внутреннем, скажем, экзистенциальном, сопротивлении. Что это означает? Значит, что отчуж-

далось многое из того, что не отвечало духовному существу этих традиций — наперевес этому чуждому происходило творение своих ценностей, углубление своих знаний. В ходе просвещения развитые славянские языческие традиции столкнулись с новой духовной ценностью христианства, но воспринято уже могло быть только то, что естественным бы образом в них вживалось.

Духовными основами славянских традиций были язычество и особое понимание судьбы, не предрешенной и извечной, а переменчивой, временной. Во взаимопроникновении со славянским язычеством оказывался дух античности, занесенный именно греческим просвещением. И это взаимопроникновение понятно, оно подразумевается самим сходством языческого быта у древних греков и славян. Однако сходны были только формы языческого быта, а по духу они прямо расходились: дух античного язычества был фатальным, а славянского — переменчивым, временным, сообразно с пониманием судьбы. И тогда что могло их сроднить? Сроднило их христианство, насаждаемое в славянский языческий мир. Открытого сопротивления насаждению христианства за собой не повлекло, Русь крестилась. Мы можем говорить о метафизическом, подспудном сопротивлении его духу, которое и родило внутреннее единство славянского с античным. Язычество — это верование, а потому христианство с его точки зрения было безверием. Скрыто, внутренне противостоя акт крещения, «хрестьянскому неверию», это первобытное верование взамен старого духовного существа обретало новое, но уже более сложное, совершенное: не слияние человека с природой, а выделение из нее собственной природы (личности) и обращение к тому, что есть в ней вечного (божественного). Как следствие, силы природы и сама природа уже не обожествлялись, а очеловечивались, что рождало трагическое мироощущение, близкое по своей сути к христианскому, но являющееся все же языческим, античным.

Греческое просвещение обернулось творческой борьбой за культурную самобытность. И потом происходило творение своих ценностей, наперевес чуждым. Духовное существо традиций, вставших, казалось, преградой на пути просвещения, само становится совершенным; во внутреннем сопротивлении родился уже национальный дух, греческое просвещение поглотилось не народным невежеством, а было рассеяно национальными интересами, которые и выявились в ходе этого духовного усложнения первобытных культурных традиций. Отсюда явление усложненной русской духовности с ее жаждой святости и праведности, доходящими до отрицания действительности. Отсюда явление идеи или, лучше сказать, идеала самообразования, в котором запечатлелась сила русского духа и о чем так могуче сказал Авакум: «Понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет». Отсюда и идеал русской веры, идеал святой Троицы, запечатленный в творении Андрея Рублева.

Внутреннее сопротивление языческой Руси духу христианства сроднило славянское с античным. Когда же русская самобытность столкнулась в эпоху петровского просвещения с европейскими ценностями, то выделила из нее ренессансный дух, такой же эллинский по своему существу, но сам рационализм европейской культуры был в ходе духовного усложнения изжит, отвергнут. Тут ответ и на то, почему не привились на Руси школьное образование и научная деятельность, а только одна простая грамотность, которая никак не могла и не обеспечивала накопления, развития научного опыта, распространения прикладных технических знаний; ведь все упомянутые области, научные или близкие к науке, являются общечеловеческими, и их усложненным экзистенциальным образом и невозможно воспринять. Иначе сказать, невозможно выделить самобытное, национальное из того, что по своей сути таковым не является. Насаждение знаний именно в этих областях и происходило в петровскую эпоху. Потому и насаждалось не просвещение, а круг реформ, призванных поднять Россию на все тот же общечеловеческий международный уровень развития науки, инженерии, управления государством, хозяйствования. Вся эта реформация, само собой, сопровождалась усилением духовного европейского влияния.

В борьбе за самобытность на протяжении веков общинный дух народа превратился в национальный, а на новом же витке этой борьбы, в эпоху петровских преобразований, из его усиленных, воспаленных черт выделились общечеловеческие, планетарные. Из обособленной и национальной русская культура превратилась во всемирную, однако не утерев своего самобытного духа. Таковая двойственность, когда общечеловеческое и самобытное оказалось заключенным в одну культурную форму, обрела свое полнейшее воплощение в идее русского духовного призвания — в русской Идее и мессианском существе новейшей русской культуры. «Из мертвееющей, пропахшей трупами России вырастает новая, венчающая человечество и кончающая его *цивилизация* — штурм вселенной, вместо прежнего штурма человека

человеком — симфонии сознания...» — провозглашал последний ее пророк, Андрей Платонов.

Энергией нашей духовной культуры сделалось сопротивление. Но этой энергии сопротивления требуется слишком много, вплоть до непрерывного напряжения, чтобы во что бы то ни стало сохранить русскую самобытность. Это противоречие из рода тех, которые рождаются отрицанием и являются неразрешимыми, безысходными. Русская самобытность состарилась, ей тысяча лет, но на их-то протяжении она остается младенческой, в том-то смысле и пушкинской.

Диалектика культурного развития сплетается тесно и с диалектикой развития исторического. История никогда не стоит на месте, но текучесть ее становится очевидной в событиях того масштаба, которые так или иначе сказываются на человеческом бытии. В исторической практике европейских народов события такого масштаба происходили в единстве с законами общественного развития. Иначе сказать, в них присутствовала историческая целесообразность, и при всей глубине изменений человеческое бытие перетекало как бы из одной реальности в другую и так же гладко видоизменялся в своей сущности национальный быт. Особенность русского исторического развития заключается в том, что потребность в социальной реформации возникала из-за значительного отставания в общечеловеческих областях, но общечеловеческое шире и условней опыта народного. Когда социальная реформация насаждалась в русский мир, тогда он, напротив, утрачивал опору и приходил в шаткое мучительное положение.

Будучи противоестественным, преобразовательство облекалось поневоле в деспотические формы — тотальной власти, террора, государственной бюрократии, отчего подлинного обновления тем больше не могло произойти. Потому сами преобразования ни к чему, кроме усиления деспотических этих форм, не приводят. Человеку надо разрешить самому делать свой выбор, образовываться и дать в том свободу, а его принуждают к новому, пускай и прогрессивному, положению вещей силой, все одно что запрещая и мордуя, воспитывая в нем не иначе как раба. Подлинного обновления духовного произойти насильственным путем не может, «страх закрепощает невежество и пороки, а не избавляет от них». Борьба за преобразование жизни сосредотачивается на вещественных символах и на абстрактных идеях, лозунгах.

Это безысходный круг. Деспотия встает на пути самобытного национального развития, отчего не могут пробиться даже его ростки; отчего сама потребность в развитии лишается национальной сущности, а осознаться начинает именно как потребность в реформации, то есть на чужом примере и внедрением в национальный уклад того, что ему чуждо. В итоге есть Россия, лишенная целесообразности и соразмерности исторического развития. Есть русская самобытность и ее духовное сопротивление как национальная сущность. И есть вечная деспотия, чередующая эпохи террора с эпохами глухой дремоты, давно утратившая национальные черты и ставшая именно «общечеловеческой», с которой свыкса за века русский народ и которая стала под конец двадцатого века чуть не единственной исторической перспективой.

Таким образом, с пробуждением истории в переходном состоянии оказывается не что иное, как наша национальная сущность, а вопросом современной культуры становится ее самобытность. Национальное не значит самобытное, как и не уподобляется тому, что есть народное. И это не игра смыслами, это как раз то сущностное различие, которое очень на многое влияет и которое поэтому важно определить. Национальное — это слитная, целостная духовная среда, которая невозможна без просвещенности, то есть без жажды к познанию, к совершенствованию. Народное всеми этими качествами не обладает, но оно изначально наделено той самобытностью, той жизненной опытностью, которых нельзя достичь путем совершенствования, то есть путем познания. Национальная самобытность — это достижение той сокровенной высоты, когда существо народной жизни воплощается в духовных образах, а сами эти образы становятся ответом на искания «народной души» и высокой, хранимой ценностью. Но отчуждение от нее, отчуждение вообще от народной среды рождает тот разрушительный тип национальной самосознания, для которого свойственно впитывать и воспринимать как свое чужеродное; а в конечном — не воспринять и преобразить, а устранить, подменить народное, самобытное.

В том наша историческая трагедия, трагедия просвещения, что реформация, совершаемая в России всегда именно просвещенным слоем нации, но и отчужденным от народа, совершается ценой уничтожения исторической памяти народа и физического истощения его сил не потому, что таковые громадные человеческие и духовные потери неизбежны, а потому, что неизбежна та чуждость к народу и народ-

ному, что питает этот просвещенный слой. Эмигрантство западников, славянофильское сектанство — оборотные стороны одной и той же духовной узости. Говоря по Достоевскому, словами его героя Шатова из «Бесов», славянофилом, равно как и западником, становятся у нас «по невозможности быть русским».

Реформация и Просвещение следуют друг за другом, неотделимы одна от другого: удовлетворение нужд государства, достижение целей государственных невозможно и без подъема культурного развития. Это проблема историческая, рожденная несоразмерностью развития именно исторического и встававшая в разные эпохи перед народами больших природных пространств. Изменение в пространстве не есть изменение во времени, не есть изменение по существу — и потому-то начинает требовать нового существа. Однако знания, даже технические, усваиваются наравне и во взаимопроникновении с языком.

Скажем, в пространстве евразийском тот же путь реформации и просвещения прошли вовсе не родственные и немилые нам монголы — с новорожденной за полвека государственностью, с расширением невероятным за полвека поля жизнедеятельности, притом у монголов не было своей письменности. Выбор, совершенный в этом отношении Чингисханом, был по своей природе подобным выбору, какой совершал Владимир Святый в эпоху крещения. Чингисхан мог воспользоваться для этой цели находившимися в пределах его досягаемости китайской письменной цивилизацией и уйгурской, которой и было отдано предпочтение как близкой по духу кочевникам.

Письменность, язык, как бы архаичны ни были эти примеры, всегда оказываются тем главным, тем сущностным, что заключают в себе и механизм, и диалектика просвещения. Тут мы говорим уже не про обретение первобытное письменности или веры, а про то, что всякое изменение, существенное в культурном развитии, есть прежде всего преобразование языковой национальной среды, в которую внедряется новый чужеродный язык знания, влекущий за собой новые чужеродные образы культуры и быта, смену национального «культурного типа» (определение Н. Данилевского). Культура — это материал еще и в том смысле, что заключается в форму, имеет свою форму. Разрушительно не вхождение в национальную культурную среду чего-то из чужого образа жизни и чужой культуры, потому что будет оно усвоено и освоено, оказываясь в ней воспользованным, нужным, удобным; но разрушительно преобразование исторических форм бытования культуры, построение культуры на формах внеисторических, внетиповых, потому что тогда прекращается сама наша история.

Утрата среды языковой, растворение ее и уничтожение в языке знания разрушительны еще и потому, что утрачивается национальная культурно-языковая общность — сила этого рода разрушения медлительней, незримей, схожа с распадом атомов. Реформация совершается самым сильным социальным классом или слоем, который можно назвать и просто господствующим, господским. Усвоение языка знания, иных обычаев отрывает господский слой от своего народа, от слоев низовых, простонародья, рождая особое национальное состояние, о котором уже велась речь выше, состояние просвещения.

Тогда в состоянии этом из просвещенного слоя нации, охваченного так или иначе просвещением, выделяется уже культурный класс — такая новая общность, которая образуется из осознания национальных культурных интересов. Этот класс также оказывается чуждым народу, хотя не чуждается народа. Достаточно вспомнить Аввакума, Ивана Неронова и подобного духовного склада ревнителей веры, очутившихся как бы между двух огней, оторвавшихся от народа, но так и не слившихся со слоем господским своего времени. Культурный класс уже вследствие борьбы за самобытность и активного духовного сопротивления делается в истории социальной силой, или, сказать иначе, идеал самобытности порождает «духов революции» и воплощается, замыкается уже в разрушительной роковой идее борьбы; энергия духовной борьбы ревнителей веры — в расколе и раскольниках; старое русское дворянство с его энергией духовного противления духу петровской эпохи — в движении декабристов; интеллигенция дворянская, разночинцы, научные марксисты — в большевизме.

Однако в том общий наш исторический подвиг как народа, что так же неудержим всегда обратный порыв к утраченной цельности, велика и неизбежна сила любви к погибшей родине, а из напряжения народной души — напряжения неимоверного любви, страха, страдания — рождается блаженный русский гений, являясь с миром, заступаясь за погубленное и погубленных, связуя воедино, казалось, бесвязные уж обрывки нашей речи, нашей истории.

Внутри с трудом обретаемой общности русского мира сильно, существенно внутреннее напряжение разных жизненных пластов, традиций, как бы всех атомов национального мировоззрения, и это напряжение, схожее с напряжением взаимоотталкивающих энергетических полей, питает сами эти разнообразные духовные национальные силы, а русское по духу, по мысли, по образу, по самобытности рождается уже в самых стыках этих полей.

### *О реалистическом духе*

В понятии реалистического духа, казалось бы, нет ничего неожиданного. Возможно сказать, что реалистический дух существует в литературе постольку, поскольку существует реализм с его художественными приемами, эстетикой. Этот реализм, понимаемый как школа или метод, существует в художественной практике уже больше ста лет, а литературная теория, начиная с Белинского, сделала такой реализм фундаментом для своих построений в стремлении «законами духа объяснить и явления духа». Творцом «реальной поэзии» предстает то ли Пушкин, преодолевший элегический стиль в «Евгений Онегине», то ли Гоголь, выведший в «Мертвых душах» типическое изображение, однако постановка даже такого вопроса, о первоначалах, давно лишилась смысла, потому что реализм заключается в теоретических границах и вся творческая работа по переосмыслению реалистического опыта в пределах этих теоретических границ лишается исторической перспективы.

Догмат реализма задавал и продолжает задавать литературе и обратный отсчет. Этот догмат очень ярко выразился в знаменитой формуле Замятина, что у русской литературы осталось только ее прошлое; прошлое, которое достигает совершенства как бы само по себе и возрастает в этом чистом бездвижном совершенстве громадной живой народной души, жизненного народного опыта. Но есть ли «реализм» в том, что дышит духом истины?

Коренной вопрос реализма — вопрос о достоверности изображаемого. Сказать точнее, даже не вопрос, а требование, если изъясняться языком «метода». Изображение действительности в ее реальных формах — это художественный принцип, созданный из требования достоверности. Однако русская проза куда сложнее в своем устройстве, в своих принципах. В ней есть требование истинности, подлинности, а не достоверности. Есть замысел, главная мысль о жизни, но нет вымысла, придумывания жизни, которое маскируется правдоподобием изображаемого. За прозой всегда стоит некое событие, своя «история пугачевского бунта». Поэтому «Капитанская дочка» — это почти история, увлекающая мощью происходящих событий, но никак не завлекающая или развлекательная приятным правдоподобным повествованием. А гениальная пустозерская проза — историческое свидетельство, подтвержденное кровью свидетельствующих. Житийные чудеса, описанные Аввакумом или Епифанием, не достоверны, но подлинны, таковыми эти видения и прозрения делает сила веры пустозерских страдальцев — не летописцев раскола, а пронзительнейшего дара писателей. «Реализма» потому и не было, что русское искусство никогда не изображало собственно реальности. Однако есть «метафизика» Пушкина, «действительное» Достоевского, «дух истины» Толстого, «вещество существования» Платонова — есть некая высвобожденная энергетическая сила!

Наша история очеловечена энергией сопротивления, на весах ее душа весит гораздо тяжелее рассудка, а способность принести себя в жертву — могучее свойство этой народной души — значит больше, чем историческая целесообразность, и может взрывать историю, придавая ее размеренному ходу свой жертвенный иррациональный порыв. Это происходит из самой русской жизни, из ее «внутренней экзистенциальной диалектики», как определил Бердяев, по которой карамазовскому неприятию мира Божьего и Бога равнодействует неприятие и мира исторического, его целесообразности. Однако на суждение Чаадаева (почти постмодернистское по духу), что у России нет истории, что она принадлежит к неорганизованному историческому кругу культурных явлений, возразил Осип Мандельштам: а как же русский язык? Он писал в статье «О природе слова»: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивала все другие факты полнотой бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни». И вот вывод: такой высокоорганизованный язык, как русский, воплощает саму историю. Так совершается заключительный виток этой внутренней русской диалектики... Кажется, что истории нет, что только малые разрозненные части бытия умеются в ее понятиях и пределах, но мы обретаем ее со всей полнотой этого бытия в языке,

который потому так органичен, организован, что только в нем и осмысливается наш стихийный исторический опыт. Русский язык обладает свойством жизненного материала. Предметом изображения в русской прозе была не реальность, а действительность — это то, что включает в себя не только реальный мир, но и духовный — мир наших страстей, чувств, веры. Предметом, но и принципом — «слово разрешается в событии», как определил Мандельштам.

У всякого события — реальная причинность и вечная, то есть борьба добра со злом, относительность к силам высшим и судьбе. С реальной причинностью для русского художника всегда сочетается причинность сверхреальная. Временное — проявление вечного. Временное раскрывается через событие, а вечное так раскрываться не может. Вечное изображается как некое событие, или извлекается символ — притча, которая сама стремится стать историей, и так рождается русская проза. Так, по Андрею Платонову, что справедливо и для всей русской литературы, цель искусства — «найти для мира объективное состояние, где бы сам мир нашел себя и пришел в равновесие и где бы нашел его человек родным. Точнее говоря, искусство есть творчество совершенной организации из хаоса».

Реалистический дух историчней, чем реалистическая форма. Она проявилась, вздыбившись, как гора, — и разрушилась. Для того реализма, который мы выдумали, в этих двух шагах заключается вся его жизнь — от рождения до смерти. Однако разве это рождение и смерть духа? Если на земном просторе рождается народ и у него является литература, то она с рождения имеет свою судьбу, судьбоносный дух, который и позволяет сказать: живая литература. Сила этого духа велика. Он возникает из небытия, совершив даже не взрыв, а подлинное, полное таинства чудо. На его тяге литература начинает свое движение и продолжает через все отведенное ей время, обретает свою историю.

Деятнадцатый же век замечателен тем, что он был веком самосознания этого духа, и потому такой взрыв, потому такая великая почти в каждом действующем лице литература. Это как богатый, который играет своей удалей. Мускулами создавшейся формы играет со свободой Толстой, а красоту постигает Гоголь. Пушкин — чистота, широта, простор. Совершенство — это Тургенев. Глубина — Достоевский. В дальнейшем форма разрушается. Жизнь, нагруженная историей, изображается языком, сгущенным до образа, — Бабель; до метафоры — Олеша, Замiatин; до символа — Платонов. Происходит поэтическое искривление реалистического стиля. Это тот же реализм, но только углубленный поэтическим звучанием, «глубокое бурение», как выразился Виктор Шкловский применительно к произведениям Олеша. А на следующем шаге, который совершили Солженицын, Шаламов, возникла обратная потребность в упрочении и стиля, и формы, а еще большее вхождение в историю давало совершенно иную изобразительность. Но формообразование, равно как и разрушение формы, является «формальной предпосылкой искусства» (определение О. Мандельштама), родом творческой энергии. Из энергии распада канонической формы рождается «Житие» Аввакума. Шолохов пишет «Тихий Дон» на энергии созидания, а Платонов воздвигает эпос «Чевенгура» на энергии распада старой формы романа.

Если Толстой погружался в историю, имея полную свободу для вымысла, то на материале Отечественной войны он осиливал не историческую реальность, а отдаленное о ней представление. Новейшие писатели такой свободы не имели, но они же стремились к тому, чтобы по форме создавать цельные произведения, исходили из цельности русской классики. Однако это ни в коем случае не говорит об их вторичности как художников. Золотая середина тут в определении, данном Игорем Виноградовым той же особенности, но у Солженицына подмеченной: «Старые формы наполняются и преобладают энергией нового опыта, подлинность (сила переживания) которого удостоверяется миссией того художника, который взялся этот опыт выразить». Солженицын, оформляя в старую романную форму запредельный по своей сути жизненный материал, невольно от него отдался и делал более реальным, а когда приступал к исследованию, то уже отчуждал из него свой опыт. Это невозможно для Шаламова. Для него литературное произведение есть не что иное, как выстраданный документ, и он выступает против всего, что может принизить его подлинность. Сюжеты? Самые простые. Форма? Чтобы была такая, какая получится. Он против литературной правки, считая, что первая черновая рукопись — самая искренняя, самая подлинная. Он исследует жизненный материал только в пределах своего личного человеческого опыта, обретая понимание того, что предметное бытие выражает собой неподлинное существование человека. Довлатов не следовал за Шаламовым, к примеру, и был совсем на него по своей самобытности не похож. Но

вот что он писал («Письмо к издателю»): «Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта... Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?.. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является. Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что мир абсурден...»

«Банальная идея» оказывалась не так проста: мир обесмысливался именно на том своем жестоком витке, когда нельзя ни понять, ни оправдать содеянного в нем зла. Потому не имеет смысла в содеянном зле раскаиваться, разве что сжиться с ним, как бы переворачивая порядок вещей. Критика самого себя не означает раскаивания, исповеди: устами забулдыги, лагерника, надзирателя, устами живых и бесконечно грешных людей вершится страшный суд над самим миром. Это то, что уже Венедикт Ерофеев называл «противоиронией», объясняя ее художественную суть в предисловии к первому изданию своей бессмертной поэмы: «Ладно уж, будем секретничать вместе: это она самая, бывшая российская ирония, перекошенная на все-российский, так сказать, абсурд, а лучше сказать — порядок».

Но противоирония (она же, по сути, и чеховская «ирония оборотности») — это метафизический бунт, бунт правды. Трагедия, а не иронический фарс. Венедикт Ерофеев, произведения которого в новейшее время были приписаны к постмодернизму, то есть к обновленчеству, прежде всего пронзительно народен. Народен его язык, образ его суеверий, из которых проистекают его страстно-мистические прозрения и видения, сближающие «Петушки» с «Мертвыми душами» и действительно преобразующие прозаическое произведение в поэму. Суеверие, чувственная архаика, бранное просторечие — все это вкупе рождает фольклорную интонацию и заново открывает, возвращает народный лиризм. Он-то и звучит в «Петушках» — орет во всю свою природную силу, словно младенческий плач в сумерках человеческого существования. Сам строй «Петушков», равно как «Василия Розанова», бесконечно далек от художественных представлений модернистского толка. Такие произведения пишутся кровью, а не чернилами и воплощают не умозрительные литературные теории, а саму жизнь.

Воплощение жизненных и духовных энергий в художественную форму образует метафизику русской прозы. Но принцип действительности слова не может быть единичным, неподвижным, подобно тому как сменяется пластами и действительность историческая. Поэтому верней говорить о принципах построения художественного пространства русской прозы и о самовыражении реалистического духа во времени. В свой черед само это пространство распадается на явления той или иной художественности, то есть на художественные явления и традиции, которые создаются путем накопления безымянного коллективного опыта, но разъединяются на самобытности художников. Кажущееся нагромождение такого деления литературы и его сложность на самом деле куда легче и явней той «методологической» лестницы, что вела из ниоткуда в никуда, загромаждая собой нечто ценнейшее, а именно — метафизику русской прозы.

Богатство реализма в проявлениях его духа, а не в школах. Школы, направления рождаются на пустом месте, когда происходит отрыв от национальной традиции. Во всей русской литературе, по всей ее истории рассеяны родственные произведения, но никаких школ по их написанию не было. Реалистический дух воплощается в традиции, и потому отпадает надобность в его формальном привитии, в формальной преемственности. Все наши школы, начиная с романтиков, всегда включали в себя не поэтов общего направления, а самодостаточных творцов. Это были не школы, а кружки, в которых обсуждались насущные художественные вопросы. Вот обэриуты — казалось бы, школа. А на самом деле они из традиции: эпиграммы Пушкина, Константин Толстой, стихи «капитана Лебядкина». После обэриутов писал Николай Глазков, после него к этой традиции был близок блаженный Олег Григорьев. А вот что писал Юрий Тынянов о литературной борьбе якобы классицизма с романтизмом, пускай она и происходила в начале прошлого века: «Понятия эти в русской литературе 20-х годов значительно осложнены тем, что были принесены извне и только прилагались к определенным литературным явлениям». Традиция продолжается самобытными — в отношении формы — явлениями. Школа же возникает для того, чтобы какое-нибудь экспериментальное, но и лишнее самобытности явление превратить в традицию — привить и продолжить чисто формальным путем, скрыть «художественно-ущербное» в «художественно-безымянном».



При том следует отличать эксперимент от новаторства. Новаторство — это бунт самобытности, попытка именно отрыва от традиции, тогда как самого отрыва (утраты национальной сущности) не происходит, потому что только самобытное и превращается в национальное.

В метафизике русской прозы есть то, что возможно определить как три фактора творческой сложности ее развития. Эта сложность будто опрокидывается из простоты и поверхностности прошлой литературной идеологии «реалистического метода», не признающей сложности русского духовного развития да и русской духовности как таковой. Эта сложность — стояние просвещения, то есть разрозненности бытия и утрачиваемой связи с культурой. Открытие, сделанное Манделштамом о языке как воплощенной истории, было и открытием уже принципа, механизма *действия* языка. Язык становится «инструментом восстановления культурной связи». Этот принцип понимался как «принцип народности языка» (определение Б. Томашевского), как «генерализация архетипизированного языкового мышления» (определение Е. Толстой-Сигал). Главное в этом понимании, что связующими становятся наиболее общие слои языка, которые являются как бы еще всеобщим достоянием. Вокруг этого всеобщего достояния разгорается в каждой эпохе литературной борьба.

Борьба за язык (язык знания — всеобщий язык или «метафизический» по пушкинскому определению) воспринимается как борьба литературных течений (архаисты — новаторы, традиционалисты — обновленцы), а борьба литературных течений — как идеологическая борьба (благочестие — ересь, славянофилы — западники, попутчики — пролетарии, патриоты — демократы). Но нет борьбы школ или направлений, скажем, классицизма или романтизма, реализма или постмодернизма, а есть борьба за жизненное и литературное пространство художественных обобщений и образов речи — литературных стилей. Стоит признать наличие стилей — романтического, реалистического, сентиментального, постмодернистского и прочих — как наличие мировоззрений. По сути, это духовные, а не художественные состояния, и энергия их питает творчество, уже заключая в себе и энергию новых жизненных опытов, этих «пессимистических склонений русской истории», и энергию взятую на себя духовной миссии.

Борьба создает пространство динамическое, в том смысле и обладающее своей метафизикой, что внутри него творится неустанное броуновское движение всех атомов литературы. Но идеология, идеологический подход, превращение этого живого художественного пространства в область идеологии — теории литературной — всегда мертвили и мертвят. Из этой сложности развития как раз невозможно вывести законов, сделать законом некую простоту. Даже когда на поверхности все спокойно, в другой век опять разгорается буря, выплескивается стихия борьбы, взрывается напряженность этого покоя и внушенных было законов.

Есть проблема повествования, рожденная не требованием правдоподобия и достоверности (саморазвитием «реализма»), а метафизикой обретения языка как истории — эпической всеобщности стиля. Ведущие литературные формы уходят в прошлое в пожарах русского апокалипсиса, когда наступает не конец света, но обрыв истории. Литературу погребают руины сюжетных штампов, прах речи. Литературщина резво бесится и корчится в судорогах беллетристики, вся придуманная, похожая на привидение, но загробно и безъязыко безмолвствуя о жизни, о человеке. И если есть реализм, то это есть наша вера. Силой веры нереальное, запредельное превращается как раз в реальное и близкое, а косноязычие превращается тогда в совершенство, искренность — в мастерство; и, наоборот, мастерство да совершенство без животворящей этой веры превращают слово в пустой, мертвый звук, в прах.

Май 1997 г.



## Опавшие листья

Многие античные авторы дошли до нас только во фрагментах. Причина ясна: пожары, наводнения и просто жестокое время.

Современную литературу большинство из нас тоже знает только во фрагментах. Но причина здесь прямо противоположна: текстов стало нестерпимо много. Миллионы книжных, журнальных, газетных страниц. Все стены и все столбы завешаны объявлениями и плакатами. С бигбордов прыгают в глаза гигантские буквы. На Пушкинской площади в Москве к 850-летию этой самой Москвы передавали по электронному табло Пушкина же и про Москву же: «Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось», — и после слова «сердце» на экране начинало пульсировать большое красное сердце (к следующему празднику обещают передать «Онегина» целиком). Тексты штурмуют небо — летящий к горизонту воздушный шар сообщает, куда выгоднее вложить акции. На акции тоже выводок букв, который нельзя не прочесть, если хочешь, чтобы акция работала. Стадо текстов тусуется в Повсеместно Протянутой Паутине. Пищит пейджер — кто-то с утра пораньше приветствует бодрым стишком. Из страшного этого шквала приходится не выбирать, но — увы — только выхватывать... Приходится учиться узнавать текст по фрагменту, как человека в юности — по глазам.

И тем более внимательно начинаешь относиться к фрагментам, которые выхватываются из лавины сами. Будто бы ветер приносит к ногам трепетный листок... Он не знает, куда ему деться. Он льнет ко мне, чтобы я его прочитал. Искупаться в зрении хотя бы разные буквы — высокие и низкие, серьезные и разгильдяйские, хорошие и плохие, случайные и нарочные...

Сама собой составляет коллекция. Текучая, летучая литература. Вот ее первый листок.

Страница чистой машинописи. Вверху страницы проставлена цифра — 27 —. Далее следует:

«начало уже исторгать его сердце тогда первый стих.

И все же, боже мой, и все же,  
Душа под окрик журавля  
Забуть не хочет и не может  
Простые русские поля.

Павел Аржиловский из села Пешнево — тоже рабочий. Этот бронзоликий, до мездры просоленный в труде, распахнутый душой человек не смог выехать с нами, но стих его, в котором он много сказал о себе, прозвучал на вечере:

Распеваю про милую Родину.  
Я прожить без нее не могу.  
Собираю у речки смородину  
Да клубнику беру на лугу.  
А душа, как гармошка речистая,  
Замирает, звенит и поет.  
Все во мне золотое и чистое  
От России начало берет.

Об умеющей хранить достоинство свое, незаменимой, справедливой уборщице тете Клаве, которая, загрузив немножко в час, когда обмыл крышу дождь и окошко зажгла звезда, рассказывала ему о себе, поведал поэтическим словом русоголового журналиста с нежной певучей душой Олег Дребезгов. О жизни ее, любви услышали мы в стихе, о веселом парне-однолетке, голову сложившем на войне, о годах четвертой пятилетки в их нижегородской стороне. А завершал Олег так:

И пока мы суть святую ищем,  
Бренным пустословием соря,  
Тетя Клава мир вихоткой чистит,  
Лишних слов про то не говоря.

Еще рассказал Дребезгов о бабушке Матрене, дальней его род-»

На этом текст обрывается. Я обнаружил его лет пять назад на подоконнике туалета редакции журнала «Урал». Может быть, это отрывок из отчета о поездке писателя «на места», может быть, это кусок прозы. Может быть, целое было опубликовано в журнале, может быть, нет. Может быть, я даже знаком с автором, но не имею на сей счет конкретных предположений. Все это не важно. Важна архетипичность фрагмента: именно в таких терминах, в такой стилистике долгие годы тысячи, десятки тысяч наших — моих и ваших! — сограждан представляли себе литературу. А ведь найдется умник, который рассмеется «мездре» и «распахнутой душе». Бог судья такому умнику. Пусть он ему простит.

Лист № 2 называется «Информационное письмо». Ксерокопированная страница со срезанным краем — отсюда в дальнейшем фрагменте обрубленные слова.

«По тардиции мы инфонрируем Вас о положении дел в Московском литфо Не смотря на многие сложности, наш Литфонд, объединяющий всех писателей сто цы и подмосковья без деления их на союзы, продолжает действовать и оказыв материальную и социально-правовую поддержку...»

Далее следует «холотдильник» и другие замечательные предметы письма. Степень архетипичности этого листа едва ли не выше даже, чем предыдущего. Это организация отчитывается перед своим членом, которому оказывает «материальную и социально-правовую поддержку», но не имеет средств отксерить страничку так, чтобы не отрезать часть текста. Это из Литфонда пишут литератору — по тардиции, дескать, инфонрируем. Боюсь, и на этот лист найдется умник, гораздый похихикать над чужой бедой. Я же добавлю только, что «уральский» текст про мездру был отпечатан на машинке чрезвычайно аккуратно, а в том единственном случае, когда на «распахнутой душе» была сделана промашка, опечатанное место идеально закрасили «штрихом» и сверху надпечатали правильный текст.

Лист № 3 выполз из факса. Это приглашение на празднование 2500-летия рода Бухары, которое отмечалось тогда же, когда и упомянутое уже восемьсотпятидесятилетие Москвы.

«Достойнейший Слава Курицын!

Смахни с весов своего разума паутину и грязь неведения и да услышь речи наши, друзей твоих, зовущие расстелить щедрый дастархан на великую годовщину города Бухоро. Сотри со лба своего пот земных забот, укрась резвейшего скакуна своего сверкающей сбруей и резным седлом и отправляйся 6-го сентября на лучший из Праздников. Да возрадуемся вместе и восславим встречу нашу, поднимем чаши веселого вина, отведаем плова, аромат которого разливается, как звонкая трель соловья в садах Всевышнего. Искуснейшие из акынов и ди-джеев всех полушарий усладят слух ваш в день этот с 5 часов после полудня: звукострунный Эгнвер ибн Измаи Фергани, заезжие дервишки «Вершки да Корешки», седовласый и седоусый падишах Востока Юрий Парфенов, прекраснодушные джинны «4:33», светила светил тишайшей из музык Аркадий абу Шил ибн Клопер и Михаил али Хан ибн аль Перин.

Прозрачный родник сердец наших — Вадик ибн Михаил абу Фролов — явит россыпи смарагдов таланта своего в живописных творениях, дразня их тюльпаны своей красотой, согревающих душу и охлаждающих разум. Нарциссы очей твоих расцветут при виде подобных луне красавиц, чьи станы, гибкие, как ветви ивы, кружатся в пьянящем танце, а глаза смущают прекрасных ланей. Эти розоликие гурии разбудят сонм желаний твоих и уведут стада чувств в безбрежные выси наслаждений...»

Нарциссы очей моих стали потихоньку смыкаться под звукострунные строки, а рыбки извилин моих уже не улавливают, почему красавицы подобны луне, почему глаза их обязаны смущать именно ланей и что такое «розоликие». Лицо в форме розы — пренеприятнейшая в общем-то перспектива. Сугубое это все-таки дело, восток. «Гашиш — Гарем — Рамазан — Зендан» назывался праздник. Медленный, но надежный улет.

Чтобы встряхнуться. Если уж в моих очах плещутся ошметки розановского дискурса, если уж розы превращаются в лица и если уж появилась тема полетов, грех не процитировать любимое из «Розанового сада» В. Тучкова (он печатался в «НЛО», а фрагменты — в ироническом журнале «Магазин»): «Космонавтов столько наплодили, что один даже в лотерею крупную сумму выиграл».

Лист № 4. Факс из Голландии. В редакцию журнала «Матадор».

«Господин Курицын.

Волею случая в мои руки попал один из номеров журнала, коего вы являетесь литературным редактором.

Качество бумаги, а также напечатанного на ней до такой степени меня пленили, что вызвали желание подружиться (а то и более) со столь замечательным изданием. К тому же, припоминая, откуда мне известно ваше имя (простите, я почти ничего не читаю), я пришел к выводу, что у нас есть общий знакомый — некто Данилыч, он же Женька Пашанов, известный своим нечеловеческим носом. Если Вы — тот самый Курицын, то, возможно, Вы обо мне слышали: я — тот самый Кесея...

Сколько рельефна разница в способах обработки, с Востока воскуряют дымчатые слова, с Запада — сразу берут за нечеловеческий нос. В дальнейших строках предлагается к публикации текст, требующий «щедрой оплаты». Невольно задумываешься: может быть, я и впрямь слышал о замечательном Кесе. Но «подружиться (а то и более)» с ним все равно не удалось: вслед за этим рекламным листком из факса вовсе не вылезла обещанная статья. Так и остался этот лист чистым искусством фрагмента.

Лист № 5. Самый концептуальный.

«As of Monday, September 29, 1997, smoking will be permitted only in the starwell of the office at 14, Bolshaya Nikitskaya Ulitsa. The doors to the starwell will remain closed at all times. Anyone smoking elsewhere at any time of the day or night will be fined 10% of his/her monthly salary. This will be an automatic procedure and not subject to review.

С 3 октября 1997 курение в здании, расположенном по адресу Большая Никитская, 14, разрешено только на лестничной площадке. За курение в помещениях офиса взимается штраф в размере 10% от заработной платы. Двери на лестничные площадки должны быть постоянно закрыты».

Это объявление, вывешенное в коридорах редакции журнала «Тайм-Аут». Есть такой английский еженедельник, девяносто процентов материалов которого — сплошная афиша с остроумным комментарием (какие где фильмы, что в каком клубе, каковы нравы и интерьеры в каком ресторане и т. п.). «Тайм-Аут» выходит не только в Лондоне, но и в других столицах мира. Решил он открыть свой филиал и в Москве, снял офис по упомянутому адресу.

Очевидную прелесть этого листа вы уже оценили. Если не заметили: сравните дату страшного запрета в русском и в английском вариантах. Есть еще одна прелесть, которую следует пояснить специально: редакция быстро поняла, что москвичам дела нет ни до какого нерусского «Тайм-Аута». В итоге журнал начал выходить (с ноября, на каком языке его ни пиши) под знакомым названием «Вечерняя Москва».

Лист № 6. Последний, короткий.

«Отцы, братья, сестры! До подключения Храма к системе центрального отопления вечерние воскресные богослужения (вечерни с акафистом святому пророку Или) отменяются».

В этом случае, понятно, не до рассуждений, почему из трех слов, начинающихся буквами «от», два выделены подчеркиванием, а третье — нет. В этом случае следует объясниться, как я позволил себе снять этот лист с доски объявлений: совершить, собственно говоря, акт воровства в таком Божьем месте.

Объясняюсь. Я пошел в воскресный день с женой и ребенком в археологический музей, который вырыли под Манежной площадью. Неожиданно выяснилось, что тяга горожан к вечным ценностям столь высока, что попасть в выходной в музей так запросто невозможно: нужно было заранее записываться на сеансы. Делать нечего, мы зашли в Мавзолей, провели Ильюча и двинулись по Ильинке же к Китай-городу, чтобы посетить еще Музей истории Москвы. И по дороге обнаружили Храм, который еще недавно был каким-то, наверное, складом. То есть когда-то, наверное, он был Храмом, потом складом, а теперь снова стал Храмом. На нем нет пока ни крестов, ни куполов — просто симпатичный московский домик, который еще ремонтировать и ремонтировать. Мы открыли дверь, поднялись по лестнице и — о чудо! — обнаружили приписанный к Храму... археологический музей. Крохотный, с пятью экспонатами (дряхлый сруб в одной комнате и старая посуда в другой), но от этого только еще более симпатичный. Конечно, я не мог уйти без памятного сувенира. А дома, перевернув объявление, я обнаружил, что с другой стороны тоже есть текст: «Евхаристия не есть «одно из таинств», одно из богослужений, а явление и исполнение Церкви во всей его силе и святости и полноте, и только участие в ней мы можем возрастать в святости и исполнить все то, что заповедано нам...»

Павел БАСИНСКИЙ

---

## Прощание с Зоилом

1997 год останется в истории русской критики годом конца русской критики.

Примечательно, что конец русской критики можно пометить конкретным годом, а не каким-то неопределенным периодом вообще. В этот год стало совсем очевидно, что: а) критические дискуссии прекратились и вряд ли когда-нибудь возобновятся, потому что любые дискуссии — это желание заявить свое «я» на общем фоне, а сегодня общий фон — это и есть множественные кричащие «я»; б) закончилась борьба «левых» и «правых», «почвенников» и «космополитов», и началось их вялотекущее сближение — не на платформе какой-то объединяющей идеи, а на основе полного равнодушия к каким-либо идеям вообще; в) нет решительно никакой надежды на появление в критике новых имен, потому что имя критика в России традиционно складывалось из формулы «Я и литературный процесс», в которой сегодня отсутствует вторая компонента; г) те, кто успел вскочить в уходящий состав, могут быть вполне довольны и счастливы; их имена страна не забудет; им обеспечена пожизненная рента, даже если они разучатся читать и писать, а будут только отвечать на анкеты и мелькать на литературных тусовках; д) уходящий состав русской критики остановился на ближайшей станции, и все вскоре обнаружили, что машинист поезда куда-то сбежал вместе с паровозом.

И тогда начались мелочи жизни... Кто-то побежал за кипятком, кто-то с довольной миной развязал вещмешок и достал салями с коньяком. Кто-то стал прикидывать: сколько проехали и не получится ли засветло вернуться пешком назад? Кто-то вслух засомневался: полноте, да в своем ли он поезде?

Один знакомый критик, имя которого, как говаривал вор Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «слишком известно, чтобы его называть», неожиданно перестал именовать себя критиком и стал величаться «художником». Он, видите ли, написал «большой роман». От его задумчивой физиономии так и веет безнадежным лукавством: как бы он не знает, что его «большой роман» прочитают только из-за того, что он — *критик*, и только для того, чтобы сказать: нас критиковал, гад, а сам пишет из рук вон...

Вот они, «задумчивые», прохаживаются возле неподвижного состава, как бы прогуливаются, как бы воздухом вышли подышать. Они поглядывают вдаль, индифферентно не замечая попутчиков.

Но нашлись, как и положено, активисты, организаторы, «неунывающие». В конце минувшего года объявилась Академия российской современной словесности (АРСС), которая на самом деле является Академией критики. Решение очень правильное: погибающая культура должна себя защищать. Как ведущие толстые журналы недавно перестали ругаться, негласно выработав свой принцип «политической корректности», следующим шагом за которым обязательно станет создание Клуба Толстых Журналов, так и критики спешат организовать свою резервацию, свою Академию Бессмертных. В Академию благоразумно ввели и «скандалистов» (надо ли говорить, что и такие есть?). «Да перестаньте собачиться! — говорят «неунывающие». — Ну, нет паровоза, ну, убег машинист... А завтра, глядишь, вернется. А не вернется, мы и здесь как-нибудь... И вообще, братцы! Кто сказал, что незапланированная остановка? Сюда мы и ехали...»

Последняя, самая неприятная категория — «равнодушные». Эти, как известно, страшнее всех. Этим и раньше было невдомек, отчего критика в России была «не-что», не просто вторичной литературной дисциплиной. Нынче и вовсе замечательно: за кипятком бегать каждой твари по паре куда как хорошо! Эти давно поняли, что литература — это «премиальный контекст», который всегда потребует посред-

ников, мировых судей, и чем более холодных, более безликих, более бесчувственных к содроганиям живого духа — тем и лучше!

Вот они сидят на вагонных нарах, как короли на именинах; штопают кальсоны к зиме. «Задумчивые», «неунывающие», «скандалисты» — все когда-нибудь вымрут; но эти останутся и очень нежно, ласково придушат все живое в культуре, что еще — нервничает, еще — температурит, еще — «гениальничает»...

Но не осудим их! Лучше подумаем: чем была и чем стала наша критика.

Прежде всего конец русской критики ставит жирную точку в спорах-сомнениях писателей о том, не слишком ли преувеличена роль критики в современной литературе. Это звучало примерно: не слишком ли много смертельно больной вызывает к себе внимания? «Критики оккупировали газеты, заставив нас внимать их междуусобным побоищам!» — стонали прозаики Олег Павлов и Алексей Варламов в «Литературной газете».

Прошел всего только год, и стало ясно: из всех литературных жанров «для нас главнейшим» оказалась проза. Идеально приспособленной к изменению культурного климата оказалась именно проза (так и тянет сказать: «подлая проза»). Русский Букер замечательно это проявил: прозаикам легче дрейфовать с обломками старых культурных ценностей в том направлении, в котором укажут. Попеременно цепляясь за краешки то «реализма», то «модернизма», то «массолита», прозаики, наконец, оседлали спасительный «роман» и выплыли на твердый берег и теперь сушат свои влажные ризы под скалою. Нет ничего более несчастного, чем зрелище современного поэта, в одиночестве лишившегося национальной поэтической атмосферы, вынужденного пребывать в безвоздушном пространстве. Гандлевского-поэта расслышали после «Трепанации черепа»; до этого он только разевал рот. После позапрошлогоднего Букера вдруг выяснилось, что есть еще такой писатель Андрей Сергеев: «Это кто такой?» — «Да каких-то английских поэтов переводил!»

Нет ничего более противного, чем зрелище современного прозаика, насилующего русский литературный язык, который из-за природной культурности своей не может, не способен выразить то, что происходит сейчас с Россией, не говоря уже о мире и человеке в целом. Но прозаик самодовольно не теряет надежды и гонит и гонит объем. Александр Мелихов, наверное, только делает вид, будто не догадывается, что весь смысл его «Романа с протатитом» исчерпывается единственной фразой вначале: «Я был зачат сквозь два презерватива», — которая действительно нечто выражает и могла бы с ее ямбической стройностью стать началом, скажем, не романа, а лирической поэмы типа «Мцыри».

Проза вышла оттого, что из всех литературных жанров этот наименее аристократичен. Истинная проза как раз замечательна своим демократизмом, своей способностью не замыкаться на лирическом герое, но переживать «чужое». Этим она обогатила и русскую поэзию. Если проза отказывается понимать «чужое», она становится самым подлым из всех жанров и самым надежным прибежищем для всяческих жуликов.

В поэзии нечего делать без элементарного слуха, в критике — без элементарной мысли. Если бы Виктор Пелевин написал стихотворение или статью, все мгновенно поняли бы, что этот человек без слуха и без мыслей. Для этого не надо проводить живой эксперимент. Пусть поэт скажет, что он «слышит» в прозе Пелевина, а критик — что он «думает» о ней. Только о ней, а не о своих собственных мыслях, как то делают, пища о Пелевине, В. Курицын или И. Роднянская.

Представителям аристократических жанров, пожалуй, я поверю, а вот прозаикам — ни за что! И не верю я, что Петр Алешковский в самом деле в восторге от прозы Пелевина, как он о том заявил.

Критика как жанр погибла оттого, что это жанр исключительно *имперский*, как и поэзия. Вне целостной культуры он не может существовать. Когда нет единства слуха и мысли — тогда что же... Остается только подлый язык всевозможной прозы, модернистской или реалистической, — какая мне разница? — когда и первая, и вторая не смеют претендовать на исключительность, на *эстетическое* и *мировоззренческое* целое...

«Место критики в лакейской», — заявил обиженный критикой Виктор Ерофеев. О, *sancta simplicita!* Он и не догадывается, насколько он прав! Он не понимает, что сам, как опустившийся горьковский Барон, грезит о каретах с гербами и старой фамилии времен Екатерины. «Богатство... сотни крепостных... лошади... повара...» А вместо того последний газетчик из «Коммерсанта» может обругать хоть бы и «козлом».

Впрочем, не привыкать! Но вспомнил бы свой роскошно-лакейский критический жест — «Поминки по советской литературе», статью, которой открылась пусть небольшая, но эпоха в литературе по переосмыслению советского имперского прошлого.

Последняя генерация русских критиков взошла на распаде Империи, как и поколение критиков Серебряного века и Зарубежья. Недаром есть что-то общее в нашем стиле, как было общее в стиле шестидесятников века прошлого и века нынешнего. Во втором случае там и там пафос содержания и небрежение формой; в первом — пафос формы и небрежение содержанием. Содержания Империя в себе уже не несла, а форма оставалась. И кто-то должен был, как лакей Яша, над этой пустеющей, остывающей формой поизгаляться: «Что ж плакать?.. Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели... Вив ля Франс!.. Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня». Но кто-то и должен был, как Фирс, горько-горько проводить обанкрутившихся бар: «Заперто. Уехали... Про меня забыли... Ничего... Я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... Я-то не поглядел... Молодо-зелено! Эх, ты... недотепа!..»

Недавно Яша-Ерофеев вернулся и лупил себя кулаком в грудь, вопия о потере духовности. Или Париж не солон пришелся? Или насмотрелся на настоящее невежество? Или впрямь к родной земле потянуло? Не могу судить! Он прозяк пусть и никакой, но критик-то наш, имперский. Лакейская выправка за семь верст видна. Они с Фирсом найдут общий язык, даже и поругавшись. А вот с Лопахиным — нет, увольте-с...

В отличие от Виктора Ерофеева я не вкладываю в слово «лакей» издевательского смысла. Лично я хотел бы служить Фирсом при законном барине. Савельич — самый симпатичный персонаж, созданный веселым гением Пушкина. Ходасевич гордился тем, что вскормлен был «не матерью, но тульской крестьянкой»: «...Она / Свивальники мне грела над лежанкой, / Крестила на ночь от дурного сна. / Она не знала сказок и не пела, / Зато всегда хранила для меня / В заветном сундуке, обитом жестью белой, / То пряник вяземский, то мятного коня. / Она меня молитвам не учила, / Но отдала мне безраздельно все: / И материнство горькое свое, / И просто все, что дорого ей было...»

И я бы рад трястись и плакать над каждой запятой великого современного романа. И ругаться с подлезом Яшкой, который в плебейском озорстве своем тако-о-е о барине посмел сказать... Да вот беда-то: предал нас барин! И нет никакой надежды, что новый появится. Лопахин же обзаведется слугами: поколением грамотных рецензентов, библиографов.

Рецензенты и библиографы — это прекрасно. Они пропишут Ерофеева-прозаика где и как надо. Чтобы его имя сохранилось для литературной истории, которая будет уже никому не нужна. Но настоящий критик — это явление исключительно имперское. Он возникает там, где в культуре еще не остыла святость, и держится до тех пор, пока сохраняются вспоминаемые формы этой культуры. Самая подлая критика возможна лишь в соседстве с великим, пока существует треножник с чашей, в которую стоит плевать. Зоил рождается вместе с Гомером. Вместе с ним он погибает.

В прошлом году не было ни одной статьи, ни одного критического имени, о которых бы *говорили*. Вот о прозе — спорили много, особенно в «премиальном» контексте. Вы думаете, восстановился status quo и критика обрела наконец свое место в лакейской? Да посмотрите внимательно! Она просто «ушла» — заниматься журналистикой, писать романы и учебники.

Писатели перестали отбрасывать тени. Ни яшек, ни фирсов... Ни грызни двора между собой. Чисто, хорошо! Курицей не воняет.

И — слез нет.

Это и значит, что литература перестала быть делом аристократическим, что своим тонким критическим носом и почуял Виктор Ерофеев. В ноябре прошлого года в газете «Неделя» он пафосно призывал писателей объединиться в элитарные клубы. Ох, опоздал! Поздно из Парижа приехал.

Литературный авторитет отныне станет фактом либо рынка, либо общественного договора. Тягаться с доценками и мариниными Ерофеев нипочем не сможет, а для общественного договора он слишком испорчен своим имперским высокомерием.

Вот и живи...

Я предлагаю от нашей элитарной Академии критики первой премией наградить Виктора Ерофеева. Во-первых, критик он и в самом деле изрядный. Во-вторых, фигура во всех отношениях симптоматичная. В дипломе напишем: «За мужество в войне со своей тенью, побежденной ценой собственной гибели...»



## *В несколько строк*

**ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ. ИНОХОДЕЦ. Собрание стихов. ПОВАР БАЗИЛЕВ-СА. Византийская повесть. Литературные статьи. Воспоминания. М., «Совпадение», 1997. Тираж не указан.**

Уже и не ожидаемый, превосходно составленный и подготовленный том этого особого поэта и литератора, наибольшая сила которого, вероятно, в сюжете, где бы тот ни заключался: в статье, мемуарах или, например, в сонете, повествующем в 1934 году, году возникновения Союза писателей, о конце индивидуалиста:

Я знал его. Он был умен, как бес,—  
Неотразимый спорщик, скептик, циник,  
Любитель женщин, вечный именник,  
Ниспровергатель всех семи небес.

Потом состарился, иссох, как финик,  
Но все язвил и шел всему вразрез,  
Гремел, громил и наконец — исчез  
И отыскался в тихом мире клиник.

Я посетил его. Был ясный день,  
Порхали бабочки из света в тень,  
И коридор был весь в гирляндах света.

Вошел я и — зубами стиснул крик:  
Веселый голый маленький старик  
На четвереньках нюхал у клозета.

Что же до текстологии и комментариев В. Перельмутера, обширные примечания не просто уточняют и удостоверяют связанное с работой Г. Шенгели. Они многоцельны: пытаются выправить чужую неточность, высказать собственную догадку, упоминаются ли по ходу дела Ходасевич или Пушкин, ведь пространство эстетической рефлексии едино.

**ВИКТОР КОНЕЦКИЙ. КЛЯКСЫ НА СТАРЫХ ПРОМОКАШКАХ. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1997. Тир. 5000 экз.**

Однажды приходит время переоценки сделанного. В. Конецкий рассказывает о том, как же он плохо когда-то писал, и в качестве веских примеров публикует свои неудавшиеся (впрочем, неоднократно изданные) произведения, пусть читатели убедятся: их любимый автор не травит морские байки, а говорит сухую правду. Построена книга достаточно оригинально: это строгое чередование тезисов, аргументов и логических выводов. Тезис: входил я в литературу с произведением попросту ни на что не годным. Аргумент: рассказ «Капитан, улыбнитесь». Вывод: видели? Следующий тезис: но это еще не все, новое произведение было не многим лучше. Аргумент: рассказ «Петька, Джек и мальчишки». Вывод: ну, кто прав? Тезис: я очень старался, но хорошо у меня получался треп на морские темы, а рассказы никак не выходили. Аргумент: рассказ «Две осени». Вывод: еще хотите? В результате получился сборник старых и очень слабых рассказов, проложенных до предела честным и безрадостным комментарием. Восхищает разве бесшабашная флотская смелость автора: «А, разорвись моя тельняшка пополам!» За эту вот бесшабашную смелость и любят многочисленные читатели В. Конецкого.

**ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ. М., «Центр», 1997. Тир. 10 000 экз.**

Не верится в энциклопедичность словаря, где есть Э. Ильенков и нет Э. Панофского, где авторы то снабдят персонажи огромным списком справочной литературы, то скромно умалчивают о каком-либо источнике вообще. Однако фрагмент из статьи, посвященной В. И. Ленину, показался необыкновенно емким, точным и объективным: «Революционер и мыслитель: развил марксистскую философию: реализовал ее в революционной борьбе рабочего класса и строительстве социалисти-



ческого государства». Именно так. И приятно, что авторы словаря не подвержены модной тенденции пересмотра всех и вся.

**УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. СПб., Издательская группа «Евразия», 1997. Тир. 3000 экз.**

Повелось — образ поэта в чужом языке навечно представляет первый перевод, убедительно звучащий на этом чужом языке. То, что стихи Одена по-английски звучат совершенно по-иному, чем переводы А. Сергеева, уже ничего не изменит. Тем более предложенные ныне переводы и вовсе не точны. И строфа

Ах, что за грохот протяжно-далек.  
Грома ли это раскаты, раскаты?  
Это всего лишь солдаты, дружок,  
Это, не бойся, солдаты.

должна бы скорее звучать так:

О что там грохочет, что там за звук  
Бьется в долине, пугая, пугая?  
Просто солдаты в багряном, мой друг,  
Просто солдаты шагают.

И с сожалением вспоминаешь времена, когда сборник стихов делился между разными переводчиками, невольно у кого-то получалось лучше, а в некоторых случаях выходили и просто стихи без всяких скидок. Сейчас же на прилавках появилась книга в том же оформлении, что и стихотворения Г. Бенна. Тот же комментатор, автор предисловия. И вместо сборника Одена взволнованный читатель получит очередную нумерованный том собрания поэтических эссе Виктора Топорова.

**О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ. ПОЭТИКА СЮЖЕТА И ЖАНРА. М., «Лабиринт», 1997. Тир. 5100 экз.**

Впервые опубликованная в 1936 году работа знаменитого русского культуролога, «первой женщины — доктора литературоведения» (как писали в одной газете), заново подготовлена к печати. В частности, громоздкая и архаическая система сносок переделана заново. В заключительной статье рассказана трагическая история этой книги. Последнее время концепцию Ольги Михайловны Фрейденберг критикуют за некоторую «механистичность», тем не менее работы ее признаны классическими.

**АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВСКИЙ, ДМИТРИЙ ГЕНЕРАЛОВ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Претенденты и победители. Винница, «Континент-ПРИМ», 1997. Тир. 1000 экз.**

История известных наград и призов в первую очередь есть история амбиций: кого наградили, а кого обошли. И сейчас, когда количество всякого рода стипендий в русской культуре множится, нелишне взглянуть со стороны: а как же это бывает по-настоящему? Занимательно написанная книга рассказывает не только о символе американского кино (это ведь лишь статуэтка, кстати, вовсе не золотая, а сначала бронзовая, позднее — из британия), книга рассказывает и о том, что «Оскар» получают, кроме актеров и режиссеров, еще и сценаристы, и монтажеры, и гримеры, и звукооператоры. А расхожий, хотя и закономерный вопрос: «Сколько стоит эта статуэтка?» — не имеет ответа, ибо вопрос поставлен некорректно. Символы не имеют денежного эквивалента.

**ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ. МОСКОВСКИЕ СЛОВА И СЛОВЕЧКИ. Происхождение московских пословиц, поговорок, речений, песен, топонимика московских улиц, площадей и переулков. М., «Изограф», 1997. Тир. 11 000 экз.**

Старательно оформленная книга возрождает позабытую было традицию этнографического писательства, смеси науки и популяризаторства. Впрочем, именно какая-то трудно поддающаяся определению «ретроспективность» в тоне автора да и в объектах, часть которых вторична и даже третична, отпугивает, словесное обилие авторского языка кажется откровенно нарочитым, имеет привкус дурной рекламы со златоголавы Москвой, тройками, шестерками и тузами прошлого, давно в прошлое и ушедшими. Хотя многие вещи не могут не понравиться. Так, греет душу

присказка продавца механической лягушки, наверняка остававшегося не с пустым карманом:

Лягушка двадцатого века!  
Прыгает на живого человека!  
И не в болоте, не в кусту,  
А здесь, на Кузнецком мосту.

Внимательные же слушатели между этих четырех строк расслышат и мотивы эсхатологические.

**ВАЛЬТЕР КРЕМЕР, ГЕТЦ ТРЕНКЛЕР. ЛЕКСИКОН ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ. 500 ложных мнений, логических ошибок и предубеждений. М., «КРОН-ПРЕСС», 1997. Тир. 10 000 экз.**

Что значит, будто после овощей пить нежелательно, что молоко скисает во время грозы или игра в лотерею — занятие бессмысленное? Можно посчитать подобные умозаключения возникшими вследствие нелогичности рассуждений. Но скорее эти утверждения можно охарактеризовать как вытесненные страхи, прежде таившиеся в нас. Страхи, может быть, в своеобразной форме явленные и тут же преодоленные (познание, даже ложное, рождает не страх, а только облегчение от познания, структурирование неизвестного. Потому-то столь опасен прогресс: ложно большинство из его догадок, и потому наличие прогресса столь успокоительно). И от предубеждений никуда не деться, особенно учитывая, как схожи они у разных народов. На бутылках с немецким вином слово «вино» не должно быть упомянуто, а в каком-то из сочинений К. Паустовского есть эпизод, когда выпивающие договорились пить водку, не называя ее «водкой». Так и приказывали: «Поддай-ка нам, братец, этого!» Нет, многое в мире неспроста.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



#### К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.  
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.  
Рукописи редакция не возвращает.  
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

---

*Читайте в следующем номере:*

**АНАТОЛИЙ КИМ**

**МОЕ ПРОШЛОЕ**

ПОВЕСТЬ

*«Прошлое не существует — пустота прошедшего времени поглощает все предметы, события, смех и рыдания. Остаются только неясные отражения в памяти да те земные пространства, на которых когда-то все это совершалось: смеялось, рыдало, возникало и исчезало.*

*Итак, прошлого нет, но его можно добывать из памяти и строить из этого призрачного материала некое сооружение. Чем я и занимаюсь сейчас: что из этого получится? Может быть, вскрикнет оно, это еще неведомое произведение, и запоем птичьим голосом, а потом взмахнет крыльями и, поднявшись в воздух, вдруг бесследно растает в воздухе? Не знаю, не знаю.*

*Но я думаю, что всякий человек интересен. Для людей всегда интересны другие люди: какая бы жизнь ни предстала перед слушателями, почему-то им любопытно послушать рассказ о чьей-то неведомой судьбе. Вот и мне захотелось посмотреть на свое прошлое как бы со стороны...»*

---

*Премий журнала «Октябрь»  
за 1997 год удостоены:*

**Алексей ВАРЛАМОВ. Затонувший ковчег.** Роман (№№ 3, 4).

**Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений.**

Книга в журнале (1995, № 11, 1996, № 11, 1997, №№ 8, 11).

**Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина.** Роман (№№ 1, 2).

**Вячеслав КУРИЦЫН.** Статьи в рубрике «Записки литературного человека». 1996—1997 гг.

**Специальная премия «Дебют»**

**Павел БАСИНСКИЙ. Московский пленник.** Повесть (№ 9).